
ACADEMIA

П А М Я Т Н И К И

ЛИТЕРАТУРНОГО

Б Ы Т А

ВОСПОМИНАНИЯ
П. В. АННЕНКОВА

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1928

П. В. АННЕНКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Н. ПИКСАНОВА
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ,
РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

с 32 иллюстрациями

«ACADEMIA»
ЛЕНИНГРАД
1928

Обложка и супер-обложка
работы В. П. БЕЛКИНА

Ленинградский Областлит № 2952. Тираж 6000 экз.
2-я типография Транспечати НКПС. Ленинград, ул. Правды, 15.



П. В. Анненков

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемой книге напечатаны лучшие мемуарные работы П. В. Анненкова.

Мемуары, записки, воспоминания — принадлежат к тем разнообразным материалам, по каким мы восстанавливаем историю. Иногда мемуары являются единственным историческим источником — за отсутствием всяких иных. Иногда они лучше иных наличных документов смогут охарактеризовать прошлое — когда речь идет о бытовой, интимной истории. Мемуары всегда были и навсегда останутся законным и ценным родом исторических источников. Для русских революционных движений мемуары составляют огромный и все растущий фонд исторических данных.

Однако, среди других родов исторических источников мемуары — самый спорный, сомнительный. Мы знаем совершенно лживые мемуары, злостно направленные к искажению истины. В противоположность письмам и дневникам, мемуары пишутся позже событий, какие в них излагаются, — часто тогда, когда память уже потускнела, растеряла факты; отсюда — невольные ошибки, путаница, анахронизмы.

Но всего опаснее иная черта, свойственная всем мемуарам — их субъективность, — неизбежная, как бы мемуарист ни старался быть правдивым и беспристрастным. Мемуарист может рассказывать только то, что он видел и понял, а видит он далеко не все, что нахо-

дится в поле зрения, и понимает он видимое своеобразно. И дело тут не только и не столько в личной субъективности или ограниченности, сколько в социальной обусловленности. Одного мемуарист просто не может увидеть, другого не сможет понять — по своей социальной природе.

Чтобы оберечься от ошибок, читатель и исследователь мемуаров должны заранее знать, с кем имеют дело.

П. В. Анненков принадлежит к числу выдающихся русских мемуаристов. Он был разносторонне образован. Он много путешествовал — по России и заграницей. Он легко сходился с людьми и приобретал их доверие. Он встречался с выдающимися деятелями литературы, искусства, науки, политики. Он был неутомимо и неутолимо любопытен. Он был наблюдателен. Больше того—он был чуток. Среди его беллетристических очерков есть один, не уступающий тургеневским «Запискам охотника» по тонкой наблюдательности и психологической чуткости: о лукошнике Семене (1849 г.— в «Письмах из провинции»). «Много наблюдательности и точности», — сказал об Анненкове Гоголь. Тургенев тоже хвалил и наблюдательность, и чуткость Анненкова.

Все эти достоинства дают нам основание вновь перепечатать лучшие из воспоминаний Анненкова.

Но современный читатель не может отнестись к ним с той безотчетностью или готовым доверием, как это бывало прежде. Было время, когда Анненков-мемуарист пользовался большой славой. Его близость к Белинскому, потом к Тургеневу, его рассказы о революции 1848 года, его работы по изучению Пушкина давали ему вес среди старинных читателей. А либеральная журналистика типа «Вестника Европы», в которой он сам работал и воззрения коей популяризиро-

вал, еще больше пропагандировала его авторитет и заслуги. Но уже в семидесятые годы в радикальной журналистике, настроенной иначе, чем либералы «Вестника Европы», высказывались иные оценки Анненкова. П. Л. Лавров дал тогда Анненкову меткое определение: «турист-эстетик». А в наше время Д. Б. Рязанов, на эпизоде встреч Анненкова с К. Марксом, подтвердил и документировал это наименование. Впрочем, и сам Маркс, еще во времена Анненкова, зло и метко определил людей его типа.

Павел Васильевич Анненков родился в семье богатого симбирского дворянина-помещика. Один из его братьев, Федор Васильевич, был нижегородским губернатором. Другой брат, Иван Васильевич, с 1846 г. был уже флигель-адъютантом при Николае I, потом—начальником Спб. жандармского управления, с 1860—петербургским обер-полицмейстером, а с 1866 г.—дворцовым комендантом; он дослужился до генерал - адъютанта. С этим братом Анненков был особенно дружен. Барином Анненков остался навсегда; его материальной базой навсегда остались доходы с поместий; в старости, по традиции русских бар, он целых девять лет прожил за границей (в Дрездене, где и умер).

Правда, он не захотел служить и скоро сблизился с литераторами (в том числе и с Белинским), а с 1840 года начал свои заграничные поездки, где охотно знакомился с политическими и революционными деятелями. Но сам в политику не вовлекался. Да и профессиональным литератором не сделался, хотя и печатался в течение целых сорока лет. На его писаниях всегда лежала печать барского дилетантизма. Это ощутимо даже на его работах по Пушкину, наиболее ученых из всех его работ.

Дилетантом Анненков был и в литературной критике. Очень характерно, что с пятидесятых годов он уже

примкнул к той группе литературных критиков, которая выдвинула доктрину «чистого искусства», «искусства для искусства», отталкивалась от Белинского и боролась с Публицистической критикой Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Как литературный критик, Анненков не выдвинулся; это был писатель, лишенный темперамента, туманный, вялый и в мышлении, и в стиле, осторожный и уклончивый. Он сильно уступал своему единомышленнику, А. В. Дружинину; нечего и говорить, что он не мог состязаться в силе логики и в энтузиазме с Добролюбовым. Когда Анненков взялся писать о типе «слабого человека» по поводу Тургеневской «Аси» — после знаменитой статьи Чернышевского, — он безнадежно потерялся в разных оговорках, намеках, отдаленных исторических справках—и только обнажил скудость своей мысли.

Исторически было бы ошибочно и близоруко объяснять это личной малой даровитостью Анненкова. В этой бесплодности, выхолощенности мысли проявились не только индивидуальные, но и групповые черты. Ведь, и Дружинин в своей актуальности общественно-идеологической недалеко ушел от Анненкова. Вся эта группа критиков-эстетов, достаточно даровитых, очень культурных, очень осведомленных, очень деятельных,— была обречена на бесплодие и должна была фатально уступить место другой группе, не обремененной такой культурной утонченностью, но зато представительствовавшей большую новую социальную смену. Разумею передовой отряд демократической и революционной разночинской интеллигенции 60 — 70 годов.

Замечательно то, что именно Анненков, как никто другой, мог бы стать в России зачинателем нового исторического миросозерцания, новой социально-политической идеологии, — той самой, которая возобладала

у нас только сорок лет спустя, т. е. марксистской. Ведь именно он, Анненков, еще в сороковые годы, вошел в непосредственное, личное общение с Марксом и Энгельсом. В 1846 году Анненков уже лично знаком с ними. В марте этого года он по приглашению Маркса присутствовал при знаменательной, исторической беседе Маркса и Энгельса с Вейтлингом. Потом Анненков вступает в переписку с Марксом; в письмах к Марксу он обсуждает «Философию нищеты» Прудона, и Маркс ему подробно отвечает. Анненков следит за новинками социалистической литературы, за борьбой политических партий. Больше того, — он сближается с революционерами, как, напр., Гервег. Он, наконец, посещает в Париже собрание редакторов рабочей газеты. Обо всем этом он пишет Марксу как близкому человеку. Никто из русских писателей в 40-х годах не был так близко введен в круговорот социалистических идей Запада, как Анненков.

При других условиях, Анненков мог бы стать проводником зарождающегося марксизма в Россию. Но этого не случилось. Этого и не могло случиться. С Марксом беседовал и переписывался чужой, посторонний марксизму и революции человек. Тип таких людей скоро был разгадан самим Марксом и гениально им определен. «Русская аристократия, писал Маркс в 1868 году,— в юности своей воспитывается в немецких университетах и в Париже. Она всегда гонится за самым крайним из того, что дает Запад. Это чистая гастрономия, какой занималась часть французской аристократии в XVIII веке». И совершенно независимо от Маркса, но замечательно близко к нему, определил людей типа Анненкова другой революционер, русский. Анненкову посвятил две статьи в журнале «Дело» 1877 и 1879 гг. П. Л. Лавров, дав им

меткие, ядовитые заглавия: «Русский турист сороковых годов» — и другое: «Турист-эстетик». Лавров писал об Анненкове и ему подобных: «Они объезжают весь мир, заглядывают во все классы общества, знакомятся с биржевиками и с пролетариями, с ученым мыслителем и с завсегдатаем модного кафэ на парижских бульварах, с секретарем Наполеона III и с сподвижником Гарибальди, и из всего этого изучения, из всех этих знакомств выходят довольные, веселые, розовые, без малейшей морщины на лице, без малейшей заботы в сердце, без лишнего вопроса в голове».

Однако, нельзя считать Анненкова только туристом, интервьюэром.

Правда, он не довел своих собственных воззрений до предельной четкости и стройности. И по склонности к «туризму», а также и по сложным бытовым условиям он не занял в общественной и политической деятельности определенной, боевой позиции. С конца пятидесятых годов и все шестидесятые и семидесятые годы, выступая в русской журналистике, Анненков всегда чувствовал, что говорит перед аудиторией, где много равнодушных и даже враждебных к нему слушателей. Ведь, это были десятилетия «Современника», «Отечественных записок» и «Русского слова», эпоха Чернышевского, Добролюбова и Писарева, эпоха революционного народничества. Как и Тургенев, как и Дружинин, Анненков был связан в своих высказываниях, а иногда, вероятно, и внутренне поддавался духу времени — и делал кое какие уступки и на словах, и в мыслях.

И все же он оставался человеком очень характерных взглядов, настроений и поведения. Богатый дворянин-землевладелец, любящий брат начальника жандармского управления, Анненков не смог далеко отойти от

своей родной среды и хотя потом вращался в разных иных политических и социальных средах, но—оставался им чужд. С 1868 года, когда возник орган умеренного буржуазного либерализма — «Вестник Европы», Анненков с первой же книжки сделался постоянным и видным его сотрудником. Так же, как Тургенев, Анненков мечтал не более как об умеренной монархической конституции, так же считал революционное народничество «диким, неумелым, почти позорным брожением». И когда в 1877 году в «Вестнике Европы» Ю. Жуковский полемизировал с Марксом, Анненков уже ничего не имел против этого. Ведь он еще с революционного 1848 года прекратил сношения с Марксом. С годами, зрелея и старея, Анненков терял вкус к проблемам социализма, рабочего и революционного движения, какие интересовали его в молодости. Богатое развитие теоретической и революционной деятельности Маркса и Энгельса в 70—80-ые годы прошло мимо него. Прежнее общение с ними отошло в область отдаленных воспоминаний, как и Белинский, и Гоголь...

Итак, перед нами мемуарист особого типа. В годы, когда Анненков писал свои воспоминания, совершенно определились его взгляды и вкусы. Они были характерны и типичны для целого круга русской общественности. Это была психоидеология умеренного дворянского и буржуазного либерализма 60—70 годов. Сквозь призму этой психоидеологии преломились воспоминания Анненкова. Человек иной настроенности подметил бы и рассказал бы многое иначе, чем он. И читая его воспоминания, необходимо быть настороже.

Однако, свою—и большую—ценность эти воспоминания имеют. Анненков был наблюдателен, осведомлен, по своему — правдив, чуток. В жизни выдающихся деятелей и литературно-общественных групп его времени

только он наблюдал многие факты, другим совершенно недоступные.

Все это вполне оправдывает переиздание мемуаров Анненкова.

П. Пиксанов.

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ АННЕНКОВ

(1813 — 1887)

1

Русские люди 20-х годов — люди не только с судьбой, но и с биографией, быстро развертывающейся и к концу 30-х годов исчерпывающей себя; русские люди 40-х годов — люди с судьбой, но без биографии: жизнь их складывается, как роман без фабулы — эпизодами, очерками, без особой конструкции. Последним «делает» свою биографию Лермонтов, но уже как ученик, как последователь — преувеличенно и нарочито. Дальше идет поколение, жизнь которого запутана «рефлексией», поколение промежуточное, трудно и грустно оглядывающееся назад, поколение без молодости, которое не столько живет, сколько мечется. Косой тенью прошел сквозь него Гоголь с «Мертвыми Душами»—как человек, запоздавший рождением. Наступала эпоха публицистики, журналов, идеологии, эпоха «интеллигенции», эпоха «сороковых годов».

На пороге ее встречались люди, которые, несмотря на близкий возраст, чувствовали себя уже людьми разных эпох — так резка была перемена. Историческая граница поколений легла около 1810 года — родившиеся *до* (1803 — 6) и родившиеся *после* (1811 — 14) сходились как враги и плохо понимали друг друга. Примером могут служить хотя бы Шевырев (1806) и Белинский (1811). Уже в 1842 г. Шевырев чувствует себя чужим и с недоумением смотрит на окружающее: «Давно ли на этом же месте действовали славно другие богатыри нашей словесности? И что же? Теперь или совсем нет их, или они умолкли и сошли со сцены действия!.. На место прежних славных лиц с известным образом мыслей и характером, на место литераторов, именами своими украшавших славу своего отечества, поступили компа-

нии журнальные, образуемые набором перьев безымянных».

Анненков, по своему рождению, принадлежал к этому новому поколению интеллигенции — он родился в 1813 г. в семье симбирского помещика. Его сверстники по годам были Станкевич (1813), Герцен (1812), Грановский (1813), Огарев (1813), М. Бакунин (1814), В. Боткин (1811), Белинский. Немногим из этого поколения удалось, более или менее уверенно перешагнув из 40-х годов в 50-е, суметь пройти сквозь строй 60-х годов без трагических надрывов, без отказов от прежних верований и убеждений и с сохранением хоть некоторой доли своего прежнего значения. Одни выбыли уже к началу 60-х годов; другие протянули до конца 60-х, но в полной разобщенности с эпохой; третьи, немногие, остались свидетелями следующего десятилетия и дожили до 80-х годов.

К числу этих немногих принадлежит Анненков. 60-е годы отодвинули и его в сторону, но он никогда не был настолько на первом плане, чтобы пережить это как катастрофу. Не потеряв обычного своего душевного равновесия, он, хотя и удалился за границу, но, занимаясь воспоминаниями и утешаясь дружбой Тургенева, спокойно дожил до 1887 г., пережив почти всех своих друзей.

2

Литературные и идеологические бури 40-х годов мало задели Анненкова — пафоса борьбы за убеждения у него никогда не было. Среди профессионалов идеологии, какими были «люди 40-х годов», Анненков производил впечатление человека без убеждений — скорее любителя жизни, чем деятеля. У него ко всему было какое-то «историческое» отношение: оно влекло его именно к тем людям, которые действовали и кипели в борьбе, и оно же делало его бесстрастным «туристом», как презрительно окрестили его позже в журнале «Дело» [1]. Его жизнь прошла в том, что он сначала был спутником Белинского и Гоголя, потом — и литературным другом Тургенева.

[1] Статьи П. Э. (Лаврова) — 1877, № 8 и 1877, № 10 („Турист-эстетик").

Тургенев очень метко назвал его как-то раз «мастером резюмировать данный момент эпохи». Эта черта ума и темперамента многих раздражала—как безразличие, как беспринципность; но другие, точно по контрасту, любили Анненкова именно за это — как за особую цельность натуры, здоровье духа, не терпящего никакой односторонности, никакого фанатизма. Белинский, например, по словам И. И. Панаева, говорил об нем: «Это один из самых счастливейших людей, каких я встречал в жизни, — здоровая, цельная натура, неиспорченная этой поганой рефлексией, которая была развита в нашем московском кружке до болезненности». [1] Зато А. Я. Панаева говорит об нем с негодованием, доходящим до презрения: «В Анненкове была одна замечательная черта: в спорах о чем бы то ни было нельзя было никак понять, с кем он согласен из авторитетных лиц; он поддакивал то одному, то другому, и если с кем находился глаз на глаз, то оказывалось, что он разделяет мнение собеседника». Будущий друг Анненкова, Тургенев, отзывался об нем в 40-х годах очень резко (по словам той же Панаевой): «Заметили вы, господа, что от Анненкова никогда не услышишь его собственного мнения о чем бы то ни было; он ограничивается только поддакиванием... Я часто для потехи говорю ему одно, и он глубокомысленно поддакивает мне; через несколько времени говорю другое, и он точно так же поддакивает. Если бы он избрал чиновничью карьеру, то начальство вытянуло бы его за уши на видное место за его уменье поддакивать. Как он увивается за Белинским, — точно мелкий чиновник за своим непосредственным начальником». [2] Аналогичное впечатление производил в это время Анненков и на В. Боткина, судя по ответным письмам Белинского (1840 г.): «Я думал, что Анненков больше заинтересует тебя. Тут, вижу я, столкнулись Москва с Питером. Чиновничества в Анненкове нет ни капли, но есть много чего-то петербургского... Я понимаю, почему Анненков так мало полюбился тебе: он нисколько не хуже Панаева и Язы-

---

[1] И. И. Панаев „Воспоминания" (под ред. Иванова-Разумника). Academia. Лнгр. 1928, стр. 409.

[2] А. Панаева. „Воспоминания" (под ред. К. Чуковского). Academia, Лнгр. 1928, стр. 193 и 295.

кова, даже характернее, личнее их, но и на нем питерская печать, к которой я уже пригляделся, а ты еще нет». [1]

И действительно — «чиновником» Анненков и не хотел, и не мог быть, хотя бы уже по одному тому, что был слишком барином, «туристом», любителем впечатлений. В 1833 г. он попробовал поступить на службу в канцелярию министерства финансов, но скоро бросил и в 1840 г. уехал за границу, где жил почти безвыездно до 1849 г. В этот период он сблизился с Гоголем и начал писать — сначала письма из за границы, потом повести («Кирюша» 1847 г. и «Она погибнет» 1848 г.), потом, по возвращении в Россию, «Провинциальные письма» (1849 г.). Повести не имели никакого успеха и только убедили всех, что Анненков — не беллетрист, а «Письма» обнаруживали наблюдательность, знание быта — но не больше.

3

Так прошли для Анненкова 40-е годы — с именем его не связывалось никакой системы, никакого направления, никакого настоящего дела. Умер Белинский, умер Гоголь — люди, за которыми, как наблюдатель и прирожденный историк, следовал Анненков в эти годы.

Выдвинулись новые люди — новое поколение, отделенное от Пушкинского 20-летним промежутком (рождения 1820-23 гг.) — как Некрасов, Писемский, Григорович, Достоевский, Островский. Среди них старшим был Тургенев (1818 г.) — с ним и сблизился Анненков. Их союз был союзом не столько убеждений и принципов, сколько союзом ума и вкуса. На них обоих лежала печать той высокой культуры, которую они успели, и по годам и по социальному положению, усвоить из эпохи конца 30-х годов. Тургенев так и рекомендует Анненкова в письме к С. Аксакову, в 1853 г.: «Анненкова не должно судить по его «Письмам» — в нем собственно таланта немного, но он человек чрезвычайно умный, с тонким и верным вкусом». [2]

---

1) В. Белинский. Письма (под ред. Е. А. Ляцкого). СПБ. 1914, т. II. стр. 166 и 190.

2 „Вестник Европы“ 1891, № 1.

К середине 50-х годов особую остроту приобретает именно вопрос о культуре. Группа «Современника» постепенно вступает на путь борьбы со старыми «высокими» традициями — с традициями дворянской интеллигенции. Некрасов идет на сближение с Чернышевским, Тургенев начинает терять свой авторитет в редакции. Образуются партии уже не столько идеологического (как «славянофилы» и «западники»), сколько социального характера. Меняется самое представление о назначении литературы — Чернышевский, считая Салтыкова плохим писателем (в письмах к Некрасову), тем не менее говорит о нем как о значительном литературном явлении (статья в «Современнике»).

В ответ на это происходит мобилизация других сил. Анненков выступает со статьей «О мысли в произведениях изящной словесности»; Дружинин переходит в «Библиотеку для Чтения» и пишет программные статьи против Белинского и «дидактического» направления в литературе; В. Боткин пишет демонстративную статью о Фете. Эти три лица образуют, хотя и не надолго, боевую «эстетическую» группу, к которой примыкает Л. Толстой, называя ее «бесценным триумвиратом».

Однако и здесь Анненков сохраняет свою осторожность, свой «историзм». Фанатизма, страстности, пафоса в его критических статьях нет, как нет их и в его письмах. Именно в это время (1856 г.) он пишет Боткину очень характерные строки: «Касательно статей, — закажите: вот, дескать, что̀ напишите, а иначе сам я ни на чем не остановлюсь, потому что ничего особенно меня теперь не занимает. Ничего я не штудирую, а лежу в безобразном своем саду, имеющем некоторое количество старых, престарых дерев». [1]

Толстой, при всей своей симпатии к Анненкову (об этом не только в письмах, но и в дневниках 1856 г. — «Анненков прелестен», «Анненков ужасно мил»), улавливает в нем характерную черту, отличающую его от других. В письме к Боткину (1 ноября 1857 г.) он дает очень тонкую характеристику Анненкова: «Анненков весел, здоров, все так же умен, уклончив и еще с большим жаром, чем прежде, ловит современность во всем, боясь

[1] Сборник „XXV лет“, СПБ. 1884, стр 495.

отстать от нее. Действительно плохо ему будет, ежели он отстанет от нее. *Это одно, в непогрешимость чего он верует.*» [1] И именно в противоположность этой характеристике он тут же следом сообщает: «Дружинин так же умен, спокоен и тверд в своих убеждениях.»

Это — та самая черта, о которой говорил и Тургенев, называя Анненкова «мастером разюмировать данный момент эпохи» — черта, обнаруживающая особый склад ума, особое чутье и особый талант, который должен был бы привести Анненкова к историческим исследованиям. Этому помешала другая черта, если не ума, то темперамента — дилетантизм. Вместо научных исследований Анненков занялся более «свободной» работой — биографиями и воспоминаниями, которые, однако, местами приобретают почти исследовательский характер.

4

Еще в начале 50-х годов Анненков занялся подготовкой издания сочинений Пушкина и составлением его биографии. В 1852 году Тургенев, думая о перемене своей «старой манеры» (после «Записок Охотника»), пишет Анненкову: «Я понимаю, как Вам должно быть тяжело так дописывать биографию Пушкина — но что же делать? Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий. Я бы на Вашем месте кончил ее ex abrupto — поместил бы пожалуй рассказ Жуковского о смерти П. — и только. Лучше отбить статуе ноги — чем сделать крошечные не по росту. А сколько я мог судить, торс у Вас выйдет отличный. Желал бы я, говорю это откровенно, так же счастливо переменить свою манеру, как Вы свою в этой биографии. Вероятно под влиянием великого истинно-древнего по своей строгой юной красоте Пушкинского духа, Вы написали славную, умную, теплую и простую вещь.» [2] Эта биография, как первый том «Собрания сочинений» Пушкина, вышла в 1855 г.

---

[1] Толстой. Памятники творчества и жизни (под. ред. В. И. Срезневского), вып. 1 (М. 1923) стр. 41.

[2] „Наша Старина“ 1914, № 8, стр. 755.

В 1857 г. Анненков печатает в «Русском Вестнике» (и издает отдельно) биографию Н. В. Станкевича и в «Библиотеке для чтения»—большую статью о Гоголе: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года». Содержание статьи шире ее названия: на ряду с личными воспоминаниями и письмами здесь имеется большой материал исследовательского характера, захватывающий и юность Гоголя, и жизнь его в Петербурге, и последние годы. По поводу первой части этой статьи Тургенев пишет Анненкову: «прочел Вашу статью о Гоголе — и не могу удержаться, чтобы не сказать Вам великое спасибо и погладить вас по седой головке за эту столь же прелестную, сколь умную вещь. Не говоря уже о том, что подробности о Гоголе драгоценны, то, что Вы говорите об обязанностях биографа, о целостном понимании характера и т. д. — золотые слова — а описание путешествия из Венеции в Рим — чудо — так и веет Италией, весной, молодостью, счастьем беспечности и здоровьем. Лишь изредка какой-нибудь неловкий оборот или поворот Ваших милейших медвежьих лапочек на мгновенье нарушает гармонию...» [1] Упреки в туманности и витиеватости стиля усиливаются в другом письме — по поводу биографии Станкевича: «Но зачем Вы иногда так мудрено пишете? Какая-то у Вас проявляется вдруг хитровая кудреватость—точно Вы не П. В. А.—а заслуженный немецкий дипломат по части философско-эстетических дел. То вдруг вырастает у Вас слово «всемерно»—то порыв души становится ее же границей и т. д.— Но, видно, каждого человека должно брать целиком, как он есть — и я первый беру Вас с удовольствием, сознавая, что все то, что Вы делаете, лучше Вас никто сделать у нас не в состоянии». [2] Надо иметь в виду, что значительная доля этой витиеватости и неясности явилась средством защиты от цензуры или результатом невозможности изложить все подробности по соображениям «приличия»—как это было в биографии Пушкина.

Статья о Гоголе была отчасти возражением против «Записок» П. Кулиша, приподнятый тон которых раздражал Анненкова. Основная и характерная для него

[1] „Наша Старина" 1914, № 12, стр. 1069.
[2] Там же, стр. 1078.

тенденция—дать более живой, более простой и житейский облик Гоголя. В качестве коментария к этой статье может служить то, что Анненков в 1874 г. написал М. Стасюлевичу по поводу тома «Русской Библиотеки», содержавшего краткую биографию Гоголя и выбор из его произведений: «Краткая биография Гоголя есть вещь замечательно ловкая и вот в каком смысле. Написать краткую биографию Гоголя, казалось мне труднее, чем написать подробную, и я ожидал найти в Вашей статье сбор фактов и чисел с приглашением читателя понимать и группировать их, как сам знает. Однако ж оказалось, что в статье есть основная мысль и коренной мотив, к которым все факты и сводятся, так что читатель освобождается от задачи шарить в своем уме разгадки дела... Конечно, спорных вопросов остается еще не мало, хоть например тот, действительно ли в первый, молодой период жизни Гоголь отпирается тем ключем, который Вы даете—т.-е. разладицей между талантом и мистическим (лирическим по скромному Вашему выражению) строем своей жизни. Я все держусь—и не без причины—того мнения, что в первую пору своего развития Гоголь был совсем свободным человеком, чрезвычайно искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действительный, должно считать не более, как маленьким, невинным плутовством, отводившим глаза и потешавшим людей, иначе настроенных, чем он. Лирическим субъектом он сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто литературном, а реформаторском. Тогда он и заговорил с друзьями языком ветхозавeтного пророка, тогда и явилась разладица между талантом и умственным настроением, которая и свела его в могилу». [1]

5

В 60-х годах Анненков пишет гораздо меньше «Бесценный триумвират» естественно распался: Дружинин умер, а Боткин впал в уныние, озлобился и

[1] „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке" (под ред. М. К. Лемке), т. III (1912) стр. 309.

опустился. В 1857 г. он ободрял Толстого, негодовавшего на новое направление литературы, и писал ему: «Пусть Щедрины, Мельниковы и tutti quanti пишут свои обличительные рассказы: они нужны, как пробуждение самосознания, которого в обществе еще не было, или вернее—оно было только в малейшем меньшинстве его... Вас приводит в недоумение новый путь, который приняла наша журнальная беллетристика;—но разве вы забыли, что Россия переживает первые дни после Крымской войны, ужаснувшие ее неспособностью, безурядицей и всяческим воровством... Рассказы Щедрина попали как раз в настоящую минуту».[1] В 1866 г. он пишет Фету уже совсем в другом тоне: «Для поэтического чувства необходимы тишина и сосредоточение. Но как найти душевную тишину и сосредоточение в такое время, какое переживаем мы? Увы! *бессмертная эпоха русской поэзии* прошла и бог знает, вернется ли когда нибудь... Поэтическая струя исчезла и из европейских литератур, замутила ее проклятая политика; признаюсь откровенно, все эти вопросы политико-экономические, финансовые, политические — внутренно нисколько меня не интересуют».[2]

Анненков и в этот момент сохраняет свое равновесие и свое душевное «здоровье». Он живо и издавна интересуется политикой и политической экономией — об этом свидетельствует, между прочим, его знакомство с К. Марксом в 40-х годах. Живя за границей, он пристально наблюдает за ходом политической жизни — оставаясь и здесь таким же «историком» и отчасти критиком, каким он был в редакции «Современника». Над ним даже подсмеивались—иногда зло и грубо, как, например, Некрасов в эпиграмме 1855 г.:

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.

Его, как и нужно ожидать, отталкивают только крайности. Единственный человек, о котором он в своих воспо-

---

[1] Толстой. „Памятники творчества и жизни“, вып. 4, стр. 48.
[2] А. Фет. „Мои воспоминания“. М 1890, т. II, стр. 83.

минаниях отзывается с иронией и злобой, и решается даже на повторение сплетен — М. Бакунин. Такой безудержный фанатизм мысли, такой предельный пафос убеждения казался Анненкову уже чем то ненормальным, уродливым и оценивался им наравне с фанатизмом противоположного лагеря. В 1874 г. он пишет Стасюлевичу по поводу статьи В. Авсеенко: «Вот куда забрел поганый консерватизм наш, совершенно однородный с сумасбродным нигилизмом самого последнего сорта. И при том, и при другом нет возможности существовать никакому труду, исследованию, слову науки или правды.» [1]

В 1876 г. М. Стасюлевич решил собрать некоторые работы Анненкова и издать их отдельно. В связи с этим Анненков сообщал ему: «По совету Пыпина я стал писать воспоминания о Белинском и о людях 40-х годов вообще, которые мне были хорошо знакомы». [2] Эти воспоминания выросли в большую работу—«Замечательное десятилетие, 1838 — 1848», печатавшуюся в «Вестнике Европы» 1880 г. Прежние его статьи, и критические и биографические, вошли в первые два тома «Воспоминаний и критических очерков», изданных Стасюлевичем в 1877 и 1879 г., а в 1881 г. вышел III том, включивший последнюю его статью. Уже после этого издания Анненков напечатал еще несколько статей, преимущественно посвященных Тургеневу,—в том числе «Молодость Тургенева» (1884 г.).

«Замечательное десятилетие» — центральная и самая ценная из мемуарных работ Анненкова. Как и статья о Гоголе, она выходит за пределы обыкновенных мемуаров и является отчасти сводкой, отчасти исследованием. Во всяком случае, это один из основных первоисточников для ознакомления с эпохой 40-х годов, особенно ценный своей редкой объективностью, хотя именно поэтому и недостаточно яркий. «Энциклопедически-панорамическое перо» Анненкова (по выражению Тургенева) уводило его в сторону от деталей — к общим характеристикам, к общему захвату эпохи.

---

[1] „М. М. Стасюлевич и его современники“, т. III, стр. 303.
[2] Там же, стр. 331.

Анненков думал продолжать эту свою работу; в 1877 г. он пишет Стасюлевичу: «Я хотел, по выслушании Вашего мнения, еще продолжать их, так как переходная эпоха от 48 года до 58 года (вторая замечательная эпоха нашей литературы) мне хорошо была знакома *со всеми ее людьми*, со всеми ее ошибками, бунтами втихомолку и раздумьем, как выйти из болота, породившими движение 60-х годов, продолжающееся и доныне».[1] Очень жаль, конечно, что замысел этот остался не осуществленным.

В этой книге печатаются только три работы Анненкова, имеющие характер воспоминаний: «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года», «Замечательное десятилетие» и «Молодость Тургенева».

Первая печатается по изданию: «Воспоминания и критические очерки», т. I, СПБ. 1877, с исправлениями по «Библиотеке для чтения» 1857 г, №№ 2 и 11; вторая — по изданию: «Воспоминания и критические очерки», т. III, СПБ. 1881, с исправлениями по «Вестнику Европы» 1880 г., №№ 1, 2, 3, 4 и 5; третья—по «Вестнику Европы» 1884 г., № 2. За помощь при редактировании этой книги приношу благодарность И. Г. Ямпольскому.

Б. Эйхенбаум.

---

[1] Там же, стр. 351.

Н. В. ГОГОЛЬ В РИМЕ ЛЕТОМ 1841 ГОДА

ГЛАВА ПЕРВАЯ [1]

ИЗ АНКОНЫ В РИМ.—В РИМЕ.—У ГОГОЛЯ.—СВИДАНИЕ С ГОГОЛЕМ В 1839 Г.—С ГОГОЛЕМ В АВСТЕРИИ.—ХАРАКТЕР ГОГОЛЯ. — КУЛИШ О ГОГОЛЕ. — ГОГОЛЬ В КРУГУ ПРИЯТЕЛЕЙ.—НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ ГОГОЛЯ. —ТЕОРИЯ ТВОРЧЕСТВА.—ПЕРВЫЕ НЕУДАЧИ.—ПОСТАНОВКА «РЕВИЗОРА». — ОТЪЕЗД ЗА ГРАНИЦУ. — «МЕРТВЫЕ ДУШИ».—ПАСХА В РИМЕ.

С самой Вены торопился я в Рим, к страстной неделе, и наконец привел свой план в исполнение! Доехав до Анконы, я предпринял оттуда довольно оригинальное путешествие, которое покажется баснословным, когда железные дороги в Италии уничтожат последний отпрыск поколения ветуринов. Я нанял в Анконе одного такого ветурина, человека уже весьма пожилого и обладателя старой кареты, в которую дуло даже из спинки ее, и двух тощих кляч. Мне привел его cameriere трактира, где я останавливался в Анконе. Мы уговорились сделать путешествие к вечному городу самым ускоренным способом, именно в одну неделю (200 итальянских миль переезда

[1] Первый раз Гоголь приехал в Рим весной 1837 г. и прожил там до середине 1839 г.; вторично он приехал в Рим осенью 1840 г. и прожил до августа 1841 г., после чего уехал в Москву хлопотать об издании „Мертвых душ“.

или около 350 верст), причем попечение на прокормление меня в это время и на доставление ночлегов возложено было тоже на возницу. Таким образом, за 12 скуд или 60 франков он делался в продолжение трех суток моим кучером, дядькой, оберегателем и полным хозяином моей воли. В этом отстранении личной свободы, а вместе с тем и ответственности за себя и за свое существование, было что то очень приятное. Старик, весьма суровый с виду, но плутоватый, как все итальянцы, живущие около трактиров и больших дорог, ни разу не изменил горделивому слову, которым он возразил на мое беспокойное сомнение касательно достоинства будущего провианта. «Signor, son galant'uomo,—сказал он,—и все лучшее, что найдем в гостиницах, будет вам представлено». И действительно, он был порядочным человеком в этом смысле, но в другом отношении никак нельзя было его упрекнуть в излишне-суровом понимании своего долга. Во первых, увидав на другой день рыхлую карету у подъезда гостиницы, я никак не мог вообразить, чтоб эта была та покойная, хорошая красивая и *всем известная* карета, про которую мне говорил ветурино накануне, да и лошади не походили на тех статных, хороших, *любезных* лошадей, какие представлялись моему воображению, благодаря его описаниям. Но делать было нечего. Я сел в карету, скрепя сердце, и покуда привязывали чемодан к запяткам, весьма сурово посматривал на мальчишку в лохмотьях, который, подойдя к самой дверце, требовал милостыни с какой то удивительной настойчивостью, с непостижимым выражением гордости, точно мило-

стыня была казенная пошлина, взимаемая им по закону. Я решился не давать милостыни, смотрел ему прямо в лицо и, когда карета тронулась, имел удовольствие видеть, как, метнув свирепый взор, мальчик протянул кулак и сказал вполовину яростно и вполовину с недоумением: «Вот, еще едет в Лоретто, а милостыни не дает». Путь наш лежал через знаменитое Лоретто, славное своим собором и драгоценностию, в нем хранимой. Но продолжая изложение не совсем твердых нравственных оснований моего ветурино, я должен еще прибавить, что накануне я выразил ему желание ехать один-одинешенек в карете и получил на то полное согласие его, заплатив предварительно за все три остальные места условленную плату. Я был действительно один в карете, когда мы тронулись от подъезда гостиницы, но вероятно ветурино размыслил, что желание мое принадлежит к числу тех варварских капризов капитала, которые можно не исполнять, хотя бы право на них и было утверждено законным контрактом. У самых ворот города сын ветурино, бойкий мальчик лет 12, взятый им с собою для подмоги и для приобретения опытности в ремесле, отворил дверцы кареты и впустил туда двух калабрийских читадинов, в весьма живописных костюмах, сказав мне с наглостию, обещавшей большие успехи в будущем: «они до первого города, синьор». Оказалось, что в мысли ветурино и его потомка первый город был Рим, как, впрочем, и следует думать о нем всякому поэту и философу. Дело еще этим не кончилось. У меня было грустное предчувствие, что и третье пустое место будет вскоре занято — так и случи-

лось. Едва отъехали мы по шоссе несколько сажень, как увидали на дороге в желтом, весьма неживописном и потертом городском сюртуке молодого человека лет восемнадцати, с немецкой физиономией, здорового, мускулистого и несколько робко поджидавшего нашего подъезда. Это был бедный сапожный подмастерье из католических кантонов Швейцарии, отправлявшийся в вечный город искать места в папской гвардии, после неудачных попыток прославиться где нибудь в провинции. Он влез в карету неуклюже, но уклончиво и стыдливо, словно чувствуя за собой какой либо проступок. Все места были заняты: я посмотрел в переднее оконце на ветурино. Он сидел на козлах в круглой шляпе с большими полями, в коричневом плаще, с откидным капишоном, и с длинным бичом в руке— спокойно, неподвижно и хладнокровно, как будто жизнь и прошедшее его были чище зеркала, но молчание и суровость его выражали все таки некоторую стыдливость и точно говорили: «как быть? Мы живем этим». Только мальчишка его часто оборачивался назад и кидал на меня сквозь оконце испытующий взгляд.

И началось долгое путешествие. Происходило это в самой середине итальянской весны, в конце апреля месяца. Начало ее я застал в Венеции, но там она имела совсем другой характер. Еще Гёте заметил, что Венеция город по преимуществу красок, света, тени и ярких живописных противуположностей. В мое время полное весеннее солнце отражалось и играло на его мраморных, разноцветных дворцах и соборах, на мозаиках их стен, на заливе, на колоннах площадей,

на флагах и памятниках его, которые сверкали всей своей массой... Это было ослепительно, почти невыносимо для северного глаза. Довольно сказать, что даже и те архитектурные подробности, которые находились в тени и вырезывались резкими очертаниями на плоскости целого здания, залитого солнцем, даже и они были еще пропитаны каким то голубым светом, словно волновавшимся на поверхности их. В Анконе характер природы изменился. Небо покрылось легкими белыми прозрачными тучами. В воздухе было что то нежное, пахучее и ласкающее, окрестности лежали в ровном, задумчивом освещении и только изредка волны мягкого света пробегали по виноградным и фруктовым садам. Ничто не раздражало глаза, но и ничто не заслоняло самой дальней точки горизонта. Все пространство покрыто было не туманом, а какой то умеренно-яркой пеленой, сохранявшей целиком очертания и формы предметов, но сглаживавшей резкость всех линий. Первые отпрыски Апеннин, вскоре показавшиеся нам, светились как перламутр, а дальние водопроводы, являвшиеся иногда по сторонам на горизонте, словно были написаны белой краской, несколько поблеклой от времени, по белому же, но свежему полю неба. Нега и томление выражались на всем, куда вы ни обращали взор, и вы невольно чувствовали, что при таких днях все должно зреть в земле и многое подыматься в сердце человека. Когда около полудня я всходил пешком на гору, где красовалась Лоретто со своим собором и дворцом, долина, которую мы только что миновали, выступала шаг за шагом перед

глазами, со всеми ее белыми каменными хижинами, разбросанными так, как будто они упали с неба и рассыпались между виноградных кустов и фруктовых деревьев. Горы составляли окрайну долины и все вместе погружено было в такую возбуждающую, томительную тишину, в такое мертвое и вместе страстное молчание...

Миновав Лоретто, мы стали подниматься у Серравале на Апеннинские горы. Я большой частию шел пешком. Изредка перепадал теплый дождь, ужасно пугавший итальянцев, которые, как все южные народы, боятся дождя. На всякой покатости ветурино останавливался, оглядывался по сторонам и, завидев вдали волов, уже приготовленных заранее для подмоги проезжающим, кричал: buovi... Мальчик—пастух, издалека выговаривал себе байок (две копейки ассигн.) за труд, потом лениво приводил волов, припрягал к нашим лошадкам, и мы тащились вверх. Случалось, что горы готовились запереть нас со всех сторон, врезывались одна в другую и загораживали дорогу, но белая шоссейная полоса все тянулась по одному боку скалы и к вечеру спускалась вниз—непременно в цветущую долину и фруктовый сад, где мы и заночевали. Ночлеги эти и полуденные отдыхи в ущельях составляли не последнюю прелесть нашего патриархального путешествия. Мы останавливались то в бедной австерии, уединенно торчавшей при дороге, то в гостинице какого либо местечка, имевшей притязание на пышность, как следует горожанке, но везде встречали ту же простоту итальянской жизни. В иных местах было лишнее

блюдо, обыкновенно какая либо зелень или рыба, подаваемая с видимой гордостию на стол самим хозяином; в других фляжка туземного вина, легкого и прозрачного, вызывала особенную похвалу собеседников; случалось также, что кровать совершенно голой комнаты покрыта была ситцевым одеяльцем необычной и хвастливой пестроты, но везде за стол наш садился вместе с нами первый поселянин, возвращавшийся из соседнего местечка, да обыкновенно и сам хозяин или главный cameriere, поставив блюдо, придвигал стул к посетителям, помещался сзади кого либо и, опираясь на спинку чужого седалища, вступал в живой и беглый разговор, удивительно выражавший общительность и природное любопытство племени. Ветурино мой почувствовал ко мне глубокое уважение, как только убедился, что я не расположен делать ему упреков за плохое понимание святости контракта: рано утром, когда после кофе выходили мы продолжать наше следование, он уже был на козлах, ласково улыбался мне и даже раз поджидая остальных путешественников, указал глазами на сына и произнес: «Возьмите его с собой *a Pietroburgo*».— Пожалуй, отвечал я.—«А что он будет там?» — продолжал ветурино.—Он— будет солдатом в русской гвардии,—сказал я. «Хочешь ты?» заметил отец, обращаясь к сыну, который стоял у двери, тоже улыбаясь с свойственным ему лукавством. Мальчик сделал сильный жест рукою и отвечал: «лучше быть аббатом». Старик разразился хриплым хохотом и дернул лошадей, прибавив: che birbone! Экой разбойник! Лаконическая шутка эта окончательно

утвердила между нами самые удовлетворительные отношения.

Отношения мои с двумя калабрийцами—моими спутниками в карете—оказались чуть ли еще не лучше и во всяком случае гораздо замечательнее. Оба спутника были в коротеньких бархатных куртках, в панталонах до колена, в чулках и ботинках; классическая круглая шляпа с огромными полями и широкий плащ тоже украшали их, но первый знакомец, высокий, молодой и красивый мужчина, с горбатым носом и черными волосами, вел себя как испанский гранд. Он молча и с достоинством подавал мне руку по-утру, мало говорил в карете, но с изысканной учтивостию отвечал на вопросы, почти всегда улыбаясь; вместе с тем он отдавал и принимал взаимные услуги, столь обыкновенные между путешественниками, очень важно и серьезно. Я часто посматривал на него украдкой, стараясь уяснить себе свойства и особенности этого изящества в обращении, которое в торговцах кожами, какими оба они были, меня чрезвычайно поражало... Я тогда еще не знал этой итальянской природы, носящей в себе самой возможность простого и естественного достижения всех родов красоты и благородства. Гораздо позднее ознакомился я с удивительными типами, которые в нищенской, прорванной куртке, наброшенной на плечо, стоят и смотрят как герои, и с чудными характерами, которые за обухом мясника или за прилавком портного мыслят, как рыцари. Товарищ моего испанского гранда был создан иначе. Это был живой человек, нисколько не красивый, широко-

лицый, с лысиной на голове, уже пожилой и необычайно добродушный—качество, весьма ясно светившееся и в быстрых черных глазах его. Не знаю, за что он привязался ко мне с первого раза. Тут опять действовало врожденное итальянское добросердечие и то непосредственное чувство, которое у свежих народов бывает вообще неугомонно. Его видимо взволновало мое положение путешественника из далекой страны, без знакомых и друзей. Угождениям не было меры. Предупредительность не знала границ. Он суетился от глубокой, сердечной доброты и по действию живого воображения, мгновенно и случайно пораженного. Всю дорогу смотрел он за мной во все глаза и часто, наклоняясь ласково на мою сторону, спрашивал, улыбаясь: «а есть ли такие горы у вас в *Рушии*?» Вопросы подобного рода почти не сходили у него с языка:—усматривал ли он признаки внимания и удовольствия на моем лице, как тотчас же обращался с запросом: есть ли в *Рушии* шоссе, реки, лошади, австерии, собаки, деревья, и при моих утвердительных ответах оставался совершенно счастлив, словно ему подарили какое либо поместье со всеми этим предметами. К этому надо прибавить самое решительное, абсолютное отсутствие всяких сведений и ученой образованности, заставившее его раз спросить: не одну ли веру с турками мы исповедуем? Зато суетливая доброта его не отступала от меня ни на шаг во всю дорогу. Помню, что раз под вечер мы достигли высшей точки Апеннин: я, вместе с моим неотступным провожатым, шел пешком, и мы далеко оставили за

собой ветурина. Когда открылась передо мной вся панорама этого хребта с горами, которые составляли бесчисленные перспективы для глаза, прерывая воздушное пространство своими вершинами и слабея в красках все далее и далее — я остановился в невольном изумлении. Тут не было ничего ломаного, угловатого и хаотического, как в Альпах, еще недавно мною покинутых; это было просто словно окаменелое, широкое море, где каждая волна приобрела самостоятельность, отразилась живописно на другой, а последняя уже слилась с белесоватой полосой неба. Оттенок вечерней зари, пробивавшейся сквозь облака, бросал на дальние вершины яркий, багровый свет и оттенял сильнее ближайшее к нам. Я хотел что то сказать сопутнику моему, но его не было возле меня. В это время подъехал ветурино и строгим голосом приказал нам садиться в карету, под тем предлогом, что теперь мы будем спускаться очень скоро, *рысью*. Я тотчас же повиновался, а за мной прыгнул в карету и пропавший мой спутник. Он с торжеством держал в руке пучек полевых цветов, набранных им в горах, и подавая его мне, сказал отлично громким голосом, как обыкновенно говорят итальянцы иностранцу, на способность понимания которого не совсем надеются: «Положите, положите — эти цветы, эти цветы — в книжку свою, в книжку свою — и когда будете в *Руссии*, у себя, — вспомните о них». Я положил цветки в путеводитель Муррая, где они и теперь у меня покоятся.

Что касается до швейцарского подмастерья, то это был *пария* нашего общества. Все мои

сопутники чувствовали себя по состоянию и гражданскому положению выше бедного юноши и оказывали ему совершенное невнимание; только один я отводил ему душу несколькими немецкими фразами, погружавшими его постоянно в какой то трепет. Застенчивость и робость его были непобедимы. Он не конфузился только тогда, когда спал, а спал он много в карете и спал уже совершенно откровенно. Раскинувшись прямо и по сторонам, он делался тогда почти единственным хозяином кареты, предоставляя в ней товарищам своим, как будто из милости, кой какие уголки. Вероятно, ветурино принял его в число сопутников за совершенную безделицу, потому что смотрел на него и обращался с ним постоянно с презрением. Следуя привычкам своей родины, молодой швейцарец почти никогда не шел по шоссе, а большой частию карабкался целиком по горам и всегда опереживал возницу, строго придерживавшегося прямой линии. Раз, когда он, выскочив из кареты, прямо полез на скалу, я видел, как ветурино бросил на него невыразимо саркастический взгляд и произнес сквозь зубы, точь-в-точь как Лаблаш в «Севильском цирюльнике»: «che bestia!»

Таким образом за час до солнца, когда в горах еще волновалась сырость весенней ночи, начинали мы путешествие, закутываясь в свои шинели и прижимаясь к своим уголкам; но мало-по-малу с возрастающей теплотой дня, иногда очень ярко показывавшегося из за вершин, сбрасывали шинели, вместе с последними остатками дремоты. Тогда останавливались мы в какой нибудь горной котловине, у подъезда одной

из тех каменных хижин, построенных из едва обтесанного булыжника, где внизу у очага живет семейство хозяина, исправляя там и все свои нужды, — и завтракали. Часто случалось мне смотреть, сидя перед уединенной гостиницей, на клочек неба, видимый из ущелья, и любоваться облаками, которые пробегали вверху, точно китайские тени, свертываясь на узком полотне и оставляя по скату гор там и сям оторванные куски и точки прозрачного тумана. Иногда въезжали мы обедать и отдыхать в средневековое местечко, с мрачной башней у моста, перекинутого через обрыв, с романским собором в середине и с остатками полуразрушенного замка в конце, где еще иногда сохранялся аристократический донжон... И чем грознее казалась наружность такого местечка, тем сильнее действовало сонное мертвое спокойствие, царствовавшее на его улицах. Казалось, шумная средневековая жизнь отошла отсюда для того, чтоб оставить за собой пустоту, изредка наполняемую порывами современной жизни, которая иногда мгновенно и бурно проносится над этими местами, позабытыми историей, и снова покидает их на сон и невозмутимую тишину. Было что то соответственное между нашим медленным, ленивым путешествием и этой летаргической жизнию, которая не заботится о времени, не бегает за ним с судорожной страстию, как остальная Европа, и равнодушно дает ему течь мимо себя... Как будто сам переживаешь это душевное состояние и радуешься, что мог испытать его. Невыразимое наслаждение доставляли мне те счастливые долины, которыми перерезываются

Апеннины, оставляя в воображении одно воспоминание своих садов. Читатель может найти в прекрасной книге мистера Миттермайера об Италии описание замечательно человеческих, мягких отношений между владельцами земель в этой стране и их фермерами, между фермерами и их работниками, отношения, удалившие язву сословной вражды, которой страдает западная Европа. Все эти долины, разбитые на множество владельческих кусков, с их загородами, виноградниками, полями, садами живут как будто одновременной жизнию на всех своих точках. При спуске с горы видны на далекое пространство плоские кровли разбросанных хижин; присутствие человека с его трудом, заботами и радостями чувствуется, так сказать, во всех сторонах картины и дает ей совершенно особенный смысл. Каждая подробность ее словно говорит не только за себя, но и за человека, а все вместе представляется как восхитительный пейзаж и как покров, скрывающий мысль. Олицетворение само напрашивается здесь на каждом шагу. Помню необычайное впечатление, произведенное на меня чудной долиной Фолиньо, которую я видел случайно в полном блеске ясного солнца, в самый полдень. Изумительная тишина лежала на всех полях и огородах, блиставших первою зеленью весны и еще вдобавок омываемых речкой, которая бежала, светясь и скрываясь по временам за кустами. Благоухание лаврового листа неслось к нам на склон горы, по которому мы спускались в долину, развернувшуюся у подошвы ее. Съехав вниз, мы остановились. У самой дороги возвышался необы-

чайно грациозный древний храмик Дианы, в чистом вкусе времен республики, омываемый рекою и чудно отражавшийся белыми колоннами и белыми стенами своими на зелени горы и полей. Нельзя было выбрать лучшего места для жилища чистой богини, и мертвая тишина, царствовавшая как в долине, так и вокруг самого храмика, казалась еще остатком благоговейного уважения и культа, которыми некогда окружали это святилище.

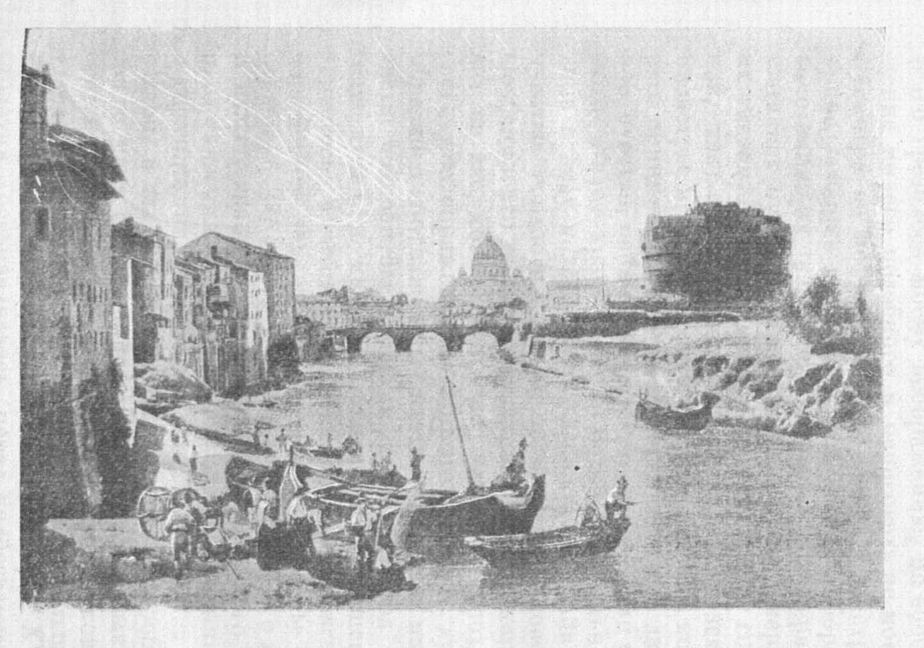
Не стану описывать ни Фолиньо, ни Терни с его каскадом, ни Сполетто, ни других мест, прежде нами осмотренных; все это находится в бесчисленных описаниях Италии и обо всем этом надо говорить много и долго, если уже решишься говорить. Скажу только, что по приближении к Риму разбросанные деревни все более и более исчезают и появляются каменные хижины, толпящиеся друг к другу, как бы ища защиты от врагов в общинной и городовой жизни. Средневековые башни и укрепления встречаются чаще. Вскоре открылись перед нами и покинутые, бесплодные поля Рима, по которым Тибр три раза извился широкой, мутной лентой прежде вступления своего в вечный город. Мы переехали его сперва у Боргет, затем через *Ponte Mollo*, — мост, построенный еще Августом. Какое то подобие массивного темного колпака, висевшего на небе, указало нам место, где находился Петр, но мы держались левее и через ворота *del Popolo* въехали в Рим, на великолепную площадь, украшенную обелиском, имея перед собою три улицы, начинавшиеся церквами, а налево от себя гору Пинчио с ее чудными

виллами, в которых еще не так давно, в XVI столетии, жители Рима видели прохаживающуюся тень Нерона, где то тут погребенного. Мы приехали в среду на страстной неделе, 28 апреля 1841 года, после однонедельного счастливейшего и в полном смысле насладительного вояжа.

Старомодная карета наша была, однакоже, замечена всеми носильщиками, факинами и cicerone, которые вьются около трактиров в Италии, как досадные и часто невыносимые насекомые. В трактире Hôtel de Russie, на самой площади del Popolo, куда я тотчас бросился, не было ни одного номера, по милости гостей, прибывших к римским праздникам, особенно английских офицеров, смещенных на половину жалованья. Они в фантастических, выдуманных ими самими мундирах наполняли потом церкви и капеллы Рима, радуясь дешевизне его жизни и свободе носить какие угодно самозванные титулы. Я несколько раз изумлялся неутомимому, горячечному любопытству этих мирных воинов, соединенному с оттенком грубой насмешливости и презрения. Не успел, однакож, я убедиться, что не найду пристанища ни в одном из соседних отелей, как какой то *fachino* подхватил мой чемодан и понесся вдоль Корсо. Волей или неволей я следовал за ним до тех пор, пока он не остановился у одного дома на Корсо, где подхватил меня уже поджидавший хозяин квартиры и приказал нести чемодан вверх, в две пустых и чистых комнатки. Тут произошла одна из тех штук, которые так чернят Италию в глазах людей, привыкших судить о всей стране по первому мошеннику, какой им попадется

на дороге. Хозяин потребовал 150 франков платы за квартиру в продолжение Святой недели, и я думал выказать удивительные познания местных цен, предложив ту же сумму за весь месяц. Это было ровно в шесть раз более того, что следовало—и едва торг состоялся, как хозяин, полагая, вероятно, возможность существования *ven-dett*'ы и в моей славянской крови, явился ко мне с контрактом, обязывавшим меня не портить ни диванов, ни стульев, ни столов, ни стен, ни рам, ни полов и проч. Подписав это обязательство, я переоделся и тотчас же вышел на улицу, расспрашивая у всех, куда пройти к русскому посольству, где намеревался взять адрес Н. В. Гоголя. Между тем облачное небо, сопровождавшее нас во все время путешествия, разрешилось проливным дождем, загнавшим всех в дома и кофейни. Промокши до костей, с трудом отыскал я дом посольства, взял адрес у швейцара и еще с большим трудом возвратился домой, потому что ошибся улицей и плутал до тех пор, пока не наткнулся на извозчичью коляску, имевшую твердость не убежать во-свояси от дождя.

На другой день, прежде визита к Гоголю, я отправился в собор Петра. Говорили некогда, что все дороги ведут к Риму; можно сказать, что все дороги в Риме ведут или к Капитолию, или к Петру. Легко узнал я направление, перешел Тибр по мосту, украшенному вычурными статуями, поглядел на колоссальную гробницу Адриана (крепость св. Ангела), похожую на громадную пивную стопу, и по прямой линии достиг великолепной колоннады, пропилей Петра, а затем вступил и в святилище, которое так



Вид Рима с картины С. Ф. Щедрина

долго грезилось моему воображению, но воображение ничего подобного и нарисовать не могло. Несмотря на несчастные украшения пиластров, принадлежащие к упадку вкуса, линии собора и сочетания их ясно обозначались и с первого шага как будто отнимали возможность измерить их глазом—так огромны были своды над головой, так страшно тяжело упирались в землю пилястры и росли кверху, к дугам потолка, которых принимали на себя. Многим знакомо двойное чувство, испытанное путешественниками при входе в этот храм—чувство бедности отдельного лица в виду колоссальной, вековой постройки и чувство гордости за мысль и силу человека. Особенно это двойное, смешанное чувство нисходит на вас, когда, следуя по главному проходу (nef), уже поражающему широтой своего дугообразного потолка, вы идете прямо на массу света, которая бьет впереди, вступаете под самый купол и на одно мгновение совершенно теряетесь в этом неизмеримом *пространстве*, охваченном каменным Пантеоном. Размеры так страшны, что почти уничтожается понятие о них и нужно какое либо сравнение для ясного их представления. Колоссальный балдахин Бернини [1] в середине, над гробницей апостола, кажется беседкой, и вы с напряженным усилием соображаете меру его вышины, указываемую обыкновенно дорожниками. Долго бродил я по боковым отделам храма, изучая его памятники, большею частию ухищренной, затейливой манеры XVII столетия, останавливаясь перед колоссальными

[1] Итальянский архитектор, скульптор и живописец (1598—1680).

мозаическими картинами его и осторожно обходя исповеднические ложи, пред которыми стояли толпы народа, исполняющего в эти торжественные дни духовные свои обязанности. Особенно занимали меня бесчисленные эффекты, рождаемые в пространствах этого храма перспективой и взаимным сочетанием каменных и мраморных масс, различно освещенных. То из за угла какого нибудь пиластра виднелась колоссальная дуга главного прохода, черная и как бы отрезанная на ярком грунте пустого пространства, образуемого куполом; то выдвигался какой либо памятник одной частью своей, словно оторвавшейся от общего целого; то открывался вкось балдахин Бернини в темном освещении, а за ним вдали угол папской кафедры, озаренной светлым лучом из окна. Свет окон ложился также на помост, перерезывался густыми тенями массивных пиластров, рождая беспрерывные живописные эффекты, которые, благодаря громадности здания, имели колоссальный и грандиозный характер. Собор жил своей особенной жизнью... У одной стены я неожиданно наткнулся на моего калабрийского радушного знакомца. Мы обрадовались друг другу. Он рассказал мне, что в нынешнее утро он уже исповедался, был у причастья и завтра, кончив все с Римом, едет далее в Неаполь. С неизменной своей лаской он спрашивал меня о моих похождениях, глубоко опечалился при рассказе о дорогом найме квартиры и, узнав, что я намерен отсюда итти пешком отыскивать одного моего земляка, предложил себя в проводники. Вскоре оказалось, что Strada Felice, близ Monte Pincio,

куда мы должны были направлять путь свой, была столь же мало знакома ему, как и мне. Он беспрестанно расспрашивал всех прохожих о дороге и почти всегда брал не в ту сторону, которую указывали: излишнее желание отличиться услугой сбивало его поминутно с толку. Мы остановили даже одного весьма почтенного мужчину с важной физиономией и с зонтиком в руке. Он подробно изъяснил нам путь, а когда, по обыкновению, отойдя несколько шагов, проводник мой вдруг повернул ни с того, ни с сего, в переулок, совершенно противоположный указанному направлению, почтенный старец, позабыв лета и важность, пустился за ним вдогонку, крича: Ma dovè vada, corpo di Bacco? — Да куда же ты идешь, чорт возьми?—Запыхавшись, нагнал он проводника, сделал ему препорядочный выговор, поставил на надлежащий путь и, едва обращая внимание на мои изъявления благодарности, спокойно возвратился на свою дорогу. Наконец, мы миновали великолепную церковь Maria Maggiore, за ней дворец Барберини, встречая повсюду народ в необычайном движении и суете, как обыкновенно бывает перед праздниками там, где еще сохранилось понятие о праздниках, и наконец очутились в Strada Felice, у дома, носившего желанный 126 нумер. Тут, поблагодарив от души моего благороднейшего спутника, я крепко пожал ему руку и мы расстались навсегда.

В последнем этаже дома, в просторной передней, я наткнулся на сухого краснощекого ста-

ричка, почтенного владельца этажа, г. Челли [1], с которым так дружно жил впоследствии, и спросил его о квартире Гоголя. Старичек объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет в постель и никого принимать не станет. Видно было, что почтенный старичек выговаривал затверженный урок, который ему крепко-на-крепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей, как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: «Разве вы не знаете, что это Жюль из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что ж вы не приезжали к карнавалу?»—прибавил он по русски, вводя меня в свою комнату и затворяя двери. Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по Нежинскому Лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами *знаменитых* французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма́, Бальзаки и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил ти-

[1] В 1845 г. Гоголь, возвращаясь в Рим, писал своему другу, художнику А. А. Иванову: „Имейте в виду для меня квартирку или в Via Sistina и Felice, или Грегориана,—две комнатки на солнце. Можно даже заглянуть и к Celli, моему старому хозяину. Хотя он своею безалаберностью и беспрерывной охотой занимать деньги смущает меня, но если, кроме его, не найдется в тех местах, то можно будет и у него“. („Письма Н. В. Гоголя“ под ред. В. И. Шенрока, т. III, стр. 103.)



Портрет Н. В. Гоголя с его автографом.

(Хранится в рукописном отделении Гос. Публичной Библиотеки).

тул Жюль Жанена [1], под которым и состоял до конца. Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни извнутри. О бок с дверью стояла его кровать, по середине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панаеву [2], а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро—стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро, да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц.

Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 году, в Петербурге, когда он останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые

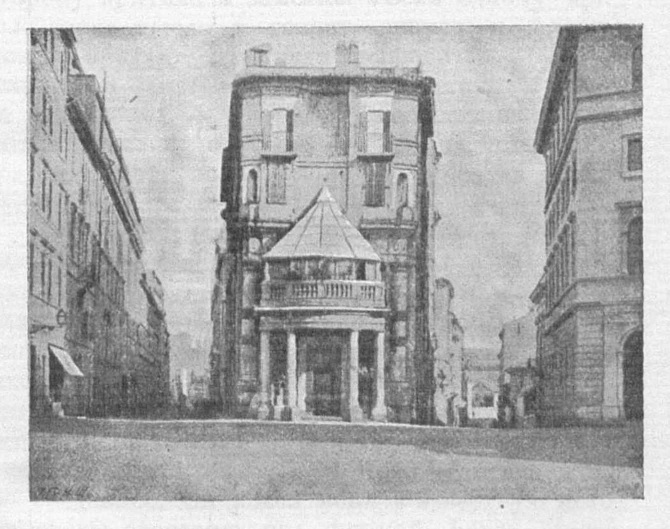
---

[1] Жюль Жанен (Janin, 1804—1874) —французский писатель (беллетрист, фельетонист и критик), очень популярный в русской журналистике 30-х годов.

[2] Анненков пишет о нем в письме к Стасюлевичу: „Это был молодой, добрый и несколько туповатый славянофил. Умер рано; от него есть в литературе путешествие не то в Хорватию, не то в Боснию или Герцоговину“. (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, III, 327.)

главы «Мертвых душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу [1], он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время... Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было не легко. Гоголь, как ни в чем не бывало, ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а об чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-на-мелко исписанную, и сказал по малороссийски, кажется, так: «А що се таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас же начал читать, при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые четыре главы «Мертвых душ»... Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло... Он был доволен. Кто то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую

[1] Товарищ Гоголя по Нежинскому лицею, вместе с ним окончивший лицей в 1828 г., впоследствии преподаватель русского языка и словесности в 1-ом кадетском корпусе в Петербурге. Ему Гоголь поручил в 1842 г. издание своих сочинений.



Via istina. Улица, на которой жил Гоголь

он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки—приветствие: «ноздря»—не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания, как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение, но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову—значит и многим может притти. Это надо исправить» [1]. После чтения он закутался, по обыкновению, в шубу до самого лба, сел со мной на извозчика, и мы молча доехали до Зимнего дворца, где я его ссадил. Вскоре потом он опять исчез из Петербурга.

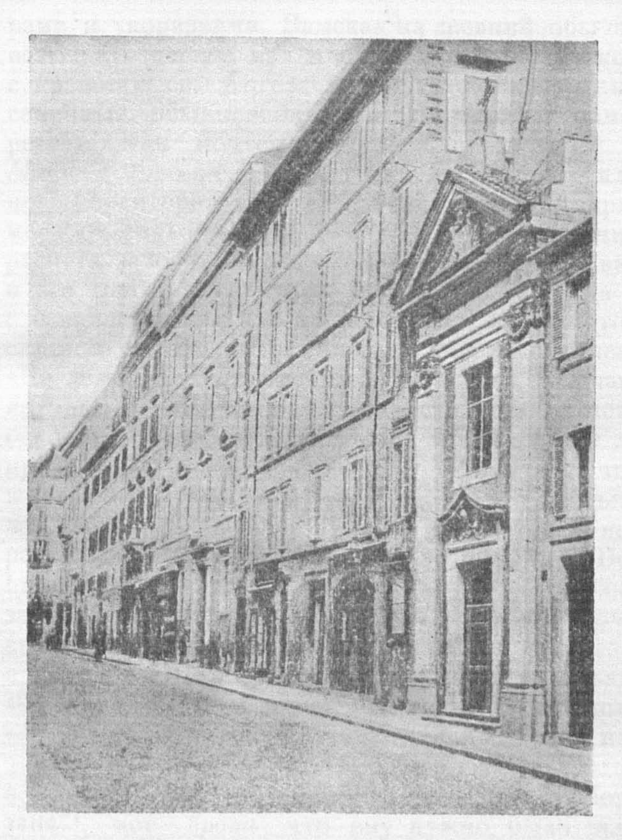
Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, одобрял переезд из Анконы с ветурином и весьма сожалел, что предварительно я не побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль. Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую австерию под фирмой Lepre (заяц), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, фермеры, принчипе, смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, кото-

[1] В окончательном тексте „Мертвых душ“ этого приветствия, действительно, нет.

рые от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица,—меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо. Получив, наконец, терелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой, круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная, проницательная мысль выражалась, так сказать, осязательно; это был А. А. Иванов [1], с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выгово-

---

[1] Александр Андреевич Иванов (1806—1858), художник, близкий друг Гоголя, отдавший много лет своей жизни на создание огромной картины—„Явление Христа народу“.



Дом в Риме, где жил Гоголь

рами и укоризнами. Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе *piantar il Magio* (слово-в-слово — сажать май месяц) или нет? Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда я с своей стороны что то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня замечанием: «Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются.» Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта. Прямо из австерии перешли мы на Piazza d'Espagna, в кофейню «Del buon gusto», кажется, уселись втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана [1], мог *брать* что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего. Притом же ему видимо хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки

[1] Федор Иванович Иордан (1800—1883) жил тогда в Риме; в 1844 был назначен академиком, а в 1855 г.—профессором гравирования в Академии Художеств.

возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностию читать в душе и понимать самого человека, по поводу того, что он говорит,—способностию, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал... Не имея никаких причин размерять себя, а, напротив, считая необходимостью для истины будущих сношений представить полный вид на самого себя, я говорил решительно все то, что знал, и все то, что думал. Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспаривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным, настоятельным требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова. Дело шло о покойном Гребенке, как о подражателе Николая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рассказа [1]. «Вы с ним знакомы,—говорил Гоголь,—напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Ведь он же родился где нибудь, учился же грамоте где нибудь, видел людей и думал о чем нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои

[1] Евгений Павлович Гребенка (1812—1848), товарищ Гоголя по Нежинскому лицею, автор многочисленных повестей и рассказов из украинской и петербургской жизни. В „Рассказах Пирятинца“ (1837 г.) видно сильное влияние „Вечеров на хуторе“; в разговоре с Анненковым Гоголь имеет в виду, вероятно, повесть Гребенки „Верное лекарство“ (1840 г.), сходную с „Записками сумасшедшего“ Гоголя.



А. А. Иванов.

дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть выберет кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть непременно оставит в покое.» Но в голосе и в выражении его было так много комического жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой что в городе.

На другой день он действительно явился и добродушнейшим образом исполнил свое обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям, и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще, он показывал Рим с таким наслаждением, как будто *сам* открыл его...

Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 г., до первого отъезда за границу. (Мы исключаем его быструю поездку в Любек в 1829 г. с столь же быстрым возвращением назад).[1] Правда, некоторые черты, как уви-

---

[1] 1-го августа 1829 г. Гоголь прибыл в Любек, а 22-го сентября уже вернулся обратно в Петербург. Смысл этой поездки остался загадочным для биографов.

дим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости, и вот почему воспоминание с особенной силой привязывается к этому году. Надо сказать, что в Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум трем товарищам своего детства,—«ближайшим людям своим», как он их называл,—Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который высказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собою. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой натуре, не исключая хитрости и сноровки затрогивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей, если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но

жил постоянно всеми своими способностями), то, по крайней мере, сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранял тонкий, может быть, невольный оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-по-малу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем неведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством. Так, иногда писатель, пресыщенный критикой и разбором своих произведений, охотно склоняет ухо к мнению какого либо оригинального чудака, живущего вдали партий, литературных вечеров и течения господствующих понятий.

Записки о жизни Гоголя, изданные г. Кули-

шем, * оценены публикой по достоинству [1]. Это одна из немногих драгоценных книг последнего времени, которая исполнена содержания и способна к обильным выводам. Вообще только те книги и важны в литературе, которые заключают гораздо более того, что в них сказано. Вместе с превосходными воспоминаниями гг. Кульжинского, Иваницкого, Лонгинова, Чижова, г-жи Смирновой и С. П. Аксакова [2], передающими нам физиономию Гоголя в урывках, но удивительно живо и верно, вместе с замечательнейшими подробностями о жизни Гоголя и обстановке его жизни в разные эпохи, наконец с богатой коллекцией писем самого Гоголя, стоившей издателю, вероятно, не малых усилий,— книга представляет запас материалов для биографии Гоголя, какого вряд ли кто и мог ожидать. Имя издателя ее упрочено в нашей литературе этим добросовестным и благородным трудом. Во многих местах своей книги он с замечательным пониманием своей задачи отказывается

---

* Под этими записками подписаны буквы Н. М., заимствованные г-м Кулишем у его приятеля Н. А. Макарова для своего литературного обихода. *Прим. автора.*

[1] „Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В двух томах". СПБ. 1856. Эта книга—один из первоисточников биографии Гоголя.

[2] *И. Г. Кульжинский. Воспоминания учителя.* „Москвитянин" 1854, № 21.

Н. Иваницкий. См. „Отеч. Записки" 1853, т. 86, № 2.

М. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе. „Современник" 1854, т. XLIV. То же—в „Сочинениях" М. Н. Лонгинова, т. I, М. 1915.

Ф. В. Чижов. Воспоминания. „Записки" Кулиша, I, 326—331.

А. О. Смирнова. В „Записках" Кулиша.

С. Т. Аксаков. *Краткие сведения и выписки для биографии Гоголя.* Отрывками напечатано в „Записках" Кулиша (т. I, стр. 251 и дальше). Впоследствии вышло отдельной книгой—„История моего знакомства с Гоголем". М. 1890.

от роли биографа. Действительно, биография Гоголя еще впереди. Вот почему заметки, которые следуют теперь, относятся совсем не к г. Кулишу, исполнившему все свое дело, а имеют в виду тех будущих составителей биографии Гоголя, которые неизбежно воспитаются по «Запискам» г. Кулиша и с помощью их должны будут построить картину жизни и развития этого, во всех отношениях, необыкновенного человека.

Прежде всего хотелось бы нам, чтоб навсегда отвергнута была система отдельного изъяснения и отдельного оправдания всех частностей в жизни человека, а также и система горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на всеу силия, не находится более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений. Направление это бесплодно. Там, где требуется изобразить характер и характер весьма многосложный,—оно замещает старание понять и представить живое лицо легкой работой вычисления—насколько лицо подошло к известным, общепринятым понятиям о приличии и благовидности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте. Можно весьма легко избегнуть всех этих резких недоразумений, изобразив характер во всей его истине, или, по крайней мере, в той целости, как он нам представляется после долгого обсуждения. Живой

характер, глубоко обдуманный и искренно переданный, носит уже в себе самом пояснение и оправдание всех жизненных подробностей, как бы разнобразны, противоречивы или двусмысленны ни казались они, взятые врозь и отдельно друг от друга. Он освобождает биографа от необходимости стоять в недоумении перед каждым пятнышком, придумывая средства, как бы вывести его поскорее, и отстраняет другую, еще важнейшую беду: видеть пятно там, где его совсем нет, и где только существует игра света и тени, порождаемая естественным отражением характера на других предметах и лицах. В виду цельно изображенного характера умолкает также и всякая литературная полемика, которая без того приведена в необходимость поверять одни свидетельства другими, опровергать одну частность другой частностью, сомнительный приговор — другим, что под конец представляет какую то длинную цепь фактов, не приводящих ни к какому результату, и где истина кажется на всех точках, потому что ни на одной не остановилась окончательно. Глубоко продуманный, поэтически угаданный и смело изложенный характер, имеет еще и ту выгоду, что он точно так же и принимается, как составился в уме жизнеописателя, т. е. целиком. Цельно изображенный характер может быть только целиком отвергнут или, наоборот, целиком принят, на основании строгих нравственных соображений. Без соблюдения этих коренных условий хорошего биографа автор будет походить [всегда] на человека, который стоит у весов день и ночь и беспрестанно обвешивает приходящих, задер-

живая одну чашку с событиями и обвинениями слишком тяжелыми, или подталкивая другую с явлениями, в моральном смысле, несколько легковесными. Стрелка не придет никогда в свое правильное положение и центральной точки никогда не укажет.

Если с самого детства, со школьнической жизни в Нежине, мы видим, что достижение раз задуманной цели или предприятия приводило в необычайное напряжение все способности Гоголя и вызывало наружу все качества, составившие впоследствии его характер, то будем ли мы удивляться, что вместе с ними появилась врожденная скрытность, ловко рассчитанная хитрость и замечательное по его возрасту употребление чужой воли в свою пользу. Станем ли мы скрывать, или, еще хуже, искать у читателя *отпущения* этим жизненным чертам, которые всего более предвещают не совсем обыкновенного человека. В школьнической переписке Гоголя с матерью мы видим, по риторическому тону некоторых писем, что в них скрывается какое то другое дело, чем то, которое излагается на бумаге, и имеем исторические, несомненные свидетельства в подтверждение невольных догадок, возбуждаемых ими. Многие места их, наиболее пышные, держатся за фактические основания совсем не того рода, какие молодой ученик старается выставить перед семейством. Посредством этих пышных фраз он растет в глазах своих родных с одной стороны и исполняет свои собственные намерения с другой. Это раннее проявление неколебимой воли, идущей упорно к своим тайным целям, по нашему,

заключает более поучения и выводов, чем самое прилежное исполнение задачи, спасать ежеминутно его репутацию, которую ни один человек, имеющий смысл в голове, никогда не заподозрит. Приведем один пример из домашней его переписки, подтверждающей слова наши. Вот каким способом изъясняет он причину скорого своего возвращения из внезапной поездки за границу в 1829 году: «Несмотря на ваше желание, я не должен пробыть долее в Любеке: я не могу, я не в силах приучить себя к мысли, что вы беспрестанно печалитесь, полагая меня в таком далеком расстоянии». (Письмо к матери. Записки о жизни Гоголя, т. I, стр. 80.) Г. Кулиш принимает это объяснение, как единственно достоверное из всех других предположений о быстром возвращении его в отечество. Конечно, никто не станет опровергать, что Гоголь мог испытывать тоску по родным и знакомым, как и всякий другой человек; но кто вник в сущность его характера, тот никогда не согласится думать, что романтическое, сентиментальное чувство могло изменить одно все его намерения. Не лучше ли для самой славы Гоголя предполагать, как мы искренно убеждены, что бесполезность поездки и отсутствие при этом всякой цели погнали его назад. Менее твердый и самостоятельный человек, сделав ложный шаг, продолжал бы следовать далее по одному направлению, ожидая помощи, по обыкновению, от судьбы, случая, людей и проч. Гоголь, почувствовав, что он стоит на скользкой тропе, тотчас же возвращается назад и снова принимается отыскивать в отечестве своем настоящую почву деятельности,

которая никак не давалась ему. Он удвоивает силы и находит ее. Так всегда поступают необыкновенные люди, предназначенные к какому либо роду общественного служения.

Могут ли бросить все эти приемы своеобычного молодого человека, отводящего глаза самых близких людей от истинных своих чувств, от истинных своих намерений, могут ли они, говорим мы, бросить какую либо тень на известную, страстную привязанность его к матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и материальным благодетелем, продолжая ту же самую роль покровителя и после смерти? Они открывают только особенности его характера, форму, какую принимали все его поступки и даже душевные его побуждения, и ими Гоголь гораздо лучше обрисовывается, чем посредством приложения к нему общих, отвлеченных понятий о нежности, чувствительности, доброте, годных для всех натур, как платье, сшитое не по одной известной мерке, пожалуй, может притти на всякий рост.

С 1830 по 1836 г., то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью — открыть себе дорогу в этом свете, который, по злоупотреблению эпитетов, называется обыкновенно большим и пространным; в сущности, он всегда и везде тесен для начинающего. Гоголь перепробовал множество родов деятельности, — служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появления «Вечеров на хуторе», [1] имевших громадный успех,

---

[1] Первая книжка вышла в сентябре 1831 г., вторая — в марте 1832 г.

дорога, наконец, была найдена, но деятельность его еще удвоивается после успеха. Тут я с ним и познакомился. Он был весь обращен лицом к будущему, к расчищению себе путей во все направления, движимый потребностью развить все силы свои, богатство которых невольно сознавал в себе. Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком в деле, и мало-по-малу приобреталось не менее важное искусство направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными любящими натурами и—глубоко практическими умами. В виду этого напряженного развития всех сил, направленных к одной цели, будем ли мы сомнительно качать головой, когда увидим Гоголя, самонадеянно вступающего на профессорскую кафедру без нужного приготовления к ней, без качеств, составляющих истинного ученого? Станем ли томиться над изыска-

нием *облегчающих обстоятельств*, когда встретим в письмах Гоголя к гг. Максимовичу, Погодину, [1] например, уверение, что он трудится над Историей Малороссии в шести томах, над всеобщей историей и географией, под заглавием «Земля и люди», в трех или двух томах, над Историей Средних Веков в восьми томах (всего семнадцать или шестнадцать томов), между тем как он трудился над «Тарасом Бульбою», над статьями и повестями Арабесок и Миргорода. Нам все равно—верил ли он сам в эти и подобные им обещания, или нет: они составляют для нас только проблески, указывающие смысл тогдашнего его развития, черты характера, способные изъяснить его физиономию. Что они не лишены своего рода достоинства и поэзии—согласится всякий. В самом деле: картина, представляющая нам гениального человека, занятого устройством своего положения в свете и литературе, изысканием средств для труда на обширном поприще, куда призывает его сознание своей силы, не заключает ли в себе гораздо более нравственной красоты, поэзии и поучения, чем самое кропотливое разбирательсто того, что было сказано им хорошего и что не так то хорошо сказалось. Какую услугу оказывает биограф своему герою, когда, вместо того, чтоб пояснить сущность его стремлений и благородство его целей, принимается разрешать противоречия, неизбежные в такой жаркой, лихорадочной жизни, и старается

[1] Михаил Александрович Максимович (1804—1873)—ботаник, филолог и историк, проф. русской словесности Киевского Униврерститета.

Михаил Петрович Погодин (1800—1875)—историк и журналист, проф. Московского Университета, один из близких друзей Гоголя.

связать их скудной ниткой произвольных толкований, которая еще и рвется ежеминутно в руках исследователя? Как ни редко встречается эта бесплодная работа в превосходной книге г. Кулиша, но он не совсем свободен от нее. Всякий раз, как покидает он роль добросовестного собирателя материалов и приступает к истолкованиям—самые странные недоразумения, самые далекие соображения, совершенно чуждые делу, накопляются под пером его, нисколько не поражая его ум своим неправдоподобием. Таковы, между прочим, вопросы, задаваемые г-м Кулишем самому себе по поводу одного письма Гоголя в 1829 г., где последний рисует собственный портрет в таких чертах: «Часто я думаю о себе: зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? зачем он одел все это в такую странную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?» Слова эти строги, но изображение истинного характера Гоголя должно значительно ослабить краски самой исповеди. Были *законные* причины для его противоречий и переходов. Г-н Кулиш прибавляет свои пояснения к портрету, в которых, между прочим, находится следующая мысль: «Большую часть жизни употребил Гоголь на анализ самого себя, как нравственного, предстоящего пред лицом бога существа, *и как бы только случайно вдавался иногда в деятельность другого рода, которая составила его земную славу,*— зачем, для чего это?..» (Записки

о жизни Гоголя, т. I, стр. 78.) Вторая половина этого периода не совсем верна в отношении всей вообще жизни Гоголя, но, встреченная при описании первой эпохи его развития и приложенная к молодому Гоголю, искавшему земной славы всеми силами своей души—она, с мыслию, в ней заключающеюся, отходит к тому роду толкований, о которых мы говорили сейчас и которые зиждутся на соображениях, взятых вне сущности самого предмета.

Вообще, для биографа чрезвычайно важно смотреть прямо в лицо герою своему и иметь доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способностям, как это было с Гоголем между 1830 и 1836 г., не могут быть измеряемы соображениями педагогического рода. Прежде всего надо знать тут, куда человек идет, что лежит в основании его характера, каков его способ понимания предметов и в чем заключается сущность его *созерцания* вообще. Здесь только и отгадка его физиономии, и одна неопровержимая истина. С другой стороны, охотникам до отрицательных данных, до прозаических фактов, низводящих человека к толпе, следует заметить, что в деле понимания характера эта система столь же мало приведет к цели, как и противоположная ей система ненужной поддержки и оправдания всех его поступков. Можно употребить, например, много времени и много бумаги на перечисление всех доказательств его осторожности в обращении с людьми и снисхождения к любимым их представлениям, но-

средством которого Гоголь приковывал к себе сердца знакомых в эту эпоху; можно также исписать порядочный лист, подбирая черты, в которых проявляется его врожденная скрытность, наклонность выставлять призраки и за ними скрывать свою мысль, и проч. Но чем более и чем остроумнее станем отыскивать и исторически подтверждать все наши, в сущности, весьма бедные находки, тем сильнее будет затемняться физиономия Гоголя и отходить от нас в даль и в туман. Оно и понятно. Физиономия его, как и физиономия всякого необыкновенного человека, должна освещаться сама собой, своим внутренним огнем. Она тотчас искажается, как подносят к ней со стороны грубый светоч, будь он самого розового или, наоборот, мрачного, гробового цвета. Пример правильной оценки Гоголя дал Пушкин. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако ж, в кругу своих домашних, Пушкин говорил смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». Глубокое слово! Пушкин понимал иеписанные права общественного деятеля. Притом же Гоголь обращался к людям с таким жаром искренней любви и расположения, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а, напротив, спешили на встречу к нему. Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 г., когда приступил к печатанию «Мертвых душ». Пло-

дом его неутомимого возбуждения и стремлений к одной цели при помощи всяких мер, которые, далеко отстоят от идеала патриархальной простоты сношений, было скоро появление «Мертвых душ» в печати [1]. Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и выражении своих чувств.

Поэтому неудивительно будет, если скажем, что именно в эту страстную, необычайно деятельную эпоху своей жизни, Гоголь постоянно оставался существом высокого нравственного характера, не переставал быть ни на минуту по мысли, образу жизни и направлению благороднейшим человеком в строгом смысле слова. Помирить образ подобного человека с теми частностями, которые приводят втупик поверхностного наблюдателя, не искажая и не перетолковывая их, значит—именно понять и настоящую задачу биографа.

Мы сказали, что Гоголь часто сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща в уединенный круг своих приятелей—потолковать преимущественно о явлениях искусства, которые, в сущности, одни только и наполняли

---

[1] Здесь Анненков имеет в виду хлопоты Гоголя при прохождении „Мертвых душ" через цензуру. Гоголь приехал в Москву в октябре 1841 г., в декабре представил рукопись „М. Д." в московский цензурный комитет, где она была запрещена (см. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 7 января 1842 г.). Гоголь отправил рукопись в Петербург, где она была пропущена за исключением „Повести о капитане Копейкине". После долгих хлопот поэма Гоголя, наконец, вышла в свет 21 мая 1842 г.—с измененным текстом „Повести о капитане Копейкине" и заглавием—„Похождения Чичикова или Мертвые души" (требование цензуры).

его душу. Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала. Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз поспели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: «Ты ступай... Они уже знают свой час, и когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной, и в зале. Гоголь собирал тогда английские кипсеки с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычайная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из кото-

рых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных народов и на их художественные требования. Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и, наконец, устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия. Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены *на вес золота*. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик. На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского [1], товарища Гоголя по Лицею, человека веселых нравов, не-

[1] Александр Семенович Данилевский — кончил Нежинский лицей вместе с Гоголем, был директором Полтавской гимназии.

которые из них выходили действительно карикатурно метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер—из Фенелы, Роберта, Цампы) кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким
Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все *бобрами* завелись,
У Фаге все завились—
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву, и т. д.

Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9-го мая, к которому он обыкновенно уже одевался по летнему, сам изобретая какой то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой *кок*, облекался в какой то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучек, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на *петушка*, по заме-

чанню одного из его знакомых (Белоусова) [1]. Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 г., он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем».— «Это, вы говорите,—сказал он,—а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость—явное произведение материальных сил, чем либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойства южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи»—Брюллова [2] привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца.

[1] Вероятно—Николая Григорьевича Белоусова (1799 - 1854), бывшего с 1825 по 1830 г. профессором римского права и инспектором в Нежинском лицее и удаленного за „вольнодумство“. Гоголь очень уважал его и сохранял с ним отношения и после лицея.

[2] Карл Павлович Брюллов (1799—1852)—русский художник; картина „Последний день Помпеи“ (Русский музей) была написана в 1830—1833 гг. и имела огромный успех не только в России, но и в Италии и Франции.

О метафизическом способе понимания явлений природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия... Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему подчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил: «быстро создавать и тотчас же, но детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной лите-

ратуры и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Также мало знал он и Шекспира (Гёте и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя—Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора... Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения, за удивительное распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его... В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли—словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом

направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное, охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений, со скромностию, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований, заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.

Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания, сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благона-

меренности! Все это составляло потеху кружка, которому не малое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами! Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное про-

исшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер. Поэтический взгляд на предметы был так свойственен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностию требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел *идеальничанье* в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника [1], которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сентиментальным романам

[1] Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868)—товарищ Гоголя по Нежинскому Лицею, автор стихотворных драм „Торквато Тассо", „Рука всевышнего отечество спасла", имевших большой успех в 30-х годах, особенно в официальных кругах и в официозной журналистике.

Полевого [1], которые тогда хвалились в Москве. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости *игры в бабки,* со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, которых было гораздо более, чем сколько их видел г. Кулиш—и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостию, ленью, потворством злу с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостию и ничто-

---

[1] Николай Алексеевич Полевой (1796—1846)—критик и беллетрист, издатель журнала „Московский Телеграф“ (1825—1834). Анненков имеет в виду его романы: „Клятва при гробе господнем, Русская быль XV века“ (1832), „Аббадонна“ (1834).

жеством моральных оснований с другой. Он относился ко всем этим явлениям совсем не равнодушно, как можно заключить даже из напечатанных его писем о московской журналистике и об условиях хорошей комедии. В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность, как подвиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласится видеть в ней намеки на какое либо страдание, томление, жажду примирения и проч. Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью: потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи, даже и против него самого, если бы нужно было. Несомненные исторические свидетельства тут важнее признаний автора, подсказанных другого рода соображениями и сильным подавляющим влиянием новых идей, позднее возникших в его сердце. Мы с своей стороны убеждены, что Гоголь имел, между прочим, в виду и этого рода деятельность, когда накануне 1834 года обращался к своему гению с удивительным поэтическим дифирамбом, вопрошая будущее и требуя

у него труда, вдохновения и подвига [1]. Опубликованием этого документа, как и многих других, г. Кулиш получил право на долгую признательность истории литературы нашей. Чудно и многознаменательно звучат последние слова этого воззвания к гению: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу, я совершу! *Жизнь кипит во мне.* Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!» Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство *кипящей жизни и силы,* он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские Ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским асесором».— Это надо...— говорил он приятелю, его сопровождавшему [2].

---

[1] Впервые напечатано в „Записках“ Кулиша под заглавием „1834“ (т. I, стр. 128-9).

[2] На запрос М. М. Стасюлевича об этом месте „Воспоминаний“ Анненков пишет ему: „Не то, что выходит такая штука—будто Гоголь наврал на себя штатский чин, а действительно такая штука вышла в натуре, и только осторожный не в меру тон статьи может рождать некоторое сомнение в этом факте. Гоголь подчистил на подорожной предикат „регистратор“ и заместил его другим „асесор“... Следовало

Таким был или, по крайней мере, таким представляется нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как совершился важный переворот в его существовании. Не скроем, что такого рода смешения попадаются в книге г. Кулиша довольно часто. Можно даже сказать, что он вообще смотрит на Гоголя с конца поприща,—недостаток, который смягчается отчасти содержанием представляемых документов и догадливостию, возбуждаемою ими неминуемо в самом читателе.

Между тем, трудясь за устройством своей жизни и особенно за наполнением ее обильнейшим содержанием, какое возможно было добыть, Гоголь встретил три обстоятельства, подсекшие, так сказать, всю эту деятельность в самой середине ее развития и устремившие его за границу. Мы не намерены искать причин его отъезда за границу в психическом настроении его, потому что, благодаря скрытности Гоголя, это осталось навсегда тайной, и всякое заключение тут поражено заранее несостоятельностью. Мы также вполне согласны, что собственные его объяснения, как по этому поводу, так и по всем другим, заключающиеся в безыменной записке (Авторская исповедь) и в других автобиографических

бы автору, конечно, яснее выразиться, да как же говорить о подчистке—ведь это значило бы обвинять в уголовщине, на что я и теперь никак не могу согласиться". (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 327.)

документах, *буквально верны и истинны.* Это наше убеждение, почерпнутое из внимательного изучения их; но мы должны сказать, что объяснения Гоголя опираются преимущественно на одну какую либо поэтическую или моральную черту события, без сомнения, ему присущую, но открытую уже гораздо позднее, после долгого размышления о событии. Фактическая, материальная основа происшествия, живое впечатление, произведенное им с первого раза, цепь разнородных ощущений, им вызванных, пропускаются без внимания, как и следует быть в автобиографии, ищущей показать один только нравственный смысл события. Восстановить пропущенные подробности, доискаться первых причин явления, дополнить заметки автобиографии вводом всех красок действительности, сообщив таким образом плоть и кровь ее общим указаниям,—есть уже дело жизнеописателя. Одна из первых причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания [1]. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий a priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества. Падение было горько для человека, возбудившего столько надежд и ожиданий, а вслед за ним последовало

[1] Гоголь был назначен адъюнктом по кафедре всеобщей истории в Петербургском Университете 24 июля 1834 г., а в конце 1835 г. он уже оставил преподавание.

то ожесточенное преследование новых его книг, «Миргород» и «Арабески», тогдашней критикой, которое возбудило симпатический отголосок в публике, почти безусловно покорявшейся «Телескопу» [1], выражавшему ее. Голос Москвы был сначала заглушаем шумом петербургской журналистики, и потребно было мощное, энергическое слово Белинского в «Телескопе», чтоб поддержать автора и ослабить влияние, произведенное многочисленными противниками; но это не могло сделаться скоро. Как ни странно покажется, что к числу причин, ускоривших отъезд Гоголя, мы относим и журнальные толки, но это было так. Мы намекнули прежде о том, что мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы—черта общая всем деятелям, имеющим общественное значение, а петербургская публика относилась к Гоголю, если не вполне враждебно, то, по крайней мере, подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением «Ревизора». Читатель должен хорошо помнить превосходное описание этого театрального вечера, данное самим Гоголем [2]. Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась

[1] Журнал, выходивший в Москве под ред. Н. И. Надеждина, с 1831 по 1836 г. В томе 26 (1835 г.) Белинский напечатал большую статью по случаю выхода в свет „Миргорода“—„О русской повести и повестях Гоголя“.

[2] Анненков имеет в виду „Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления „Ревизора“ к одному литератору“ (т. е. к С. Т. Аксакову), напечатанный при втором издании „Ревизора“ (1841 г.).

водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии и пошло-карикатурным, отразившимся в других. Гоголь прострадал весь этот вечер. Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать—что изображала сама зала театра в продолжение 4-х часов замечательнейшего спектакля, когда либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако же, в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех, по временам, еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали

автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «это—невозможность, клевета и фарс». По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну, и бог с ними, а то все, все...» [1]

В начале лета 1836 года Гоголь уехал за границу на пароходе. Он действительно «устал душою и телом», как сам говорит. Шесть лет беспрерывного труда, разнообразных предприятий и волнений даже не принимая в соображение последних тяжелых ударов, нанесенных всем его ожиданиям, требовали сами собой отдыха. По первым письмам, полученным от него из за границы, видно, что Гоголь скоро отыскал покой и ровное настроение духа. Это потверждается и письмами, напечатанными г. Кулишем. Известие о смерти Пушкина в 1837 г. потрясло Гоголя до глубины души, оставило навсегда неза-

[1] Ср. письма Гоголя к М. С. Щепкину (29 апреля 1836 г.) и к М. П. Погодину (15 мая 1836 г.). Н. А. Никитенко, бывший на третьем представлении „Ревизора“, записал в своем дневнике: „Комедия Гоголя „Ревизор“ наделала много шуму. Ее беспрестанно дают—почти через день“... Впереди меня, в креслах, сидели князь Чернышев и граф Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: „Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу“. Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается“.

местимую пустоту в его жизни, но нравственных оснований его нисколько не изменило, по крайней мере—письма его, после жарких выражений тоски и боли по невозвратимой общественной и еще более личной для Гоголя утрате принимают снова характер тихого, спокойного созерцания людей, говорят о заботах, вызываемых плохим состоянием его здоровья, ясно дают подразумевать ровный, размеренный и спокойный труд—и во многих местах носят свидетельство, что Гоголь еще наслаждался природой и искусством просто, непосредственно, как человек, продолжавший свободно воспитывать мысль [1]. Пелена известного однообразного цвета еще не простиралась перед глазами его. Он только вошел в себя, но еще не обратился к самому себе с беспощадно кропотливым анализом; ограничил свою деятельность и установился в ней, но еще не давал ей значения аскетического подвига; сличал жизнь, обычаи, мнения народа и вникал в них, но еще не делался судьей стран и убеждений... Цели чисто человеческие и земные еще мелькали перед ним со всеми очарованиями, какие заключают в себе, и это может показать следующий, неизданный отрывок из общего послания его к приятелям. Оно принадлежит к 1837 г. и писано из Парижа, 25 января [2].

«Да скажи, пожалуйста—с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме

[1] Так, в письме к М. П. Погодину (30 марта 1837 г.) Гоголь сначала выражает свою скорбь словами: „Что труд мой? Что теперь жизнь моя?...“, а потом зовет его в Рим и пишет: „Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир“.

[2] См. в „Письмах Н. В. Гоголя“ под ред. В. И. Шенрока, т. I стр. 420—429.

Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во первых, я на «Ревизора»—плевать, а во вторых...—к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, славу богу, это ложь: я вижу через каждые три дни русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что то в роде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты!... Стыдно тебе!—ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили *все* то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они в роде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ним «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова—я бы благодарил судьбу. *Одна только слава по смерти (для которой увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки*» [1].

Здесь, конечно, виден шаг вперед, но по одному и тому же направлению. Он только пе-

---

[1] Курсив Анненкова.

ренес жажду славы с современников на потомство. Если письмо это удивило приятелей, знавших, как всегда дорожил он современным успехом и влиянием на публику, то это была их вина: они не поняли обыкновенного явления, замечаемого у всех гениальных писателей—при начале нового труда смотреть с отвращением на путь, уже пройденный. Гоголь еще мало изменился. Только в 1839 г. появляются у него фразы в роде следующей: «Германия есть ни что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива» [1]. Тут уже сказалось влияние Италии и особенно Рима, в котором он провел весну 1837 и потом почти беспрерывно два года (с осени 1837 по осень 1839). Влияние начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации, наклонностию к художническому уединению, сосредоточенностию мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собою. Со всем тем особенности эти, возникающие мало-по-малу в характере Гоголя, до такой степени еще слиты с прежним свободным и многосторонним направлением, что указать начало их, первый, так сказать, толчек, подвигнувший ум в эту сторону—нет никакой возможности. Это все равно, что желать подсмотреть минуту, когда зарождается болезнь в человеке или уловить мгновение, когда начинается развитие какой либо части в организме его. Мало-по-малу также Гоголь погружается весь в новый свой

[1] В письме к М. П. Балабиной из Рима, от 30 марта 1839 г. („Письма", т. I, стр. 608).

труд: «Мертвые души». Если эта поэма, по справедливости, может назваться памятником его, как писателя, то с неменьшей основательностию позволено сказать, что в ней готовил он себе и гробницу, как человеку. «Мертвые души» была та подвижническая келья, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее. Я постараюсь далее указать связь «Мертвых душ» со всею последующей судьбой их автора, а теперь повторю прежде сказанное, что летом 1841 г., когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам. По тайным стремлениям своей мысли, он уже относился к строгому исключительному миру, открывавшемуся впереди; по вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам художнической независимости—к прежнему направлению. Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал сочтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, падений и—ее славы.

На третий день моего приезда, Рим, по случаю наступления праздников святой недели, отдавался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти совсем не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город. Много времени, беготни, стоического равнодушия к своей особе потребно было, чтоб не пропустить какой либо стороны католицизма, показываемой раз в год. Могу сказать только, что ни один англичанин не опередил меня ни в чем. Я присутствовал при «Омовении ног», которое производил папа в приделе Петра, при угощении им бедных священников в одной из сакристий



Н. В. Гоголь в Риме среди художников.

того же храма, при исполнении Stabat Mater в сикстинской часовне, при крещении евреев в Латеране [1] одним из кардиналов св. коллегии, при общем покаянии в иезуитской церкви и проч. Гоголь посвящал меня в церемонии и направлял поиски, но сам не выходил из дома и не переменял образ жизни. Великолепна была физиономия города с наступлением праздников. Ковры и ткани покрыли стены домов, петарды трещали с окон, с балконов, из под ног пешеходов, улицы запестрели окрестным народонаселением, прибывшим к торжеству, в ярких, живописных костюмах и с не менее живописными лицами. В день самого праздника я, как и следовало ожидать, присутствовал при папской литургии и видел, как с высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа дал благословение народу и отпустил ему грехи. Вечером того же дня мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещение его купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шопот водопадов соборной площади, под говор народа, двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перееду в комнату Панаева тотчас, как он уедет в Берлин, и сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части «Мертвых душ».

[1] Папский дворец, обращенный в музей; при дворце—церковь, с балкона которой папа в праздник Вознесения благословляет народ.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ ГОГОЛЯ В РИМЕ. — РАБОТА НАД «МЕРТВЫМИ ДУШАМИ». — ПРОГУЛКА. — ВОЗЗРЕНИЕ на РИМ. — СПОР О ФРАНЦИИ. — СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ ГОГОЛЯ. — ЛЮБОВАНИЕ РИМОМ. — ПОЕЗДКА В АЛЬБАНО. — РАЗГОВОРЫ. — ЮМОР. — КАРДИНАЛ МЕЦЦОФАНТИ. — ТЕАТР В РИМЕ. — ИГРА В БОСТОН. — ОБРАЗ ЖИЗНИ. — ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ. — ОТЪЕЗД ИЗ РИМА. — ПЕРЕМЕНА ТОНА В ПИСЬМАХ ГОГОЛЯ. — ИСТОРИЯ ПЕЧАТАНИЯ «МЕРТВЫХ ДУШ». — ГОГОЛЬ И БЕЛИНСКИЙ. — ПОСЛЕ ВЫХОДА «МЕРТВЫХ ДУШ». — ИЗДАНИЕ «СОЧИНЕНИЙ» 1842 Г. — ВТОРОЙ ТОМ «МЕРТВЫХ ДУШ». — ВСТРЕЧА С ГОГОЛЕМ В 1846 Г. — ВСТРЕЧА В БАМБЕРГЕ. — «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ».

Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых душ». Остальное время мы жили розно и каждый по своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще лю-

бил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил.

Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его до чиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из потребностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди и, если не обманывает меня память, с каким то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи, и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво: «Вы этого не можете понять, говорил он, это так: я себя знаю». При наступавшем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы—никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной del buon gusto, отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с ирислуж-

никами кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, а глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: Ecco, ladrone! (вот тебе, разбойник!) — Гоголь останавливался, приговаривал, улыбаясь: «как разнежился, негодяй!» — и снова начинал вторую половину фразы с тою же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону,

к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова «щекатурка» употребил штукатурка. Гоголь остановился и спросил: «отчего так?»—«Да правильнее, кажется».—Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Затем он сел попрежнему в кресла, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, повидимому, простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что прежде исполнения моей обязанности переписчика я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений и делал усилия над самим собой, но в те года усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине», первая редакция которой, далеко превосходящая в силе и развитии напечатанную, только недавно сделалась известна публике [1]. Когда, по окончании повести, я от-

[1] Анненков имеет в виду, очевидно, ту редакцию „Повести", которая появилась в издании П. Кулиша („Сочинения и письма" Гоголя, 1857, т. IV, стр. 548—554). По словам Н. Тихонравова редакция эта

дался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: «Какова повесть о капитане Копейкине?»

— «Но увидит ли она печать, когда-нибудь?» заметил я. «Печать — пустяки», отвечал Гоголь с самоуверенностью: все будет в печати». Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной VI главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту, однакож, возвысив голос, он продолжал: «Знаете ли, что нам до *cenare* (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся». [1] По светлому

представляет собой „композицию, произвольно составленную Гербелем из отрывков разных редакций повести и является подделкой“ („Сочинения Н. В. Гоголя“, изд. 10-е, под ред. Н. Тихонравова, М. 1889, т. III стр. 524—5).

[1] Римляне зовут ужином обед в 7 часов вечера, около вечерен, когда становится прохладнее, а обедают ровно в полдень, после чего или спят, или запираются в домах своих на все время полуденного зноя. Тому же порядку следовал и я, когда он не нарушался обязанностями туриста. Сады Саллюстия—ныне живописный огород, в котором разбросаны руины бывших построек, а великолепная вилла Людо-

выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда. В виллу Людовизи нас однакож не пустили, как Гоголь ни стучал в безответные двери ее ворот; решетчатые ворота садов Саллюстия были тоже крепко замкнуты, так как время сиесты [1] и всеобщего бездействия в городе еще не миновалось. Мы прошли далее за город, остановились у первой локанды, выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему обеду в знаменитой тогда австерии: Фалконе (Сокол).

визи замечательна тем, что отворяется для немногих посетителей, наделенных особенной рекомендацией посланников или значительных лиц города. В ней, как известно, сохраняется колоссальный бюст Юноны и знаменитая статуя „Арня и Петус". Причину ее недоступности объясняют покражей или порчей, произведенной в ней какими то английскими туристами. *Прим. автора*

[1] Часы дневного отдыха.

Важное значение города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке или характерам (их почти и нет), а чудному противопоставлению двух народностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, сколько и великим живописцем-поэтом. Сущность его воззрения на Рим излагать нет надобности, так как статья Гоголя хорошо известна всем русским читателям; но следует сказать, что под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей, и наконец, жизнь свою. Так, взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, Илиады Гнедича и стихотворений Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был оффициально и формально только к прошлому. Добродушный пастырь этот, так ласково улыбавшийся народу при церемониальных поездах и с такой любовью благословлявший его, умел остановить все новые почки европейской образованности и европейских стремлений, завязавшиеся в его пастве, и когда умер, они еще поражены были онеме-

нием. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было. Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем клерикальном сословии нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то, по крайней мере, объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи: «Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния... чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность». Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы. Оказалось и оказывается с каждым днем более, что Рим никогда не находился в таком уединении и в таком сиротстве, какие признаны были за ним наблюдателями. Необычайными мерами, еще в некоторой степени продолжающимися и теперь, с него была снята только работа, требуемая временем и его необходимостями: и благодаря этому обстоятельству, народ предался одним природным своим наклонностям, артистическому веселью, остроумной беспечности и, столь свойственному ему, художественному творчеству. Сильное развитие этой стороны его характера заставило предполагать, что в ней и вся жизнь Рима, но колесо европейской истории не может миновать

ни одного уголка нашей части света и неизбежно захватывает людей, как бы ни сторонились они. Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается теперь законным почти всеми; но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, «что вероятно в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним»,— Гоголь отвечал почти со вздохом: «Ах, да, батюшка, есть, есть такие». Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого, начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя, как народ, но упускал из вида заслуги всей исто-

рии Франции перед общим европейским образованием. Впрочем, твердого, невозвратного приговора, как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее. Он тогда еще составлял его и потому довольно часто оглядывался на свои мысли и проверял их на противоположных взглядах и на противоречии, он шел только к тому решительному приговору, который с такой силой раздался пять лет спустя в литературе нашей. Для подтверждения наших слов, приведем один маловажный случай: кроме маловажных случаев, никаких других между нами и быть не могло, но именно потому, может быть, все случаи, касающиеся Гоголя, имели почти всегда значительную физиономию и сохранили в памяти моей точное выражение. Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, вы-

брал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно. Значение этой работы никем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома «Мертвых душ» начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества. Результаты этих изысканий и трудов над самим собой и над духовным бытом нашего общества публике известны, и мы покамест их не судим: мы только повторяем, что с подобными эпохами поворотов мысли и направления неизбежно связано колебание воли и суждения, как это и было здесь. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристроиться к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому предавался он в Риме. На даче княгини З. Волкон-

ской [1], упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Камианью. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его *каскателли;* он садился где нибудь в чаще, упирал зоркие, неподвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками. Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека [2], рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев до-Рафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумьи: «Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта». Так еще никому собственно не принадлежал он, и выход из этого душевного состояния явился уже после отъезда моего из Рима. Я застал предуготовительный процесс: борьбу, нерешительность, томительную муку соображений. Письма от этой эпохи, собранные

---

[1] Зинаида Александровна Волконская (1792—1862), урожденная Белосельская-Белозерская, жена кн. Никиты Григорьевича Волконского, брата известного декабриста (Сергея Григорьевича); в 20-х годах жила в Москве и была центром артистического и литературного круга, будучи сама талантливой артисткой, певицей и писательницей; потом переселилась в Италию и почти безвыездно жила в Риме, где подружилась с Гоголем. Еще в России увлеклась католицизмом и перешла потом в католичество, что и было одной из причин ее переезда в Италию.

[2] Фридрих Овербек (1789—1869), глава так называемой „назарейской“ школы немецкой живописи, тесно связанной с нео-католическим движением и стремившейся возродить искусство старых итальянских мастеров до-рафаэлевской эпохи.

г. Кулишем, уже вполне показывают, куда стремилась его мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим уклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь.

Одна только сторона в Гоголе не потерпела ничего и оставалась во всей своей целости— именно художническое его чувство. Гоголь не только без устали любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Оффициальные католические праздники Пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствует чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне Вознесения, когда папа дает благословение полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского—и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Летнее солнце Италии осветило старые стены Рима, задернув голубой, прозрачной пеленой далекие албанские горы. Ближе к нам и в самую минуту благословения, оно ударило нестерпимо ярко на белые головные платки коленопреклоненных женщин, на широкие соломенные шляпы мужчин, на разноцветные перья войска, тоже преклонившего колена, на красные мантии кардиналов—и произвело картину ослепительного блеска и вместе



З. А. Волконская.

превосходной перспективы. Затем наступили торжества *Corpus-Domini*. В семь часов вечера перед *Ave-Maria*, при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранительницей, которой, после краткой молитвы, он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. О цветочных коврах Дженсано, раскладываемых по пути таких же процессий и составляющих подвижной рисунок с изображениями кардинальских гербов, арабесок, узоров из листьев и лепестков растений, Гоголь упоминает сам в статье о Риме [1]. Николай Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого народного творчества, которое окружало тогда духовные торжества, но могло существовать и помимо их. Так, очевидцы происшествий 1848—49 годов рассказывают об удивительных триумфальных арках, строимых в одну ночь неизвестными архитекторами, да и в мое время, как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка лимонадчика на площади заслуживала изучения по ри-

[1] „Потом черты природного художественного инстинкта: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески“.

сунку украшений из зелени, винограда и лавра. Как велико было уважение Гоголя ко всякому проявлению самородной фантазии или даже сноровки, покажет следующий пример. В одной из кофейных он заметил, что стены и потолок ее покрыты сеткой из полосок бумаги, перегнутых надвое и приставленных к штукатурке. Узнав, что этим способом придумано сохранять заведения от порчи мух, гуляющих преимущественно по внешней стороне клеток, Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и, наконец, воскликнул с чувством: «И этих то людей называют маленьким народом!» Сметливость и остроумие в народе были для него признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселья, той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей города. Он приводил в пример случай, им самим подсмотренный. Два молодых водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу-на-глаз смешить друг друга уморительными анекдотами и остротами. «Я целый час подсматривал за ними из окна,—говорил Гоголь,—и конца не дождался. Смех не умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного тут не было; только сердечное веселье, да потребность поделиться друг с другом обилием жизни». Гоголь был не прочь и от сильных, необузданных страстей, которые затемняют иногда сердце и ум этих любезных людей. Все естественное, самородное, уже

по одному этому имело право на его уважение. Вот какой анекдот рассказывал он юмористически, но не без удовольствия. В его глазах один мальчишка пустил чем то в другого, проходившего мимо, и чувствуя, вероятно, важность ответственности за поступок, тотчас же шмыгнул в двери близлежащего дома, которые и припер за собою. Обиженный ребенок кинулся к дверям, старался выломать их и, видя невозможность одолеть преграду, стал вызывать оскорбителя на личную расправу. Ответа никакого, разумеется, не последовало; ребенок истощался в бранных эпитетах, в самых ядовитых прозвищах и в ругательствах, и не слыхал ни малейшего отзыва. Тогда он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощили жажду мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу... Но, оставляя в стороне анекдоты, скажем, что уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами: он и создания искусства ценил еще тогда по признакам силы, обнимающей сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробованья и щупанья, тем более оно ему нравилось, но он простирал иногда определения свои до парадокса. Так, к великому соблазну А. А. Иванова, он объявил однажды, что известная пушкинская сцена из Фауста выше всего Фауста Гете, вместе взятого. Не должно думать однако ж, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя сла-

бым и мягкосердечным; напротив, он обращался весьма строго с последними—и это *по принципу*. Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народного расположения к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим народом; чуть оплошай—заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: «о, что за чудная *cosa!* о, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака. Посмотрите, синьор, какая форма каблука! Можно влюбиться до безумия в такую вещь, и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою строгость и сноровку, подвергался не раз. Так, вздумав сделать прогулку за город в обыкновенном нашем обществе, мы подрядили ветурина, дали ему задаток и назначили час отъезда. Но час прошел, а ветурин не являлся, употребив, вероятно, задаток на неотлагательные свои нужды и забыв о поручении. Все присутствующие оказывали ясные знаки нетерпения и громко выражали негодование свое, исключая Гоголя, который оставался совершенно равнодушен, а когда один из общества заметил, что подобной штуки никогда бы не могло случиться в Германии: там де никто своего

не даст и чужого не возьмет,—то Гоголь отвечал с досадой и презрением: «Да, но это только в картах хорошо!»

Еще одна черта. Мы, разумеется, весьма прилежно осматривали памятники, музеи, дворцы, картинные галлереи, где Гоголь почти всегда погружался в немое созерцание, редко прерываемое отрывистым замечанием. Только уже по прошествии некоторого времени развязывался у него язык и можно было услыхать его суждение о виденных предметах. Всего замечательнее, что скульптурные произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: «то была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты».

Может статься, всего тяжелее было для позднейшего Гоголя победить врожденное благоговение к высокой, непогрешительной, идеальной, пластической форме, какое высказывалось у него в мое время поминутно. Он часто забегал в мастерскую известного Тенерани [1] любоваться его «Флорой», приводимой тогда к окончанию, и с восторгом говорил о чудных линиях, которые представляет она со всех сторон и особенно сзади: «тайна красоты линий,—прибавлял он,—потеряна теперь во Франции, Англии, Германии, и сохраняется только в Италии». Так точно и знаменитый римский живописец Камуччини, [2] воспитанный на классических преданиях,

[1] Пьетро Тенерани (Tenerani, 1789—1869), итальянский скульптор, ученик Кановы и Торвальдсена.

[2] Винченцо Камуччини (Camuccini, 1775—1844), художник, стремившийся в своих картинах восстановить принципы античного искусства и искусства эпохи Возрождения.

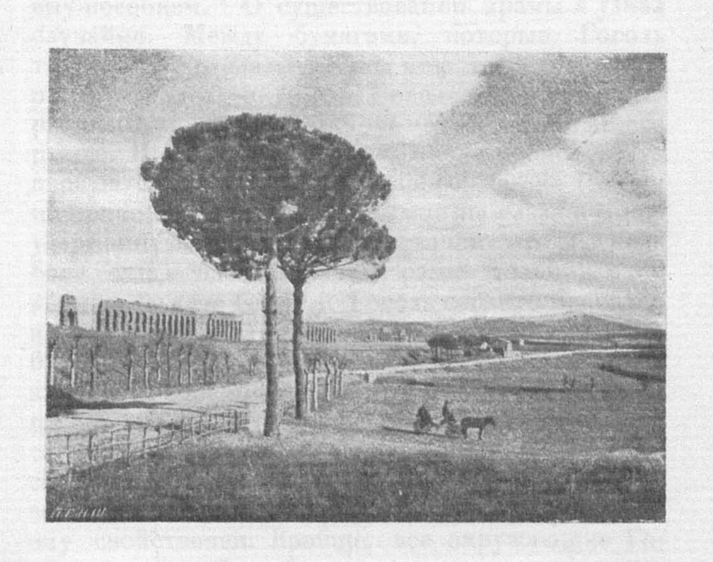
находил в нем усердного почитателя за чистоту своего вкуса, грацию и теплоту, разлитые в его картинах, похожих на оживленные барельефы. Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: «а если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла». Не нужно, полагаю, толковать, что поводом ко всем словам такого рода было одно артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к суровости и, если исключить маленькие гастрономические прихоти, более исполненную лишений, чем довольства. Так еще полно и невредимо сохранял он в себе художнический элемент, который особенно разыгрывался, когда духота, потребность воздуха и гулянья заставляли прекращать переписку «Мертвых душ» и выгоняли нас за город, в окрестности Рима.

Первая наша поездка за город в Альбано возникла, однако ж, по особенному поводу, который заслуживает упоминовения. Один молодой русский архитектор (фамилия его совершенно вышла у меня из памяти) имел несчастие, занимаясь проектом реставрации известной загородной дачи Адриана, простудиться в Тиволи и получить злокачественную лихорадку. Благодаря искусству римских докторов, через две недели он лежал без всякой надежды, приговоренный к смерти. Во все время его тяжкой болезни Гоголь с участием справлялся о нем у товарища его по академии и квартире в Риме, скульптора Лугановского (теперь тоже покой-

ного), но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивости недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов. Бедный молодой человек кончался: я был при последних минутах его и видел, как после одной ложечки прохладительного питья, которое беспрестанно подавала ему, по здешнему обычаю, женщина, сидевшая у его изголовья, он вдруг бодро, необычайно зорко окинул большими глазами комнату и людей, в ней находившихся, но это было последнее усилие молодости; он тотчас же ослабел и вскоре угас. Мы все собирались отдать бедному нашему соотечественнику последний долг, но Гоголь, вероятно по тем же причинам, о каких было упомянуто, боялся печальной церемонии и хотел освободиться от нее. За день до похорон, утром, после чашки кофе, я подымался по мраморной лестнице Piazza d'Espagna и увидел Гоголя, который задумчиво приближался к ней сверху. Едва только заметили мы друг друга, как Гоголь, ускорив шаги и раздвинув руки, спустился ко мне на площадку и начал с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: «спасите меня, ради бога: я не знаю, что со мною делается... Я умираю... я едва не умер от нервического удара нынче ночью... Увезите меня куда нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно»... Я был поражен неожиданностью известия и отвечал ему:—«Да хоть сию же минуту, Николай Васильевич, если хотите. Я схожу за ветурином, а куда ехать, назначайте сами». Через несколько часов мы очутились в Альбано, и, надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь

казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены.

С горы Альбано, как известно, открывается изумительный вид на Рим и всю его Кампанью, которому, может быть, только вредит самая его обширность и полнота. Далекое, безмолвное поле, усеянное руинами, по которому, кажется, ходит одно только солнце, меняя ежечасно краски и цвета его в виду недвижной черты города и синего купола Петра! Особенно вечером, при закате, когда длиннее и гуще ложатся на землю тени гробниц и водопроводов, картина эта приобретала строгое, художественное величие, почти всегда производившее на Гоголя непостижимое действие: на него ниспадал род нравственного столбняка, который он сам изобразил в статье «Рим» этими чудными чертами: «Долго, полный невыразимого восхищения, стоял он перед таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер» и проч. После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всей окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно. Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю



Вид римской Кампаньи.

Малороссии», кажется, Каменского [1], и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского: история Малороссии служила ему пособием. [2] О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-на-мелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: «и зачем это господь бог создал баб на свете, разве только, чтоб казаков рожала баба»... Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: «это что?» вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело. Возвращаюсь к террасе Барберини. Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колена и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойственен. Вообще, все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли его уединение и па-

---

[1] Д. Н. Бантыш-Каменский—„История Малой России", 1822 (2-ое изд. 1830 г.).

[2] Наброски этой трагедии из истории Запорожья были сделаны Гоголем в 1839—40 г. О ней Гоголь сказал как то М. С. Щепкину: „У меня есть драма за выбритый ус, вроде „Тараса Бульбы". Я скоро ее окончу". Жуковский говорил о ней Ф. Чижову: „Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала *я слушал; сильно было скучно; потом решительно* не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: „Ну, брат, Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось".—„А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее", отвечал он, и тут же бросил в камин. Я говорю: „И хорошо, брат, сделал". („Записки" Кулиша, I, 331.).

роксизмы раздумья, находившие на него, как бы предчувствуя за ними ту тяжелую, многосложную внутреннюю работу, о которой мы говорили. Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы), известна Европе под именем альбанской *галлереи* и утрудила на себе, неисчерпанная вполне, воображение и кисти стольких живописцев и стольких поэтов. Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины и проч. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: «если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!»—и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. Так, при самом начале моего пребывания в Риме,

разгуливая с ним по отдаленным улицам его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я заметил, что кончина поэта сопровождалась явлением, в высшей степени отрадным и поучительным: она разбудила хладнокровный, деловой Петербург и потрясла его... Гоголь отвечал тотчас же каким то горделивым, пророческим тоном, поразившим меня: «что мудреного? человека всегда можно потрясти... То ли еще будет с ним... увидите». В самом Альбано, на одной из вечерних прогулок, кто то сказал, что около шести часов вечера передние всех провинциальных домов в России наполняются угаром от самовара, который кипит на крыльце, и что само крыльцо представляет оживленную картину: подбежит девочка или мальчик, прильнет к трубе, осветится пламенем раздуваемых углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно кто нибудь придержал его: «Боже мой, да как же я это пропустил», сказал он с наивным недоумением: «а вот пропустил же, пропустил, пропустил», говорил он, шагая вперед и как будто попрекая себя. В том же Альбано, где мы теперь находимся, вырвалось у Гоголя восклицание, запавшее мне в душу. Два обычные спутники наши А. А. Иванов и Ф. И. Иордан прибыли в Альбано, похоронив бедного своего товарища. За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: «вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией». — «Отчего с Кампанией?» сказал Гоголь. — «Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле». — «Ну», воскликнул Гоголь, «значит надо приезжать в Рим для таких

похорон». Но он не в Риме умер и новая цепь идей под конец жизни заслонила перед ним и образ самого города, столь любимого им некогда.

Я еще ни слова не сказал о существенном качестве Гоголя, сильно развитом в его природе и которого он тогда еще не старался подавить в себе насильственно—о юморе его. Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины—меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и наконец он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором, или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. В то время, которое мы описываем, он сохранял еще юмор в полной свежести, несмотря на возникающую потребность идеализации окружающего и приближающийся перелом в его жизни. Так, мы знаем, что он смотрел на господствующее сословие в папском Риме, как на собрание ограниченных, малосведущих людей, склонных к материальным удовольствиям, но добродушных и мягкосердечных по натуре: лицо каждого аббата представлялось ему с житейской, вседневной стороны его и он не заботился об оффициальной его деятельности, где то же простодушное лицо, лакомка и болтун, выростает в меру своих обширных

прав и власти, ему данной. Также точно мы знаем, по статье «Рим», что Гоголь нашел место в картине и для рыжего капуцина, значение которого, помню, с жаром объяснял В. А. Панаеву, ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом, когда он вдруг появляется в среде пестрых итальянских женщин и удалой римской молодежи. Нельзя забыть также, что даже тяжелая красная карета кардинала с пудренными лакеями назади удостоивалась в его разговорах ласкового и пояснительного слова. Все это представление предметов было бы очень далеко от истины и настоящего их достоинства, если бы не поправлялось его юмором, выводившим наружу именно ту резкую, родовую черту предмета, по которой он правильнее судится, чем по соображениям и описаниям пристрастного мыслителя. Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития,—критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью... Множество проявлений этого юмора заключено в самой статье о Риме; присутствие его чувствовалось тогда почти в каждом разговоре Гоголя, но собрать проблески этой способности теперь нет никакой возможности. Большая часть их изгладилась из моей памяти, оставив только общее представление о своем характере. Случалось иногда, что это был осколок целого драматического представления, как, например, рассказ Гоголя о знакомстве с карди-

налом Меццофанти.[1] Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухощавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по русски. Гоголь объяснял способ его выпутываться из филологических затруднений, так сказать, наглядно. Кардинал, обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покуда не являлась новая придуманная фраза, и при живости старика это имело комическую сторону, передаваемую Гоголем весьма живописно. Он наклонялся немного вперед и, подражая голосу и движениям президента «Пропаганды», начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: «какая у вас прекрасная шляпа... прекрасная, круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная—это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа»—и проч. Впрочем, Гоголь отдавал справедливость удивительной способности кардинала схватывать отношения частей речи друг к другу в чуждом диалекте, а степень настоящего познания нашего языка у Меццофанти может показать следующая стихотворная записка его, буквально списанная мною с оригинала:

Любя Российских Муз, я голос их внимаю
И некие слова их часто повторяю,
Как дальный Отзыв, я не ясно говорю:
Кто ж может мне сказать, что я стихи творю.

І. Меззофанти.

[1] Джузеппе Mezzofanti (1774—1849)—проф. Болонского университета, отличавшийся необыкновенными способностями к усвоению языков; он говорил на 50—60 самых разнообразных языках.

Возвращаемся к городской нашей жизни. В Риме не было тогда постоянного театра, но какая то заезжая труппа давала пьесы Гольдони, Нотте и переделки из французских водевилей. Спектакль начинался обыкновенно в десять часов вечера и кончался за полночь. Мы довольно часто посещали его, ради первой его любовницы, красавицы в полном смысле слова, очень хорошего jeune premier, а более ради старика Гольдони, который, по весьма спокойному, правильному развитию сложных завязок в своих комедиях, составлял противоположность с путанницей и небывальщиной французского водевиля. Гоголь весьма высоко ценил итальянского писателя. Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, на подобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летпюю ночь Рим не ложится спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однакоже, что удушливый *сироко*, перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой, тогда и ночи были знойны

по своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере. Наскучив прогулками и театрами, мы проводили иногда остаток вечера у себя дома за бостоном. Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице: он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучше всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинство напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку *орвиетто*, захваченную кем нибудь на дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменявший, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку.

Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными матерьялами, в сильной задумчивости. Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильное беспокойное чувство, которое выразить я однако же не смел перед Гоголем, а именно, тогдашняя его причуда—проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни могла быть, во первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен. Как бы то ни было, но открыть секрет Гоголя, даже из благодушного желания пособить ему, значило нанести глубочайшую рану его сердцу. Таким образом Гоголь довольно часто, а к концу все чаще и чаще приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике вплоть до света, а со светом взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе жильца своего, в чем однакоже успел весьма мало, как и следовало ожидать. Обстоятельство это, между

прочим, хорошо поясняет то место в любопытной записке Ф. В. Чижова [1] о Гоголе 1843 года, где автор касается апатических вечеров Н. М. Языкова, на которых все присутствующие находились в состоянии полудремоты и после часа молчания или редких отрывистых замечаний расходились, приглашаемые иногда ироническим замечанием Гоголя: «не пора ли нам, господа, окончить нашу шумную беседу» (Записки о жизни Гоголя, том I, стр. 330). Вечера эти могли быть для Гоголя началом самой ночи, точно так же проводимой, только без друзей и разговоров. Конечно, тут еще нельзя искать обыкновенных приемов аскетического настроения, развившегося впоследствии у Гоголя до необычайной степени, но путь для них был уже намечен. Впрочем, все умерялось еще тогда наслаждениями художнической, созерцательной жизни, и самая бессонница, вызванная мнительностью, имела подчас поэтическую обстановку. Так, однажды во Фраскати мы долго разговаривали, сидя на окне локанды, глядя в темное голубое небо и прислушиваясь к шуму фонтана, который журчал на дворе. Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта приговаривал задумчиво: «а может быть все так и нужно покамест». Вообще мысль о России была в то время, вместе с мыслью о Риме, живейшей частью его существования. Он вполне был прав, утверждая впоследствии, что никогда так много

[1] В „Записках“ Кулиша, т. I, стр. 326—31.

не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда не был так связан с ним, как живя на чужой почве: чувство, испытываемое многими людьми с гораздо меньшими способностями и меньшим призванием, чем Гоголь. Между тем кроткая свежесть ночи, тишина ее и однообразный плеск фонтана погрузили меня в дремоту: я заснул на окне в то самое время, как мне казалось, что все еще слышу говор фонтана и различаю шопот собеседника... Вероятно, Гоголь также продремал всю ночь на окне, потому что он разбудил меня поутру точно в том виде и костюме, как был накануне.

Между тем, со мной случилось довольно неприятное происшествие. Выкупавшись в Тибре, я захватил сильную простуду, которая разрешилась опухолью горла или жабой, по простонародному названию. Доктор никак не мог овладеть болезнию и, не зная что делать, потребовал кровопускания. Я сопротивлялся этому общему итальянскому средству; но раз почтенный доктор вошел ко мне в сопровождении хозяина нашей квартиры, его домашних и фельдшера. По первым словам я убедился, что они решились на насилие и покорно отдал себя в их распоряжение. Фельдшер быстро перевязал мне руку и с видом какого то свирепого наслаждения приступил к делу. Всего забавнее, что сам доктор не мог удержаться от восторга при виде крови и закричал: bel sangue! Ecco-lo (вот она, кровь то). Затем, почти прыгая около меня, он подтверждал фельдшеру не жалеть моей крови и просил о том же всех присутствующих,

на лицах которых было написано душевное удовольствие. Комическая сцена, поразившая меня своей странностью и неожиданностию!

При первых признаках упорного недуга, сопротивляющегося медицинским средствам, Гоголь уехал тотчас за город, написав оттуда хозяину нашей квартиры маленькую записочку, в которой просил его заняться больным—nostro povero ammalato, как выразился. Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году, то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Что касается до созерцания смерти, известно, как подействовал на весь организм его гроб г-жи Хомяковой [1], за которым он сам последовал вскоре в могилу. Вообще при сердце, способном на глубокое сочувствие, Гоголь лишен был дара и уменья прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил на разумный язык доброго посредника и помогал

[1] Екатерина Михайловна Хомякова, жена поэта А. С. Хомякова, сестра поэта Н. М. Языкова, умерла в Москве в начале февраля 1852 г. „Смерть ее, последовавшая после кратковременной болезни, сильно потрясла его [т. е. Гоголя]. Она потрясла его не одною горестью, какую каждый из нас чувствует, лишась близкого сердцу человека. Душа поэта, постоянно настроенная на высокий лад, постоянно обращенная чуткою своею стороною к таинственному замогильному миру, исполнилась священного ужаса и сокрушительной скорби, заглянув в дверь, которая распахнулась перед ним на мгновение и снова закрыла от него свои тайны“. („Записки“ Кулиша, т. II, стр. 260.)

ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал. Нельзя и требовать от натуры человека, чего в ней не заключается (довольно, что натура была благородная и любящая по своему), но замечание это показалось нам совершенно необходимым в виду тех безразличных, ничего не выражающих фраз об «ангельской» душе, «необычайном» сердце и проч., которые расточаются биографами Гоголя в опытах изображения его характера—и характера его нисколько не определяют.

Я скоро выздоровел, а между тем время отъезда моего из Рима приближалось. До того мы успели сделать целым обществом прогулку в Сабинских горах, побывать в Олевано и Субиако, где нашли толпу русских художников, изучающих все эти превосходные и оригинальные местности. Гоголь нам не сопутствовал, он оставался в Риме *, и потом весьма пенял на леность, помешавшую ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел

* Известный наш художник Ф. А. Моллер, оканчивавший свою „Русалку“, писал в это же время портрет Гоголя. По возвращении моем из Субиако я раз застал в его мастерской Гоголя за сеансом. Вероятно, сеансы эти и были причиной, помешавшей Гоголю принять участие в нашей прогулке. Показывая мне свой портрет, Гоголь заметил: „писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений“, что подтвердил и Ф. А Моллер. Портрет известен: это мастерская вещь, но саркастическая улыбка, кажется нам, взята Гоголем, только для сеанса. Она искусственна и никогда не составляла главной принадлежности его лица. *Прим. автора.*

он, что лишился удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в средние века поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом, по каменной тропинке, привычным итальянским ослом. Другого способа езды нет. Многие живут там и доселе, связываясь с государством только посредством сборщика податей и местного аббата, их всеобщего духовника, сходя в долину для посева и сбора маиса и кукурузы, обмена своих овощей, а иногда, при благоприятных политических обстоятельствах, для разбоя и грабежа на дорогах. Как совершеннейшее проявление той естественной, *непосредственной* жизни, которую так высоко ценил Гоголь, они действительно заслуживали внимания его, особенно если вспомнить истинно живописные стороны, какими они, надо сказать правду, обладают в изобилии. Живописность и всякий проблеск самородной выдумки, как бы малозначительна ни была она, находили в Гоголе почти всегда лучшего и благорасположеннейшего ценителя. Помню, что в одно из наших путешествий по дорогам между Тиволи, Фраскати и Альбано мы наехали на узкую лощину, закраины которой так густо поросли кустами живой изгороди, что составили над тропинкой род зеленого, непроницаемого свода. Гоголь был в восхищении и сказал: «Вот какими дорогами надо бы обзавестись Европе»; но Европа обзавелась дорогами совсем в другом вкусе.

За день до моего отъезда из Рима, мы перебрались в Альбано, где решились ожидать прибытия почтовой кареты Перети, в которой я взял место до Неаполя. На другой день после

прощального дружеского обеда в обыкновенной нашей локанде Гоголь проводил меня до дилижанса и на расставаньи сказал мне с неподдельным участием и лаской: «Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу; но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество и стоит только выбрать...» Мы расстались. Я ехал на Неаполь с тем, чтобы осень провести в Верхней Италии, а на зиму переселиться в Париж.

В октябре 1841 года в Париже получено было известие, что Гоголь уехал в Россию для печатания I тома «Мертвых душ».

Несколько подробностей, касающихся до истории появления этого тома в печати, мы намерены привести здесь же, прерывая на время нить воспоминаний наших. С. Т. Аксаков в превосходной записке своей о Гоголе, сообщенной г. Кулишем и, к сожалению, разделенной им на отрывки, в которых отчасти теряется общий характер повествования (см. «Записки о жизни Гоголя». Спб. 1856 г.), относит к концу 1840 года замечательную перемену тона в письмах Гоголя, получивших оттенок торжественности и мистического одушевления. С. Т. Аксаков объясняет это обстоятельство, во первых, болезнию Гоголя в Вене, осенью того же года, открывшей ему, по собственному его признанию, многое, что изменило все существование его, а во вторых, причину перемены полагает в великом значении, какую возымели «Мертвые души» для их автора, увидавшего, как под рукой его «незначащий сюжет выростает в колоссальное созда-

ние, наполненное болезненными явлениями нашей общественной жизни». Последняя догадка особенно справедлива. С приближением к концу своего заветного труда Гоголь начинает уже смотреть на себя, как на человека, в жизни которого слышатся шаги неведомого, таинственного предопределения. Взгляд этот на самого себя все более и более укрепляется по мере развития работы и, наконец, переходит в убеждение, которое нераздельно срастается со всем его существованием. При поверке его писем, всеми известными обстоятельствами его жизни, мы видим, как по мере окончания какой либо части романа, свежих, живых отпрысков, данных им или обогащения его каким либо новым представлением, Гоголь проникается каждым из этих явлений, настраивает душу на высокий лад и возвещает друзьям событие торжественными, пророческими намеками, приводившими их в такое недоумение сначала. Он смотрит на самого себя при таких случаях со стороны (объективно) и говорит о себе прямо с благоговением, какое следует питать ко всякому, хотя бы и непонятному, орудию предопределения. Его вдохновенные, лирические возгласы, частое провозвестие близкого и великого будущего до того совпадают с годами и эпохами окончания разных частей романа, с намерениями автора в отношении их, что могут служить несомненными свидетельствами хода его работ и предприятий. Тон писем Гоголя изменяется, как замечено, к концу 1840, именно к тому времени, когда «Мертвые души» (первая часть) были готовы вчерне. В следующем за тем году наступает окон-

чательная отделка и переписка глав, и мы видим, что в марте 1841 года, Гоголь зовет к себе в Рим М. С. Щепкина, Конст. Серг. Аксакова и потом М. П. Погодина, возлагая на них обязанность перевезти себя в Россию. В письме его встречаются следующие строки: «Меня теперь нужно беречь и лелеять... Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет... Они сделают не бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь». Когда, в августе того же года, переписка романа была совсем приведена к окончанию (т. е. две недели спустя после моего отъезда из Рима), Гоголь отправляет к одному из своих лицейских товарищей, А. С. Данилевскому, письмо с советами касательно лучшего устройства его жизни, и вместе с тем из под пера его выливаются эти вдохновенные черты: «Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!.. О, верь словам моим! Властью высшею облечено отныне мое слово. Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово. Прощай! Шлю тебе братский поцелуй мой и молю бога, да снидет вместе с ним на тебя хотя часть той свежести, которою объемлется ныне душа моя, восторжествовавшая над болезнями хворого моего тела» и проч. (Зап. о жизни Гоголя. Т. I, стр. 273 и 285.) [1]

[1] Также в „Письмах“ под ред. Шенрока, т. II, стр. 96—99 и 109—112.

Так возвещал он друзьям своим степени различного состояния своей рукописи, и, конечно, если тут есть часть простого авторского самолюбия, то уже в мере, которая пропадает незаметно в другом, сильнейшем настроении. После 1843 года, при работе за второю частью «Мертвых душ», настроение это приобретает еще большее развитие, и тогда намеки, свидетельствующие о положении дела, о видах, какие имел автор на свое создание, о пути, который приняло его творчество, становятся еще более торжественными и проникаются еще более свойствами мистического, восторженного созерцания. Они делаются вместе с тем чаще, постояннее до тех пор, пока собрание их в одну книгу и издание в 1847 г. под именем «Выбранные места из переписки с друзьями», возвещают, по нашему мнению, совершенное окончание второй части «Мертвых душ», и скорое ее появление в свет. Мы еще будем говорить об этой *решительной* эпохе в жизни Гоголя, которая значительно отличается от начальной или *предуготовительной*, в которой находимся, но теперь же скажем, что отыскать соответствие между подробностями тогдашней его переписки и состоянием второй части «Мертвых душ», есть дело, конечно, трудное, но не невозможное для будущего биографа его.

И довольно замечательно, что даже простого сомнения в себе, не только христианского смирения, о котором так много толковали по поводу Гоголя, нет и признаков в его переписке вплоть до 1847 г., т. е. до страшного переворота в его жизни, последовавшего за неусие-

хом выданной им книги. Правда, он учит всех наблюдать за собой, радоваться ударам, наносимым самолюбию, но всякий такой удар отражает от себя тотчас же и весьма решительно. Все его требования упреков, выговоров, просьбы о сообщении бранчивых критик, похвалы несправедливым заключениям литературных врагов его тоже не показывают никакого смирения. Он уже стоял выше этого, играл с безвредным жалом порицателей, даже хвалил их, как хвалит учитель фехтования мальчика, нанесшего ему знакомый и предвиденный удар; но когда удар действительно был искусно рассчитан и поражал его, он подымался, как гроза, и с великою энергиею возвращал его противнику. Но в письмах Гоголя, скажут нам, есть, между прочим, ясные признаки упадка сил, есть искренние жалобы на творческую немощь, наконец, есть нелицемерная покорность провидению, надежда на него и беспощадная оценка самого себя.—Действительно есть, и все это уже симптомы самого труда, самого процесса работы, столько же, сколько и известного нравственного состояния. Всякий раз, как они появляются, можно подразумевать, как нам кажется, что Гоголь еще занят развитием идеи или представления, что он одолевает творческим образом характер или происшествие, что, наконец, он еще носится в открытом море создания, колеблемый всеми соображениями писателя и без берега в виду. Эти эпохи есть вместе с тем и эпохи самых сильных физических его страданий...

Грозные, карающие письма Гоголя к друзьям и даже к семейству, которые так удивили мно-

гих, поясняются тоже состоянием его мысли в эту эпоху. Такими письмами он намекал на сокровища, которые в ней таятся и по нашему мнению, они пишутся всякий раз, как труженику более и более переходившему к мистическому представлению своего призвания, кажется, что он открыл новую сторону в литературной задаче своей и стоит на высшей степени ее понимания. С вершины добытой художнической или мистической истины, что уже делалось для него все равно, он свободно бросает перуны вниз, к людям, еще не просвещенным тою благодатью, присутствие которой он сильно чувствует в себе. Под обаянием исключительной идеи Гоголь начинает придавать, особенно с 1843 года, глубокое значение всякому обстоятельству, касающемуся лично до него или до друзей: таинственные, многознаменующие признаки плодятся вокруг него; каждый простой случай жизни оживает, олицетворяется, получает вещее слово и пропадает, уступая место другому... Помню одно письмо Гоголя поэту Н. М. Языкову, кажется, пропущенное г. Кулишем, в котором он излагает мистическое значение Грефенберговского способа лечения холодной водой. Он обращает внимание друга на поучительную историю воды, как всеобщего медицинского средства, от начала веков предложенного человеку самим промыслом. Отвергнутое заумничавшимся человеком, оно вновь открыто, но не академиями, не профессорами и современной наукой, а простым и бедным крестьянином австрийской деревушки! Но когда Гоголь сам попробовал ванны и души Грефен-

берга, которые отчасти расстроили его слабые нервы, он забывал все свои прежние толкования и в другом письме к Н. М. Языкову откровенно проклинал Грефенберг и его знаменитого доктора [1]. Ошибки не исправляют страстные увлечения: все, что каким либо образом соприкасается с задачею его жизни, с созданием романа, является в необычайных размерах... Так, поручения его списывать статьи журналов и пересылать ему вместе с заметками о нравах и обычаях с ходячими толками и суждениями о нем самом, являются в свете его вдохновенных пояснений не просто материалами для питания и укрепления его литературной деятельности, а почти делом, приближающим великое будущее, и спасением для тех людей, которые займутся им. Есть несколько писем Гоголя к г-же Смирновой (жене губернатора, урожденной Розетти [2] в Калугу, где поручения этого рода представлены в виде нравственного подвига, следствия которого могут быть гораздо важнее для того, кто принял его на себя, чем для того, кто прямо ими воспользуется. Иногда даже малейшие обстоятельства, каким либо образом ускоряющие дви-

---

[1] О „чудесах, производимых посредством лечения холодною водою в Греффенберге“ (близ Мариенбада) доктором Призниц—„медиком, воспитанным одною натурою, без помощи медицинских академий“, Гоголь пишет еще в 1839 г. в письмах к А. С. Данилевскому и М. П. Балабиной. В письме от 18 июня 1843 г. он настойчиво советует Н. М. Языкову ехать лечится в Греффенберг, а в письме от 20 июня того же года к А. С. Данилевскому пишет о Признице: „Небо осенило откровением ум этого человека и я вижу ежеминутно, как пред ним мало знают лучшие из книжных докторов... Этот человек владеет водой, как Наполеон владел солдатами“. Разочаровался Гоголь в этой системе в 1846 г., когда сам попробовал лечиться в Греффенберге.

[2] Александра Осиповна Смирнова (1810—1882)—близкая приятельница Пушкина, Гоголя, Жуковского, автор „Воспоминаний о Жуковском и Пушкине“ и „Записок“.

жение романа, облекаются тем же таинственным светом, в котором очертания всех предметов ложатся громадными колоссальными линиями. Один сильный пример этого перевода очень обыкновенных потребностей жизни на высокий язык прозрений, предчувствий и мистических толкований, мы берем из переписки покойного Н. Я. Прокоповича с Гоголем. Он относится к 1842 г., к эпохе печатания «Мертвых душ» в Москве, и таким образом сам собою приводит нас к предмету нашего описания.

Читатель должен вспомнить прежде всего, что в октябре 1841 года Гоголь жил в Москве, представив там и рукопись свою на цензурное одобрение. По затруднениям, которые встретились тогда, рукопись переслана была в Петербург и в марте месяце 1842 года получила полное цензорское одобрение, за исключением повести о капитане Копейкине, которую следовало переделать. Гоголь приступил к переделке повести и с нетерпением ждал прибытия своей рукописи, высланной в Москву для печатания, как говорили, тоже в марте, но рукопись пришла только в начале апреля, пролежав где то добрый месяц. Все это время Гоголь томился, страдал, жаловался друзьям на пропажу труда и в неподдельной тоске спрашивал у всех об участи своей рукописи. Наконец, приступлено было к печатанию. Дело таким образом приходило к развязке; горизонт уяснялся понемногу, и Гоголь задумал кстати выдать новое издание своих «Сочинений», но уже в Петербурге, и предоставил все хлопоты печатания покойному Н. Я. Про-

коповичу. 15-го мая он написал ему следующее письмо:

«Благодарю тебя именно за то, что ты в день 9 мая * написал письмо ко мне. Это было движенье сердечное; оно сквозит и слышно в твоих строках. Я хорошо провел день сей, и не может быть иначе; с каждым годом торжественней и торжественией он для меня становится. Нет нужды, что не сидят за пиром пировавшие прежде: они присутствуют со мной неотразимо, и много присутствует с ними других, дотоле не бывавших на пире. Ничтожна грусть твоя, которая на мгновенье осенила тебя в сей день; она была поддельная, ложная грусть: ибо ничего, кроме просветленья мыслей и предчувствий чудесного грядущего, не должен заключать сей день для всех, близких моему сердцу. Обманула тебя, как ребенка, мысль, что веселье твое уже сменилось весельем нового поколения. Веселье твое еще и не начиналось. *Запечатлей же в сердце сии слова: ты узнаешь и молодость, и крепкое, разумное мужество, и мудрую старость. Узнаешь их прекрасно, постепенно, торжественно спокойно, как непостижимой божьей властью, я чувствую отныне всех их разом в моем сердце*. Девятого же мая я получил письмо от Данилевского. Оно меня утешило. Я за него спокоен. Три, четыре слова, посланные мною еще из Рима, низвели свежесть в его душу **. Я и не сомневался в том, что бы не настало, наконец, для него время силы и деятельности. Он светло и твердо

---

* День именин Н. В. Гоголя. *Прим. автора.*
** Отрывок из этого письма к Данилевскому приведен у нас несколько выше. *Прим. автора.*

стоит теперь на жизненной дороге. *Очередь твоя. Имей в меня каплю веры,— и живящая сила отделится в твою душу*[1]. Я увижу тебя скоро, может быть, через две недели. Книга тоже выйдет к тому времени; все почти готово. Прощай. До свиданья. Твой Г.».

Торжество писателя и гражданина, достигающих последней цели своих стремлений, звучит в этом письме удивительно полным и могучим аккордом: мысль о близком появлении романа низводит небо в душу автора и дает ему чувствовать за раз наслаждения всех возрастов, по его словам. То же самое обещает он и приятелю, для которого приготовляет довольно сложную, хлопотливую, но совсем не блестящую и нисколько не вдохновенную работу—печатание и издание своих «Сочинений» в Петербурге. По поводу этой простой комиссии он заглядывает в будущее и немеет пред необычайными наградами, которые готовятся там за подвиг, доступный всякому только что грамотному и порядочному человеку. Надобно сказать, что по нашему глубокому убеждению, которое желали бы мы сообщить всем, Гоголь был совершенно добросовестен, когда писал эти строки: он сам верил в необъятную важность своего плана! Как в этом случае, так и во всех других ему подобных, нет никакой возможности предположить, что рукой его водил один только голый, безобразный мещанский расчет—притянуть к себе чужие силы и ими воспользоваться. Кто знает свойство вообще исключительных идей лите-

---

[1] Курсивы Анненкова

ратурного, мистического и всякого другого содержания поглощать все другие соображения и становиться всюду на первый план, тот никогда не придет к подобному заключению. Самый тон подобных писем, исполненный теплоты и одушевления, уже отстраняет от них подозрение в сухом обдумывании эгоистического замысла. Мы сейчас увидим, каков был Гоголь, когда действовал от своего лица и по обстоятельствам, а не по внушениям своей неизменной мысли: он становится другим человеком и выказывает новую сторону характера, совершенно противоположную той, которой теперь занимаемся. В настоящем случае, как и во всех с ним схожих, он был выше или, если хотите, ниже расчета. Он говорит с собеседником как *власть имущий*, как судья современников, как человек, рука которого наполнена *декретами*, устраивающими их судьбу по их воле и против их воли.

Но с этой высоты представления своей жизненной задачи Гоголь по временам сходил в толпу людей, когда требовала этого необходимость, и становился с ними лицом к лицу. Тогда обнаруживалась другая сторона его характера, о которой сейчас упомянули. Для борьбы с нерешительностью, равнодушием, и противодействием, он употреблял верные, чисто практические средства, и притом с разнообразием, энергией и дальновидностью расчета, заслуживающими изумления. Так было между прочим в эпоху печатания первого тома «Мертвых душ». Письмо к Н. Я. Прокоповичу, приведенное нами выше, имело еще приписку следующего содержания: «О книге можно объявить. Постарайся об этом.

Попроси Белинского, чтобы сказал что нибудь о ней в немногих словах, как может сказать не читавший ее. Отправься также к Сенковскому [1] и попроси от меня поместить в литературных новостях известие, что скоро выйдет такая то книга, такого то, и больше ничего. В этом, кажется, никто из них не имеет права отказать». Это незначительный образчик его хлопот о книге. Он писал министру просвещения, покойному графу Уварову, известное письмо, в котором, по глубокой сметливости, мельком говорит о нравственном значении нового своего произведения и указывает преимущественно на бедность и беспомощность своего положения, обнаруживая этим немаловажное познание в деловой логике и в материях, на которые она обращает особенное свое внимание. Письмо было без означения года, числа и места, откуда послано, и г. Кулиш в своей книге (т. I, с. 292) думает, что это произошло, может быть, от рассеянности, но это произошло не без умысла. Просьба выражала высшую степень незаслуженного страдания, до которого доведен человек, и могла обойтись без всех формальностей; отсутствие их, не говоря о другом, даже сообщало ей особенный вид искренности. Немного далее г. Кулиш (стр. 254), по поводу этого письма и другого к бывшему попечителю Спб. округа, князю М. А. Дондукову-Корсакову, точно

---

[1] Осип Иванович Сенковский (1800—1858), ученый ориенталист и беллетрист, писавший, главным образом, под псевдонимом „Барон Брамбеус“, редактор журнала „Библиотека для чтения“ (начал выходить в 1834 г.), с направлением которого боролись писатели Пушкинской группы в том числе и Гоголь (статья „О движении журнальной литературы“ в „Современнике“ 1836 г., т. I).

в том же роде, замечает: «Перечитывая эти письма, значительно мною сокращенные, удивляешься простодушию поэта и его незнанию самых обыкновенных приемов в сношениях с людьми такого рода, по такому делу и при таких обстоятельствах. Не думаю, однако ж, чтобы эти недостатки понижали Гоголя хотя одним градусом во мнении истинно благородномыслящего человека. Нет, зная ничтожество его в жизни практической, неловкости в сношениях с людьми, мелочные причуды характера, или какие бы то ни были нравственные недостатки, мы тем больше должны почитать пламень его таланта. Глядя таким образом на поэта, мы не оскорбим *его памяти своим любопытством, доискивающимся его высоких поступков или мыслей и самых мелких его слабостей*». Все это место, как и несколько других в книге г. Кулиша, следует понимать буквально наоборот. И тогда оно будет соответствовать делу и выражать справедливое мнение. Простодушия поэта нет и признаков в обоих письмах; нарушение обыкновенных условий корреспонденции вышло, как нам кажется, совсем из другого источника, чем недостаток опытности; практический смысл Гоголя составлял его отличительное свойство, пока не пропадал в одной исключительной идее; к *пламени его таланта* незачем обращаться благонамеренному и добросовестному исследователю, как бы к некоторому облегчительному обстоятельству в своем роде, а доискиваться причины его высоких поступков и мелких слабостей не значит оскорблять памяти Гоголя, перед которой благоговеет всякий образованный русский,

а значит только удовлетворить законной потребности в истине и в великом поучении, которое представляет жизнь каждого замечательного человека.

В дополнение, мы приводим здесь из переписки с Н. Я. Прокоповичем один листок, который окончательно показывает, в каком тоне и на каких условиях требовал Гоголь ходатайства друзей перед людьми, от которых зависела судьба его рукописи, а стало быть и его собственная. Листок подтверждает также, что письма его к двум влиятельным лицам эпохи не были произведением минутной вспышки, а, напротив, составляли часть обдуманной системы. «Москва, февраль.—Я получил твое уведомление, но такое же самое, назад тому полторы недели, я получил уже от Плетнева, и с тем вместе было сказано, чтобы я готовился к печати, что на днях мне пришлется рукопись; а между тем уже две недели прошло. Не затеялась ли опять какая нибудь... история? Пожалуйста, зайди к Плетневу и разведай. И попроси его, чтобы он был так добр и заехал бы сам к Уварову и князю Д-К-ву. Последний был когда то благосклонен ко мне. Пусть он объяснит им, что все мое имущество, все средства моего существования заключаются в этом, что я прошу их во имя справедливости и человечества, потому что я и без того уже много терпел и терплю, меня слишком истомили, измучили эти истории, и что я теряю много уже через одни проволочки, давно лишенный всяких необходимых [средств существования]. Словом, пусть он объяснит им это. Не[ужели] они будут так бесчувственны? Здоровье

мое идет пополам: иногда лучше, иногда хуже. Но я устал крепко, всеми силами и, что всего хуже, не могу совсем работать. Чувствую, что мне нужно быть подальше от всего житейского дрязгу: он меня томит». Конечно, материальная сторона предприятия не могла быть лишена всей своей важности в глазах человека, жившего одними своими литературными трудами, но намерение держаться одной этой стороны, как лучшей пособницы в настоящем деле, доказывает уже само по себе сильное познание эпохи и не малую практическую зоркость.

И не одни влиятельные лица того времени вызывали у Гоголя уменье приноровляться к понятиям и взгляду общества, но и на самых друзьях своих он еще испытывал способность говорить языком их помыслов и наклонностей. Зная постоянное желание бывшего издателя «Современника» (Плетнева) украсить свой журнал его именем, Гоголь пишет к старому своему другу и покровителю письмо из Москвы от 6 февраля 1842. На этот раз Гоголь вдруг отказывается от печатания «Мертвых душ», просит возвратить ему рукопись, под предлогом необходимых исправлений, и только требует откровенного мнения друзей на счет достоинства и недостатков романа. Письмо это, если бы получено было своевременно в Петербурге, конечно, поразило бы всех почитателей его таланта, да, вероятно, и рассчитано было на произведение этого эффекта, способного удвоить их ходатайство по общему делу. Не довольствуясь этим, Гоголь, как бы ненароком, бросает еще в конце письма следующие слова:

«P. S. Будет ли в «Современнике» место для статьи около семи печатных листов, и согласитесь ли вы замедлить выход этой книжки, выдать ее не в начале, а конце апреля, т. е. к празднику? Если так, то я вам пришлю в первых числах апреля. Уведомьте». Надо сказать, что единственная статья, которой он мог располагать, была именно «Рим», в чем удостоверяет нас сам автор, писавший к Прокоповичу 13 марта: «В Москвитянине» не повесть моя, а небольшой отрывок... Это единственная вещь, которая у меня была годная для журнала». Пообещав ее «Современнику», Гоголь отдал статью в «Москвитянин», по причинам, которые опять сам же излагает: «Погодину я должен был дать что нибудь, потому что он много сделал для меня, Плетневу я тоже должен, хотя до сих пор еще не выполнил». Статья «Рим» появилась в 3 № «Москвитянина» 1842, а вслед за тем, 17 марта, Гоголь высылает издателю «Современника» старую, хотя и вновь переделанную повесть «Портрет», которая вряд ли могла заменить для журнала подарок, сделанный «Москвитянину», а в извинение пишет, что как ни силился составить для «Современника» статью во многих отношениях современную», но, написав три «беспутных страницы», истребил ее совсем. Можно смело предполагать, что даже к этим трем «беспутным страницам» он никогда не приступал. Вдобавок, Гоголь старается еще убедить редакцию, что старая повесть более идет такому журналу, как «Современник», который должен быть весь обращен к прошлому и почти не иметь другой цели, кроме восиоми-

нания Пушкина и собрания друзей вокруг его могилы (Записки о жизни Гоголя, т. I, стр. 295). Во всей этой, впрочем, весьма обыкновенной журнальной истории важно для исследователя только одно обстоятельство, именно следующее: письмо, где Гоголь отказывается от печатания «Мертвых душ» и обещает статью, было им придержано и отослано уже спустя две недели после написания (17 февраля). Гоголь видимо причислял письмо к последним крайним мерам своим и ожидал еще известий. Когда более благоприятные известия достигли до Москвы, письмо потеряло свою самостоятельность и пошло в виде дополнения к другому спокойному и уже частью веселому сообщению (см. Зап. о Гоголе, т. I, стр. 291). Роль, на которую оно предназначалось, была снята с него, характер последнего, решительного удара потерян: оно оставалось только свидетелем протекших волнений писателя, которые должны еще были возбуждать участие и сострадание его друзей!

Мы упомянули раз имя Белинского. В виду влияния, которое имел этот замечательный деятель своего времени на значительный класс читателей, Гоголь не мог оставить его без внимания и с первого же знакомства получил от него услугу, немаловажную по своим последствиям. Обычный, формальный ход рукописи «Мертвых душ», как мы уже сказали, встретил в Москве какого то рода затруднения. Гоголь еще не знал, на что решиться, когда, пользуясь случайным пребыванием Белинского в Москве, он назначил ему в доме одного общего знако-

мого свидание, но, как следовало ожидать, под условием величайшего секрета. Пренебречь ропотом друзей, завязав откровенные сношения с критиком, он не мог даже по убеждениям своим. Мы знаем положительно, что Гоголь, вместе с другими членами обыкновенного своего круга был настроен не совсем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому, что критик стоял за суровую, отвлеченную, идеальную истину и, при случае, мало дорожил истиной исторической, а еще менее преданием, связями и воспоминаниями кружков. Гоголь несколько раз выражал недовольство свое критикой Белинского еще в Риме. С другой стороны, несмотря на тогдашнюю бдительность литературных партий и строгий присмотр за людьми, Гоголь понимал опасность оставаться безвыходно в одном кругу, да и сочувствие к деятельности Гоголя, высказанное не раз Белинским, сглаживало дорогу к сближениям: отсюда *секретные* сношения, первый пример которых подал, как известно, Пушкин, посылавший тайком критику нашему свои книги и одобрительные слова. Не обвиняя никого, можно объяснить подобные явления чрезвычайной молодостью литературы и общества; но, как бы то ни было, при первом *таинственном* свидании Гоголя с Белинским Гоголь решился на пересылку своей рукописи в Петербург, и тогда же обсуждены были меры для сообщения ей правильного и безостановочного хода. Белинский, возращавшийся в Петербург, принял на себя хлопоты по первоначальному устройству этого дела, и направление, которое он дал ему тогда, может быть, решило и

успех его. С ним, как мы слышали, пошла и самая рукопись автора... Впрочем, как мы сказали, миновать известного нашего критика и не было возможности: он уже начинал делаться у нас странным анонимом. Никто не произносил его имени, но литературные прения, где бы они ни завязывались, постоянно имели в виду положения, им высказанные, не говоря уже о множестве статей, невольно и неудержимо направленных в ту сторону, где стоял замечательный аноним, существование и влияние которого они старались покрыть ложным презрением! Несколько позднее явление это еще развилось и обхватило большой круг. В разговорах любителей литературы, в обществе образованных людей, занимавшихся событиями отечественной жизни и ее направлением, даже на профессорских кафедрах красноречия аноним присутствовал неизбежно. Его надобно было непременно обойти, чтоб итти далее или в другую сторону. Точно так поступал и Гоголь: ни разу не произносит он имени Белинского во всей своей переписке с друзьями, но протягивает ему руку за спиной их. После отъезда Белинского в Петербург Гоголь получил от него длинное, пространное письмо с мыслями, касавшимися, вероятно, внутреннего значения «Мертвых душ» и будущего их продолжения. Так можно, по крайней мере, заключить из следующего отрывка, писанного Гоголем к Н. Я. Прокоповичу в мае 1842: «Я получил письмо от Белинского. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что минуты не имею времени и потому, что, как сам он знает, обо всем этом нужно потрактовать

и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний мой проезд через Петербург». Действительно, в доме Прокоповича в Петербурге устроено было опять совещание, не требовавшее уже таких предосторожностей, как московский его предшественник, но все таки носившее характер секрета, без которого Гоголь не мог его ни понять, ни представить себе. Через два месяца после выезда своего из Петербурга за границу, именно из Гастейна (в Тироле), Гоголь делает еще следующую приписку к Прокоповичу, которая, если не ошибаемся, показывает присутствие некоторого чувства доверенности и уважения к критику: «Да, пожалуйста, попроси Белинского отпечатать для меня особенно листки критики «Мертвых душ», если она будет в «Отечественных Записках», на бумаге, если можно, потонее, чтобы можно было прислать мне ее прямо в письме, и присылай мне по листам, по мере того, как будет выходить». Конечно, тут есть частью выражение того любопытства, какое обнаруживал вообще Гоголь в отношении суждений и толков о себе, но тут есть вместе с тем, как нам кажется, и кой что более. Таким образом, под покровом равнодушия и внешней холодности, способных обмануть глаза приятелей, он отдавал должное нравственной силе, не признаваемой другими, и таким образом, скажем еще, люди самых различных положений в обществе, самых разнородных стремлений и характеров действовали одинаково в его пользу или в пользу его дела.

Наконец, «Мертвые души» вышли из печати: Алекс. Иван. Тургенев [1], получивший это известие из России, распространил его в Париже, и легко понять, с каким восторгом принято оно было всеми, которые отчасти ознакомились с содержанием и направлением романа. С этих пор начинаются беспрерывные разъезды Гоголя по Европе.

В мае 1842 он покидает Петербург, направляется к югу, живет довольно долго с больным Н. М. Языковым в Гастейне, и осенью вместе с ним является в Рим, где остается на зиму 1842—1843. Весь следующий остаток 1843 проводит он в беспрерывных разъездах; осенью посещает Дюссельдорф, где жил В. А. Жуковский, и наконец, является, (в декабре 1843) в Ниццу: здесь уже, благодаря обществу А. О. Смирновой, гр. Виельгорского и других близких людей, Гоголь останавливается несколько долее — вплоть до весны 1844. Затем он переселяется во Франкфурт, в загородный домик Жуковского, основавшего там свое местопребывание, и, с малыми отлучками в Баден, Остенде, Париж, и на разные воды, живет у него до лета 1845. Таким образом, Ницца и Франкфурт остаются пунктами самого долгого его пребывания на одном месте. Затем является снова год безостановочных вояжей (от лета 1845 до весны 1846) и вместе с тем это год болезни, лечения, душевной тревоги, сменяемой невыразимыми порывами мистического экстаза, посещающего его все чаще

[1] Александр Иванович Тургенев (1785—1846), близкий друг Карамзина, Дмитриева, Вяземского, много живший за границей и деятельно переписывавшийся со своими друзьями.

и чаще. Он успокоивается несколько в Риме, но весной выезжает оттуда в Париж, направляясь к морским купаньям в Остенде, изменяет однако же на дороге свой маршрут и поворачивает из Парижа на Дунай, а оттуда через Швальбах (близ Рейна), где ожидает его В. А. Жуковский, с которым он так давно расстался, — достигает цели путешествия. Из Швальбаха (30 июля), между прочим, Гоголь отправляет в Петербург к П. А. Плетневу первую тетрадку «Выбранной переписки с друзьями», заготовленную еще в Риме. Второй период его развития кончился; плоды римского созерцания, определяющий и идеализирующий взгляд на русское общество, теория безграничного самосовершенствования, поражающая художническую производительность в самом источнике и, наконец, понимание себя, как орудия в руках предопределения, и мучительные догадки о видах и целях его в отношении к себе — все это окончательно воспиталось и созрело среди этих четырехлетних беспрерывных разъездов, перемешанных с остановками... Покажем здесь степени этого развития, сколько позволяют пределы и цель нашей статьи, и воротимся снова к воспоминаниям.

Во второй половине 1842 и в начале 1843 мысль Гоголя еще далеко не достигала последних пределов того пути, по которому устремилась. Он занимается изданием своих «Сочинений», начатом в Петербурге, и входит в мельчайшие подробности касательно этого дела. Распределение статей, условия с книгопродавцами, время выпуска, выгоды, каких можно ожидать от предприятия, и, наконец, употребление буду-

щих сумм,—все взвешено и обсуждено им с необычайною аккуратностью: он занят жизнию весьма серьезно. Почта за почтою присылает Гоголь издателю своему перемены, дополнения, прибавки к разным статьям. Так прислано было окончание «Игроков» и велено было включить фразу в речь Утешительного, после слов: «На, немец, возьми, съешь свою семерку»: «Руте, решительное руте; просто карта—фоска». «Эту фразу, — прибавляет Гоголь, — включи непременно — она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства». Вероятно он и услыхал ее где нибудь тогда же. Так точно, усилив еще выразительность монолога Кочкарева, начинающегося словами: «Да что ж за беда? Ведь иным плевали несколько раз», Гоголь предписывает озаглавить комедию следующим образом: «Женитьба, совершенно невероятное событие, в двух действиях». Затем присылает он подробное описание немой сцены, которая должна быть приложена к концу «Ревизора» и выполнение которой он хочет сделать обязательной для актеров. Общий характер всех этих перемен и сила самой критической способности в Гоголе весьма хорошо выражаются следующим отрывком из его письма к Н. Я. Прокоповичу: «Гаштейн. Июля 27—15 (1842): Я к тебе еще не посылаю остальных двух лоскутков, потому что многое нужно переправить, особливо в *Театральном разъезде после представления новой пиесы*. Она написана сгоряча, скоро после представления «Ревизора» и потому немножко нескромна в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней, т. е., чтобы ее применить,

можно было ко всякой пиесе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее, как написанную по случаю «Ревизора». При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней: в *Тарасе Бульбе* много есть погрешностей писца. Он часто любит букву *и*; где она не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо,—все будет хорошо. Да вот что самое главное: в нынешнем списке слово: «слышу», произнесенное Тарасом пред казнью Остапа, заменено словом: «чую». Нужно оставить по прежнему, т. е. «*Батько, где ты? Слышишь ли это*?—Слышу». Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, хотя бы она была и лучше». Так еще заботится Гоголь о себе, как о писателе, и презрения ко всей своей прошлой литературной деятельности нет еще тут и признаков.

Совсем другое является с половины 1843... Прежде всего следует заметить, что выпуск второй части «Мертвых душ» откладывается тогда на неопределенное время. Нам уже почти несомненно известно теперь, что эта вторая часть в первоначальном очерке была у него готова около 1842 года (есть слухи, будто она

даже переписывалась в Москве в самое время печатания первой части романа). Вероятно и тогда она уже носила определяющий и идеализирующий характер. Гоголь не скрывал, как этого свойства нового произведения, так и относительной близости его появления. Он писал в 1842, что едет в Иерусалим, как только довершит свое произведение, и несколько раз повторяет эту мысль, намекая и на скорое исполнение плана: «только по совершенном окончании труда моего могу я предпринять этот путь... Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением» [1]. Но с половины 1843 все изменяется: путешествие в Иерусалим уже становится не признаком окончания романа, а представляется как необходимое условие самого творчества, как поощрение и возбуждение его. Вместе с тем роман уходит в даль, в глубь и тень, а на первый план выступает нравственное развитие автора. В течение недолгого срока оно достигает такой степени, по мнению Гоголя, что сочинение уже не может равняться с ним и стоит неизмеримо ниже мысли творца своего. Николай Васильевич начинает молить бога дать ему силы поднять произведение свое на высоту тех откровений, какие уже получила душа его. В половине 1843 друзья Гоголя извещаются письменно об изменившихся его намерениях касательно II тома «Мертвых душ» и об устранении всех надежд на скорое

[1] Письмо к Н. Н. Шереметевой. („Письма“ под ред. Шенрока, т. II, стр. 247–8).

его появление. Н. Я. Прокопович тоже получает своего рода предостережение. Пользуясь невинной его заметкой о нетерпении публики видеть продолжение романа, Гоголь отправляет ему следующее строгое и торжественное письмо, как все его письма, заключавшие намеки на видоизменения романа:

«Мюнхен. Мая 28 (1843). Твое письмо меня еще более удивило, чем, вероятно, удивит мое тебя. Откуда и кто распускает всякие слухи обо мне? Говорил ли я когда нибудь тебе, что буду сам летом в Петербурге? или что буду печатать II том в этом году? и что значат твои слова: *не хочу тебя обижать подозрением в лености до такой степени, что будто ты не приготовил 2-го тома «М. Д.» к печати?* Точно «М. Д.» блин, который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько нибудь знаменитого автора или даже хотя замечательного: что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя и сколько времени заняла?— Всю жизнь, ни больше, ни меньше. Где ж ты видел, чтобы произведший эпопею произвел, сверх того, пять, шесть других? Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого! От меня менее всего можно требовать скорости тому, кто сколько нибудь меня знает, во первых уже потому, что я терпеливее, склонен к строгому обдумыванью и притом еще во многом терплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков. «М. Д.» не только не приготовлен II том к печати, *но даже и не написан*, и раньше двух лет, (если только мои силы будут постоянно свежи в это время) не может выйти в свет.

А что публика желает и требует II тома—это не резон; публика может быть умна и справедлива, когда имеет уже в руках, что надобно рассудить и (над чем) поумничать; а в желаниях публика всегда дура, потому что руководствуется только мгновенною минутною потребностью. Да и почему знает она, что такое будет во II томе? Может быть, то, о чем даже ей не следует и знать и читать в теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для второго тома».

Так, после зимы, в Ницце все обращается для Гоголя в вопрос, начиная с его авторской деятельности. Содержание нашего отрывка, несмотря на презрительный и горделивый тон его, все еще держится предметов общественного и литературного свойства, но в письмах к московским друзьям, Гоголь весь отдается мистическому направлению и в нем почерпает доводы для временного прекращения и изменения своей деятельности, как писателя. С этой поры также начинает выказываться та наклонность к упрекам и выговорам, которая отличала потом все его сношения с людьми близкими и дальними. Высшее нравственное состояние, до которого он достиг, по его мнению, дозволяло и узаконяло голый упрек: Николай Васильевич потерял даже и представление о его житейском, оскорбляющем свойстве. Рядом с этим встречается, однако же, весьма трогательная и благородная черта характера в Гоголе. Как только раздавался голос живого человека, отозвавшегося на его удары, как только достигал до него вопль затронутой души, Гоголь вдруг падал с высоты всего предполагаемого своего развития, преда-

вался глубочайшему раскаянию, старался загладить или изменить смысл неосторожного выражения, и при этом все казалось ему хорошо — нежное, ласкающее слово, одобрение, подымающее силы, мольба и лесть... Так действует он постоянно в течение четырех последних лет пребывания за границей со всеми друзьями своими.

К той же последней половине 1843 относим мы первое уничтожение рукописи «Мертвых душ» из трех, какому она подверглась. Если нельзя с достоверностию говорить о совершенном истреблении рукописи II тома в это время, то кажется можно допустить предположение о совершенной переделке его, равняющейся уничтожению. Так, по крайней мере, можно заключить из всех писем Гоголя и особенно из письма к В. А. Жуковскому от 2 декабря 1843: роман, за которым уже около трех лет работал автор, представляет в эту эпоху, по собственному его признанию, один первоначальный хаос: это труд, только что зарождающийся. Вот слова самого Гоголя:

«Я продолжаю работать, то есть *набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «М. Д.»* [1]. Труд и терпение, и даже приневоливание себя, награждают меня много. Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа, и многое в мире становится после этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозренью великих тайн божьего

[1] Курсив Анненкова.

создания, и видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что либо человек — кончит все тем же: одною полною и благодарною молитвою».

В смысле этих слов ошибиться, кажется, нельзя: набрасывание хаоса, из которого должно произойти создание «М. Д.», не может относиться ни к продолжению поэмы, ни к отделке какой либо части ее. Не о постепенности в творчестве или обыкновенном ходе его говорит это место, а о новой творческой материи, из которой начинают отделяться части создания по органическим законам, сходным с законами мироздания. Старая поэма была уничтожена; является другая, при обсуждении которой открываются тайны высокого творчества с тайнами, глубоко схороненными в недрах русского общества. Обновление поэмы было полное...

Между тем, наступил 1844 год, важнейший во втором периоде Гоголевского настроения. Одну половину его Гоголь пробыл, как известно, в Ницце, а другую во Франкфурте, с временными отлучками из обоих городов, не заслуживающими упоминовения. Он начинает этот год раздачей экземпляров «Подражания Христу» [1] друзьям, оставшимся в России, и кончает признанием, что за работой самосовершенствования уже никакие земные утраты не в силах огорчить его. «Сочинения» свои, с такими хлопотами изданные два года тому назад, он неодно-

[1] Сочинение Фомы Кемпийского. В январе 1844 г. Гоголь писал С. Т. Аксакову и другим друзьям: „Я посылаю вам „Подражание Христу“, не потому, чтоб не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я назначаю ее, не знаю другой книги, которая была бы лучше ее. Читайте всякий день по одной главе, не больше“. („Письма“ под ред. Шенрока, т. II, стр. 378).

кратно объявляет произведениями глупой молодости, да и первая часть «М. Д.» не избегает почти того же отзыва. Наставления, упреки, идеалы для образа жизни и объяснения их посылаются друзьям в разных видах, перемешанные с тем возвращением на собственные слова и поправкой собственных слов, какие идут у него почти всегда рядом с самым твердым, повидимому неизменным и решительным приговором. Он сосредоточивается весь на переписке с друзьями и на соображениях, касающихся романа. Там и здесь у него одна задача: помочь ближнему, и в его освобождении от пороков и несчастий времени найти собственное спасение; но он ищет общего благодатного лекарства, способного целить злые недуги за-раз и награждать больного ничем незаслуженными радостями... Цель, таким образом поставленную, называет он своим житейским подвигом, забывает для нее опыт, науку и мало-по-малу начинает выделять самого себя и мысль свою из современного развития, из насущных требований общества,—из жизни. Он усиливается смотреть поверх голов, занятых обыденным, безотлагательным делом времени, открывает новые горизонты, перспективы, светлые сияния в тех сторонах, куда покамест нет никаких путей. Мираж этот кажется ему важнее всего, что делается около него. Торжественно принимает он на себя роль моралиста, но как мало было в нем призвания к этой роли, показала потом его книга «Выбранная переписка». В ней он оскорбляет общее чувство справедливости, проповедуя смирение там, где не было ни малейшей кичливости, требуя

любви, жертв и примирения не у тех, которые провинились особенно постоянством отпора, сухости и презрения к другим. Мысль общества начинает уже скрываться от того человека, который первый ее открыл и почувствовал в себе, и это несчастное одиночество Гоголь принимает за высокий успех, рост в вышину, великое нравственное превосходство. Тогда сама собой является необходимость разрешения вопросов и литературных задач посредством призраков и фантомов, что так поражает в оставшейся нам второй части «Мертвых душ». Именно около этой эпохи задуманы лица в роде Констанжогло, который должен был явиться типом совершеннейшего помещика-землевладельца, типом, возникшим из соединения греческой находчивости с русским здравомыслием и примирения двух национальностей, родных по вере и преданиям. Участие призрака в создании еще виднее на другом лице—откупщике Муразове, который вместе с практическим смыслом, наделившим его монтекристовскими миллионами, обладает высоким нравственным чувством, сообщившим ему дар сверхестественного убеждения. Крупная разжива со всеми ее средствами, не очень стыдливыми по природе своей, награждена еще тут благодатию понимать таинственные стремления душ, открывать в них вечные зародыши правды и вести их с помощью советов и миллионов к внутреннему миру, к блаженству самодовольствия и спокойствия. Это примирение капитала и аскетизма поставлено, однако же, на твердом нравственном грунте, и здесь то нельзя удержаться от глубокого чув-

ства скорби и сожаления. Основная мысль второй части «М. Д.», как и все нравственные стремления автора, направлены к добру, исполнены благих целей, ненависти и отвращения ко всякой духовной неурядице. Вторая часть «М. Д». чуть ли не превосходит первую по откровенности негодования на житейское зло, по силе упрека безобразным явлениям нашего быта и в этом смысле, конечно, превосходит все написанное Гоголем прежде поэмы. Самый замысел повести, даже в нынешнем несовершенном своем виде, поражает читателя обширностию размеров, а некоторые события романа, лучше других отделанные, с необычайным мастерством захватывают наиболее чувствительные стороны современного общества: довольно указать, в подтверждение того и другого, на план окончания второй части с одной стороны, на начинавшуюся историю Тентетникова с другой. Да и в самой «Переписке» с друзьями, ныне изданной, сколько попадается заметок, показывающих глубочайшее познание сердца человеческого, изощренное постоянным наблюдением за собой и за другими, сколько светлого пояснения едва приметных душевных волнений, доступных только чувству и глазу опытного, искушенного психолога, наконец, сколько отдельных моральных положений неотразимой истины и несомненного достоинства. В виду всех этих разбросанных сокровищ, у которых от близости с фальшивыми ценностями отнята или по крайней мере значительно ослаблена возможность приносить пользу, грусть и истинное сожаление овладевают читателем и невольно слышится ему, что жизнь великого и

здравомыслящего писателя, осужденного на бесплодие самим направлением своим, должна неминуемо кончиться грозной и мучительной драмой.

К концу этого развития я опять встретился с Гоголем. Надо сказать, что со времени выезда моего из Рима я уже более не видал Гоголя вплоть до 1846 г. Два раза получил я от него по письму, в России, из которых первое заключало обыкновенные его комиссии, касавшиеся присылки книг и сообщения толков о его произведениях, а второе (1843) содержало выговор за резкие суждения о людях, не понимавших или хуливших его литературную деятельность. Тем и ограничивались все наши сношения в течение пятилетней разлуки. Проезжая через Париж в 1846 г., я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. [А. П.] Толстого (впоследствии обер-прокурора Синода), в отеле улицы De la Paix. На другой же день я отправился к нему на свидание, но застал его уже одетым и совсем готовым к выходу по какому то делу. Мы успели перекинуться только несколькими словами. Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвать красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось, по старому, длин-

ными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения. Николай Васильевич быстро перебежал через все обычные выражения радости, неизбежные при свиданиях, и тотчас заговорил о своих петербургских делах. Известно, что после издания своих «Сочинений» Гоголь жаловался на путаницу в денежных расчетах, которой, однако же, совсем не было: Николай Васильевич забыл только сам некоторые из своих распоряжений. Тогда уже все было объяснено, но Николай Васильевич не желал казаться виноватым и говорил еще с притворным неудовольствием о хлопотах, доставленных ему всеми этими расчетами. Затем, он объявил, что через два-три дня едет в Остенде купаться, а покамест пригласил меня в Тюльерийский сад, куда ему лежала дорога. Мы отправились. На пути он подробно расспрашивал, нет ли новых сценических талантов, новых литературных дарований, какого рода и свойства они, и прибавлял, что новые таланты теперь одни и привлекают его любопытство: «старые все уже выболтали, а все еще болтают». Он был очень серьезен, говорил тихо, мерно, как будто весьма мало занятый своим разговором. При расставании он назначил мне вечер, когда будет дома, исполняя мое желание видеть его еще раз до отъезда в Остенде.

Вечер этот был, однако же, не совсем удачен. Я нашел Гоголя в большом обществе, в гостиной семейства, которому он сопутствовал. Николай Васильевич сидел на диване и не при-

нимал никакого участия в разговоре, который вскоре завязался около него. Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того или другого из этих народов, Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: «я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты». Вслед затем он вышел в другую комнату и возвратился через минуту назад с писанной тетрадкой в руках. Усевшись снова на диван и придвинув к себе лампу, он прочел торжественно, с сильным ударением на слова и заставляя чувствовать везде, где можно, букву *О*, новую «Речь» одного из известных духовных витий наших [1]. «Речь» была действительно не дурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешала его нимало. По окончании чтения молчание сделалось всеобщим; никто не мог связать, ни даже отыскать нить прерванного разговора. Сам Гоголь погрузился в прежнее бесстрастное наблюдение; я вскоре встал и простился с ним. На другой день он ехал в Остенде.

Все это было весной, когда для туриста открываются дороги во все концы Европы. Следуя общему движению, я направился в Тироль, через Франконию и южную Германию. По обыкновению я останавливался во всех городах на моем пути и прибыл таким образом в Бамберг,

---

[1] Вероятно—Иннокентия (1800—1857), архиепископа херсонского, славившегося своим красноречием.

где и расположился осмотреть подробнейшим образом окрестности и знаменитый собор его. Последний, как известно, принадлежит XII столетию, времени полного развития так называемого романского стиля, и стоит на горе, у подножия которой раскинулся город, связанный так неразлучно с воспоминаниями молодости, по милости Геца фон-Берлихингеиа[1]. Романские соборы, признаюсь, действовали на меня еще более готических в Европе: они разнообразнее последних, символика их гораздо затейливее и в мистических их барельефах, перемешанных с забавными фигурами вседневной жизни, более порыва, свежести и молодости. Пищи для любопытства и изучения в каждом романском соборе чрезвычайно много, и вот почему на другой день моего приезда в Бамберг я часа два или три пробыл между массивными столбами его главной церкви. Усталый и измученный более наблюдением и соображениями, чем самою ходьбою, я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом конце спуска увидел человека, подымающегося в гору и похожего на Гоголя, как две капли воды. Предполагая, что Николай Васильевич теперь уже в Остенде и, стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора «Вечеров на хуторе», но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною. После пер-

---

[1] Трагедия Гете.

вого моего восклицания: «Да здесь следовало бы жертвенник поставить, Николай Васильевич, в воспоминание нашей встречи», он объяснил мне, что все еще едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай [1]. Теперь дилижанс его остановился в Бамберге, предоставив немцам час времени для насыщения их желудков, а он отправился поглядеть на собор. Я тотчас поторопился с ним назад и когда, полный еще испытанных впечатлений, стал ему показывать частности этой громадной и великолепной постройки, он сказал мне: «Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре». Обозрев внутренность, мы принялись за внешние подробности, довольно долго глядели на колокольни и на огромного каменного человека (чуть ли не изображение строителя), который выглядывал с балкона одной из них; затем мы возвратились опять к спуску. Гоголь принял серьезный, торжественный вид: он собирался послать из Швальбаха, куда ехал, первую тетрадку «Выбранной переписки» в Петербург и, по обыкновению, весь был проникнут важностью, значением, будущими громадными следствиями новой публикации. Я тогда еще и не понимал настоящего смысла таинственных, пророческих его намеков, которые уяснились мне только впоследствии. «Нам остается немного времени», сказал он мне, когда мы стали медленно спускаться с горы, «и я вам скажу

[1] Поездка эта принадлежала к числу тех прогулок, какие Гоголь предпринимал иногда без всякой определенной цели, а единственно по благотворному действию, которое производили на здоровье его дорога и путешествие вообще, как ему казалось. *Прим. автора.*

нужную для вас вещь... Что вы делаете теперь?» Я отвечал, что нахожусь в Европе под обаянием простого чувства любопытства. Гоголь помолчал и потом начал говорить отрывисто; фразы его звучат у меня в ушах и в памяти до сих пор; «Это черта хорошая... но все же это беспокойство... надо же и остановиться когда нибудь... Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись, по крайней мере, хорошим гвоздем... Знаете ли что?.. Приезжайте на зиму в Неаполь... Я тоже там буду». Не помню, что я отвечал ему, только Гоголь продолжал: «Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете... Я вам скажу то, что до вас касается... да, лично до вас... Человек не может предвидеть, где найдет его нужная помощь... Я вам говорю—приезжайте в Неаполь... я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Полагая, что настоящий смысл загадочных слов Гоголя может быть объяснен приближающимся сроком его вояжа в Иерусалим, для которого он ищет теперь товарища, я высказал ему свою догадку. «Нет,—отвечал Гоголь.—Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться еще нечто такое, что вас самих перевернет... тогда вы уже и решите сами все... только приезжайте в Неаполь... Кто знает, где застигнет человека новая жизнь»... В голосе его было так много глубокого чувства, так много сильного внутреннего убеждения, что, не давая решительного слова, я обещал однако же серьезно подумать о его предложении. Гоголь перестал говорить об этом предмете и остальную дорогу с какой то

задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии, если смею так выразиться, мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях европейского современного быта к быту России. Не привожу всего, что он говорил тогда о лицах и вещах, да и не все сохранилось в памяти моей. «Вот, — сказал он раз — начали бояться у нас европейской неурядицы—пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее как любовницу. Это что нибудь да значит?.. Об этом то и надо поразмыслить». Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия. Как теперь смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, исполненным силы и выражения. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи. Все в нем установилось, определилось и выработалось. Задумчиво шагал он по мостовой в коротеньком пальто своем, с глазами, устремленными постоянно в землю, и поглощенный так сильно мыслями, что, вероятно. не мог дать отчета себе о физиономии Бамберга через пять минут после выезда из него. Между тем мы подошли к дилижансу: там уже впрягали лошадей, и пассажиры начали суе-

титься около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы. Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купэ, поместившись как то боком к своему соседу-немцу пожилых лет, сунул перед собой куда то пакет с пирожками и сказал мне: «Прощайте еще раз... Помните мои слова... Подумайте о Неаполе». Затем он поднял воротник шинели, которую накинул на себя при входе в купэ, принял выражение мертвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего невыражающими глазами, еще кивнул мне головой... Карета тронулась.

Таким образом расквитался я с ним с моей стороны за проводы из Альбано. Мы также расстались у дилижанса в то время, но какая разница между тогдашним, живым, бодрым Гоголем и нынешним восторженным и отчасти измученным болезнию мысли, отразившейся и на красивом, впалом лице его.

В 1847 году вышли наконец «Выбранные места из переписки с друзьями». В том самом Неаполе, куда звал меня Николай Васильевич,

застала его буря осуждений и упреков, которая понеслась на встречу книги, сразила и опрокинула ее автора. Путешествие в Иерусалим было отложено. С высоты безграничных надежд Гоголь падал вдруг в темную, безотрадную пучину сомнений и новых неразрешимых вопросов. Известно, что тогда произошло. Вторая часть «М. Д.», созданная под влиянием идей «Выбранной переписки», подверглась новой переделке. Гоголь противопоставляет впервые истинно-христианское смирение ударам, которые сыплются на него со всех сторон. Глубоко трогательная и поучительная драма, еще никем и не подозреваемая, получает место и укореняется в его душе. Рассказать все, что знаешь об этом страшном периоде его жизни, и рассказать добросовестно, с глубоким уважением к великой драме, которая завершила его, есть, по нашему мнению, обязанность каждого, кто знал Н. В. Гоголя и кому дороги самая неприкосновенность, значение и достоинство его памяти.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

1838—1848

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛИНСКОГО.—ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ СТАТЬИ.—ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ.

... **Я** познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским за год до моего отъезда за границу, именно, осенью 1839 года. Он приехал тогда в Петербург для сотрудничества в «Отечественных Записках», привезенный из Москвы И. И. Панаевым [1], и уже находился во втором или третьем периоде своего развития.

Известно, что Белинский выступил на литературное поприще статьей в «Молве» 1834 года, носившей заглавие «Литературные мечтания— элегия в прозе». Это было обозрение русской словесности, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпох и лиц, которая не имела никакого сходства с обычными и, так сказать, узаконенными определениями их в наших курсах словесности. Лирический тон статьи с философским оттенком, заимствованным от системы Шеллинга, сообщал ей особенную оригинальность. Все было тут молодо, смело, горячо, а также и исполнено промахов, сознанных и самим автором впоследствии; но

[1] После закрытия „Телескопа" с „Молвой" (1836) и неудачи с „Московским Наблюдателем".

все обличало возникновение каких то новых требований мысли от русской литературы и русской жизни вообще. Старик Каченовский [1],— вероятно, обольщенный свободными отношениями критика к авторитетам и частыми отступлениями его в область истории и философии, старый профессор, призвал тогда к себе Белинского,—этого студента, еще не так давно исключенного из университета за малые способности, как говорилось в определении совета, жал ему горячо руку и говорил: «Мы так не думали, мы так не писали в наше время». * Менее волнения, конечно, произвела статья в Петербурге, где уже созревали известные сатурналии только что основанной «Библиотеки для Чтения» [2], с ее глумлениями над наукой и над всяческими убеждениями; но и здесь статья не прошла незамеченной мимо глаз. С этих пор именно Н. И. Греч, как человек, еще более других приличный в сонме литературных публицистов той эпохи, усвоил систему воззрения на Белинского, сравнительно еще благосклонную. Он высказывал ее потом не раз во всеуслышание: «умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи, не выходя из запоя». Белинский-пьяница был так же мыслим, как Лессинг на канате, или что нибудь подобное. С тех же пор Ф. В. Булгарин, с своей стороны

---

[1] Михаил Трофимович Каченовский, профессор истории в Московском университете.

* Рассказ В. Г. Белинского. *Прим. автора.*

[2] Журнал этот начал выходить в Петербурге в 1834 г. под редакцией О. И. Сенковского и имел большой успех у публики—особенно провинциальной. Характерными чертами этого журнала были—полная беспринципность, отсутствие „направления“ и бойкость тона.



П. В. Анненков.

прозвавший Белинского «бульдогом», начал свою столь долго непрерываемую жалобу на извращение умов, свои чуть не 20-летние нападки на новый дух в литературе, грозящий лишить Россию, к стыду потомков и посрамлению перед Европою, всех ее умственных сокровищ *.

Впрочем, как ни задорна была статья Белинского по своей форме, особенно для петербургских самозванных знаменитостей, в обличении и опозорении которых критик, по собственному признанию, находил *блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное,* но собственно она нисколько не потрясала ни одного из наших старых авторитетов, и постоянно ко всем им относилась с величайшим энтузиазмом. Смелость заключалась не столько в исследовании, сколько в началах и принципах, высказанных критиком и предпосланных исследованию. Статья более грозила обличением людям и предметам, и только над очень немногими из них исполняла угрозу. Белинский еще не вносил ни малейшего раскола в тот молодой кружок, сформировавшийся в начале тридцатых годов, под сенью московского университета, из которого потом вышли самые замечательные личности последующих годов. Зародыши различных и противоборствующих мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имен, составлявших его персонал

* Жалобы эти не остались без последствий для литературы. При издании Пушкина (1854 г.) возникли цензурные затруднения, при передаче суждений нашего поэта о Державине, так как прежде того состоялось распоряжение цензурного комитета оберегать от непрошенных критик имена Державина, Ломоносова, Карамзина, а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствовал тогда обиды, наносимой первым трем великим именам нашего отечества—этим уравнением их с персоной издателя „Северной Пчелы“. *Прим. автора.*

(К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в брожение и таились до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаков был тогда германизирующим философом, не менее Станкевича; П. Киреевский—завзятым европейцем и западником, не уступавшим Т. Н. Грановскому; а последний, скоро присоединившийся к этому кругу, после сотрудничества своего в «Библиотеке для Чтения» Сенковского, делил вместе со всеми ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее России. Белинский, который так много способствовал впоследствии к разложению круга на его составные части, к разграничению и определению партий, из него выделившихся, является на первых порах еще простым эхом всех мнений, суждений, приговоров, существовавших в недрах кружка и существовавших без всякого подозрения о своей разнородности и несовместимости. Вот почему восторженная статья Белинского, отличавшаяся капризным ходом, некоторою разорванностью и недостатком сосредоточенности, представляет еще бессознательное смешение наименее родственных или схожих друг с другом настроений. Чисто славянофильское представление идет здесь рядом с чисто западным; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойные Сергея Глинки в самые сильные минуты его патриотического одушевления; либерализм и консервативное учение (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей

самых явлений, которые ими обозначаются) попеременно возвышают голос, нимало не смущаясь своим соседством. Для примера, как начинающий критик наш стоял еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицию реформам, достаточно напомнить некоторые из положений статьи.

Значение народных обычаев и нерушимое их сбережение в среде племени составляло еще для Белинского 1834 года дело первой и точно такой же важности, каким оно казалось впоследствии для наиболее ярых противников молодого критика из славянской партии. В простых и грубых нравах он находил еще, вместе с последними, отблески поэзии, называя только жизнь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборот, будущие славянофилы, вероятно, вполне разделяли тогда мнение Белинского, а именно, что в реформах своих Петр Великий был совершенно прав и народен нисколько не менее любого московского царя старой эпохи. Особенно характерно то место в статье, где, переходя на сторону великого реформатора, он предпосылает, однако же, скорбное, прощальное воззвание к погибающей старине и притом в словах и образах, которые теперь, при определившейся личности Белинского, составляют для нас как будто невероятную фальшивую черту, искажающую его физиономию. «Прочь достопочтенные, окладистые бороды,—говорит он.—Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружок, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя

заменили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты высокий, унизанный жемчугом повойник—простой чародейный наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц... Простите и вы, заунывные русские песни и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уже нашим красавицам голубкам» и т. д.

Вот откуда выходил Белинский. Либерализм безличного дружеского кружка тоже был представлен в статье, довольно полно, самым основным ее положением, по которому литература наша есть дело случайного возникновения и соединения нескольких более или менее талантливых лиц, в которых общество не нуждалось и которые сами, в нравственном и материальном отношении, могли обходиться без общества. Отсюда—ничтожество литературы и слабость писателей, не смотря на их качества, таланты и усердие. Можно догадываться, что в круге ходило с успехом и европейское представление о важности буржуазии и tiers-état для государства, потому что Белинский ищет в разных сословиях нашего отечества тех деятелей, которые помирят европейское просвещение с коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городских людей, ремесленников, даже мелких торговцев и промышленников *, и тут же огова-

---

* Кольцов уже введен был тогда Станкевичем в круг московских друзей его и, по всей вероятности, был косвенной причиной тех надежд, которые выражал Белинский на людей *среднего положения*.

Прим. автора.

риваясь, в виду возможных воззрений с другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях, или, *вернее всего, в целой идеи народа*». Словом, знаменитая первая статья maid-speech Белинского отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой все виды направлений жили еще как в первобытном раю, о-бок друг с другом, не находя причин к обособлению и не страшась взаимной близости и короткости. Связующим поясом была тут одинаковая любовь к науке, свету, свободной мысли и родине. Можно уподобить это состояние значительному водному бассейну, в котором будущие реки и потоки мирно текут вместе до той поры, когда геологический переворот не разделит их и не откроет им пути в противоположные стороны. Белинский именно был тем подземным огнем, который ускорил этот переворот.

Немудрено, если придет кому нибудь в голову спросить: стоит ли так долго останавливаться на журнальной статейке, не совсем свободной от противоречий и, вдобавок еще, с определениями, от которых потом отказался сам автор ее? Вопрос легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатление, как первый опыт ввести историю самой культуры нашего общества в оценку литературных периодов. Нужно ли говорить, как она была принята молодыми умами в Петербурге, берегавшими себя от *заговора* против литературы, устроившегося перед их глазами? Для них она упраздняла множество убеждений и

представлений, вынесенных из школы. Протестующий характер статьи в этом отношении был очень ясен не только для тех корифеев партии «Библиотеки для Чтения», о которых мы говорили, но и людям, соглашавшимся со многими из ее положений, но не любившим видеть бесцеремонное колебание преданий, да еще на основании чужих философских систем. Таковы были Пушкин и Гоголь. И тот, и другой были оценены весьма благосклонно критиком, но сохраняли о нем почти всю жизнь упорное молчание. Первый, по свидетельству самого Белинского, только посылал к нему тайно книжки своего «Современника» [1], да говорил про него: «Этот чудак почему то очень меня любит» *. Суждение второго мы сами слышали: «Голова не дюжинная, но у нее всегда чем вернее первая мысль, тем нелепее вторая». Замечание касалось выводов, добываемых Белинским из своих эстетических и философских оснований и о приложении этих выводов прямо и непосредственно к лицам и фактам русского происхождения, хотя тот же Гоголь указывал позднее на статьи Белинского о его собственной, Гоголевской деятельности, как на образцовые, по своей неотразимой истине и мастерскому изложению.

Итак, в Петербурге первая статья Белинского и все, следовавшие за ней, нашли отголосок всего более в тех молодых учителях русского языка и словесности, которые созывались для

[1] Об этом—и в „Воспоминаниях“ И. И. Панаева. (Academia, Лнгр. 1928).

* Пушкин прибавлял, по тому же свидетельству, секретно и еще замечание, что у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает. *Прим. автора.*

казенных замкнутых училищ и корпусов, разроставшихся, по принятой системе, все более и более в исключительные заведения для воспитания всего *благородного* русского юношества целиком. Не то, чтобы статья «Молвы» сразу упразднила официальную науку о литературе: последняя держалась долго, красовалась еще на экзаменах вплоть до преобразования закрытых школ и корпусов, но, благодаря молодым учителям этих заведений, а за ними и большей части наших гимназий, образовалась, с появления статей Белинского, о-бок с утвержденной программой преподавания русской словесности, другая, невидная струя преподавания, вся вытекавшая из определений и созерцания нового критика и постоянно смывавшая в молодых умах все, что заносилось в них схоластикой, педантизмом, рутиной, стародавними преданиями и благонамеренной прикрасой. Растительное действие этой невидимой струи увеличивалось вместе с дальнейшим развитием критика, с которого, можно сказать, персонал учителей и молодых людей вообще той эпохи не спускал глаз, и, таким образом, имя Белинского было уже очень громко в среде нарождающегося поколения, в школах и аудиториях, когда оно еще не признавалось в литературных партиях, не ведалось добросовестно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы других и не обращало никакого внимания даже самих чутких стражей русского просвещения. Работа Белинского и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеалов нравственности и высокого, философского разрешения задач жизни,—эта работа не

умолкала, покуда сам он числился скромно в рядах русских второстепенных подцензурных писателей и журнальных сотрудников. Для тогдашнего цензурного ведомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналов Сенковский, Греч, Булгарин, за исключением Пушкина и Гоголя, слишком уже ярко выступавших вперед. Чрезвычайным счастием должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала в Белинском на первых порах моралиста, который, под предлогом разбора русских сочинений, занят единственно исканием основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование. Впоследствии она распознала в нем влиятельного писателя и всемерно старалась не допускать применения его идей к историческим лицам и современности, но и при этом способе понимания деятельности Белинского она отчасти все таки продолжала считать его, с голоса «Северной Пчелы», за человека, производящего преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая может быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тем более, чем сильнее и подробнее высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохранением некоторых существенных положений и мыслей у Белинского, которые пробирались на свет под именем чудовищностей и нелепостей. Это же обстоятельство поясняет многое в последующих явлениях общественной жизни нашей, которые без того могут показаться странными, нежданными и негаданными сюрпризами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЖУРНАЛИСТИКА 30-Х ГОДОВ. — А. А. КРАЕВСКИЙ.— А. Ф. СМИРДИН.—«ОТЕЧ. ЗАПИСКИ» 1839 Г.—ПРИЕЗД БЕЛИНСКОГО.

Я сошелся с Белинским в первый раз у А. А. Комарова [1], преподавателя русской словесности по 2-м кадетском корпусе. Комаров занимал и квартиру в зданиях корпуса.

Приезд Белинского в Петербург имел особенное значение, как уже было сказано, для небольшого круга тогдашних молодых людей, которые в литературном триумвирате О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, выросшем на благодатной почве Смирдинских капиталов, в конец ими истощенных [2],—видели как бы олицетворение затаенного презрения к делу образования на Руси, образец хитрой, рассчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконец—ловко устроенный план надувательства благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых нельзя было надуть другим путем. Надо сказать, что это дело в три руки производилось с замечательным искусством. Неистощимое, часто дельное и почти всегда

---

[1] О Комарове см. в „Воспоминаниях" И. И. Панаева.

[2] Александр Филиппович Смирдин (1795–1857), крупный издатель и книгопродавец, в 40-х годах разорившийся.

едкое остроумие Сенковского, глумившегося над русской «quasi» - наукой, старалось вместе с тем, удалить всякую серьезную попытку к самостоятельному труду и отравить насмешкой источники, к которым труд этот мог бы обратиться. Греч распространялся о разврате умов и совестей в Европе, умиляясь зрелищем здорового нравственного состояния, в каком находилась наша родина, а товарищ его беспрестанно указывал на те тонкие струи яда и отравы, которые несмотря на усилия триумвирата, все таки пробираются к нам из чужбины и извращают суждения публики о русских писателях и русских деятелях вообще. Замечательно, что эти великие мужи петербургской журналистики тридцатых годов иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочем, до явного разрыва, но ссорились из за права *протекции* над писателями, которую каждый хотел иметь в своих руках исключительно. Протекция сделалась основным критическим мотивом, направлявшим оценку лиц и произведений. Протекция раздавала места так же точно в литературе, как и в администрации: она производила в чины и звания талантов людей, как гг. Масальского, Степанова, Тимофеева и др., и даже несколько раз жаловала просто в гении, как, например, Кукольника и «барона Брамбеуса» [1]. Нынешнему времени трудно и понять ту степень негодования, какую возбуждали органы этой самозванной опеки над литературою в людях, желавших сохранить, по крайней мере, за этим отделом общественной деятельности не-

---

[1] Литературный псевдоним О. И. Сенковского.

который призрак свободы и человеческого достоинства. При отсутствии общественных и политических интересов бороться с триумвиратом становилось почти делом чести; по хорошему или дурному отношению к триумвирату стали узнавать в некоторых кругах молодежи, впрочем, очень немногочисленных, нравственные качества людей. Вражда к триумвирату еще усилилась, когда оказались практические следствия распоряжеиия, состоявшегося около того же времени, — вовсе не допускать соперничества журналов и терпеть одни уже существующие издания, что приравняло органы триумвиратов к нынешним концессиям железных дорог, *с гарантией правительства.* Приезд Белинского был, как сказано, особенно важен тем, что возвещал новую попытку бороться с литературными концессионерами, после трех неудачных попыток: двух в Москве, предпринятых сперва «Телескопом», а затем «Московским Наблюдателем»,— журналом, даже и основанным именно с этою целью, в 1835 году *. Третья, в Петербурге, взята была на себя «Современником» Пушкина— и тоже безуспешно. С новым правилом о журналах, казалось, все походы против откупщиков общественного мнения должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднейшее распоряжение относительно раскольников, которым дозволялось сохранять свои старые часовни и молельни с строгим запрещением воз-

---

* Для поддержания этого издания Гоголь принял на себя роль пропагандиста и собирал подписки со всех своих знакомых в Петербурге—и, прибавим, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый из нас должен был *иметь* и *имел* своего „Наблюдателя". *Прим. автора.*

двигать новые около них, но разнилось от него тем, что тогдашнее цензурное ведомство признало возможным допустить оффициальное подновление старых литературных часовень, чего раскольники не могли делать со своими иначе, как тайно или с подкупом. В это время А. А. Краевский, тогда еще сравнительно молодой человек, усиленно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи, и это—надо сказать правду—не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью, действительно замечательными, плодом которых было появление сперва «Литературных Прибавлений к Русскому Инвалиду» под его редакцией (диплом на издательство приобретен был тогда известным Плюшаром у довольно мелочного, хитрого и скупого старика Воейкова), в которых, как известно, участвовал и Белинский. Затем, в 1838 году, А. А. Краевский открыл и перекупил право на возобновление «Отечественных Записок» у известного П. Свиньина, прямо уже от своего имени, и, по сделке с ним, не покидая еще «Прибавлений», объявил о выходе своего старо-нового журнала, сделавшегося вскоре настоящей его собственностью. Клич, который он тогда кликнул, с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира, ко всем, еще не подпавшим под позорное иго журнальных феодалов, отли-



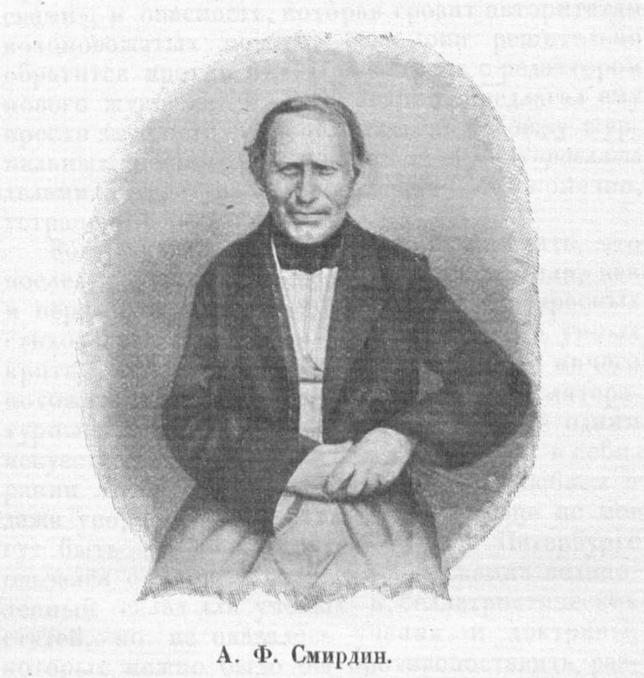
А. А. Краевский.

чался и очень верным расчетом, и признаками полной искренности и благонамеренности. «Если и эта новая попытка—говорил новый издатель своим сторонникам — противопоставить оплот Смирдинской клике не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее торжество».

Бедный А. Ф. Смирдин и не воображал, что даст свое имя для обозначения очень неблаговидного литературного периода. Честный, добрый, простодушный, по без всякого образования, он соблазнился, получив неожиданно довольно большое состояние от книгопродавца Плавильщикова, ролью двигателя современной литературы и просвещения. Кажется, самый этот каприз был еще подсказан ему петербургскими журналистами, которые и завладели честолюбивым торговцем для своих целей. Меценат-книгопродавец, подавленный их авторитетом, смотрел на весь мир их глазами, расточал деньги по их советам и говорил на своем купеческо-приказчичьем языке про всякое начинание, про всякий талант, не искавший покровительства триумвиратов: «это наши недоброжелатели-с!» А что делали с ним его доброжелатели, успевшие потом разорить и еще одного такого же импровизированного двигателя русского просвещения, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедического Словаря»—почти неимоверно. Я сам слышал из уст Смирдина, уже в эпоху его бедности и печальной старости, рассказ, как, по совету Булгарина, он предпринял издание, кажется, «Живописного Путешествия по России», текст которого должен был составить автор «Выжи-

гина», взявшийся также и за заказ гравюр в Лондоне. В этом смысле заключен был формальный контракт между ними, при чем Смирдин назначал 30 тысяч рублей на предприятие. Долго ждали картинок, но, когда они пришли, Смирдин с ужасом увидел, что они состоят из плохих гравюр, исполненных в Лейпциге, а не в Лондоне. На горькие жалобы Смирдина в нарушении контракта Булгарин отвечал, что никакого нарушения тут нет, потому что в контракте стоит просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавец попался в нее. Когда Смирдин рассказывал мне этот пассаж, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голос задрожал: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки книгопродавца»!—бормотал он.

Вызывающее действие того нового клича собрало под знамя обновленного журнала много старых и молодых сил, державшихся в стороне от литературы, как то доказал первый громадный нумер «Отеч. Записок» (1839 года), исполненный замечательными, по времени, статьями; все они принадлежали перу и начинающих и заслуженных наших писателей. Бедные и богатые принялись работать на журнал г. Краевского почти без вознаграждения или за ничтожное вознаграждение, доставляя только издателю средства бороться с капиталистами, заправлявшими делами литературы, что продолжалось несколько долее, чем бы следовало, как впоследствии думали иные; но это относится к предположениям, которые так и должны остаться предположениями, и о которых ничего другого сказать нельзя. Любо-



А. Ф. Смирдин.

пытен, однако, анекдот, ходивший тогда по городу: Ф. В. Булгарин, по чувству самосохранения, скоро угадал новую силу, являющуюся на журнальном поприще с «Отечественными Записками», и опасность, которая грозит авторитетам колоновожатых печати, если она решительно обратится против них. При встрече с редактором нового журнала, Ф. В. Булгарин предлагал ему просто за просто просоединиться к союзу журнальных магнатов и сообща с ними *управлять* делами литературы. Предложение было, конечно, устранено собеседником.

Возвращаясь к делу, следует заметить, что последующие нумера журнала представляли, как и первый нумер его, опять много прекрасных стихотворений, дельных статей и даже умных критик, но не обнаруживали в редакции ничего похожего на определенные начала, на литературные убеждения и тенденции, которые одним искусством в ведении журнального дела, в собирании людей около себя, одним трудолюбием и даже упорною ненавистью к врагам еще не могут быть заменены с успехом. В Петербурге оказался с «Отечественными Записками» великолепный склад для ученых и беллетристических статей, но не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противопоставить развратной проповеди руководителей «Библиотеки для Чтения» и «Северной Пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая действительно была тогда средоточием нарождавшихся сил и талантов, сильно работала над философскими системами, доискиваясь именно *принципов*, и не боялась ни резкого полемического языка, ни

даже отвлеченного, туманного склада речи, лишь бы выразить вполне свою мысль и нажитое убеждение. Рассказывают, что при имени Белинского, предложенного И. И. Панаевым, г. Краевский не узнал в нем того человека, который должен был положить основание его общественному значению *. Обстоятельства принудили его все таки обратиться к Белинскому, но когда критик наш, после предварительных переговоров, весьма облегченных тем, что, покинув «Московский Наблюдатель» 1838 года, Виссарион Григорьевич не имел уже органа для своей деятельности и средств для существования, когда, говорим, критик явился в Петербург в 1839 году на постоянное жительство и сотрудничество по журналу г. Краевского, общее предчувствие в круге противников петербургского направления было, что вместе с ним явилась на сцену и живая мысль, и достаточно сильная рука, чтоб подорвать или по крайней мере ослабить, наконец, союз литературных промышленников, в сущности презиравших русское общество со всеми его стремлениями, надеждами и с его претензиями на устройство своей духовной жизни.

---

* „Литературные воспоминания" И. Панаева. „Современник", 1861, февраль. *Прим. автора.*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВСТРЕЧА С БЕЛИНСКИМ. — ПОСМЕРТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА. — ПОВОРОТЫ БЕЛИНСКОГО. — БОРЬБА С ШЕВЫРЕВЫМ. — ПОЛЕМИКА. — ЛЕТО 1839 Г. — СПОР БЕЛИНСКОГО С ГЕРЦЕНОМ. — СТАТЬЯ О МЕНЦЕЛЕ. — СИСТЕМА ГЕГЕЛЯ.

Под впечатлением страстного тона философских статей Белинского и особенно пыла его полемики, позволительно было представлять его себе человеком исключительных мнений, не тѐрпящим возражений и любящим господствовать над беседой и собеседниками. Признаюсь, я был удивлен, когда па вечере А. А. Комарова мне указали под именем Белинского на господина небольшого роста, сутуловатого, со впалой грудью и довольно большими, задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и как то сразу, по товарищески, отвечал на приветствия повых знакомящихся с ним людей. Разумеется, я уже не встретил ни малейшего признака внушительности, позирования и диктаторских замашек, каких опасался, а, напротив, можно было подметить у Белинского признаки робости и застенчивости, не допускавшие, однакож, и мысли о какой либо снисходительной помощи или о непрошенных услугах какого либо торопливого доброжелателя. Видно было, что под этой обо-

лочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще, неловкость Белинского, спутанные речи и замешательство при встрече с незнакомыми людьми, над чем он сам так много смеялся, имели, как вообще и вся его персона, много выразительного и внушающего: за ними постоянно светился его благородный, цельный, независимый характер. Мы наслышались об увлечениях и порывах Белинского, но никаких порывов и увлечений, в этот первый вечер моего знакомства с ним, однако ж, не произошло. Он был тих, сосредоточен и—что особенно поразило меня—был грустен. Поверяя теперь тогдашние впечатления этой встречи всем, что было узнано и расследовано впоследствии, могу сказать с полным убеждением, что на всех мыслях и разговорах Белинского лежал еще оттенок философско-романтического настроения, которому он подчинился с 1835 года, и которому беспрерывно следовал в течение четырех лет, несмотря на то, что сменил Шеллинга на Гегеля в 1836—37 году, распрощался с иллюзиями относительно своеобычной красоты старорусского и вообще простого, непосредственного быта, и перешел к обожанию «разума в действительности». Он переживал теперь последние дни этого философско-романтического настроения. В тот же описываемый вечер зашел разговор о какой то шутовской рукописной повести, на манер Гофмана, сочиненной для потехи, сообща, несколькими лицами, на сходках своих, ради время-убиения: «Да», сказал серьезно Белинский, «но Гофман—великое имя. Я никак не понимаю, отчего



В. Г. Белинский.

доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете: это—писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положение это и другие, ему подобные, Белинский унаследовал и сберегал еще от эпохи Шеллинговского созерцания, по которому, как известно, внешний мир был причастником великих эволюций абсолютной идеи, выражая каждым своим явлением минуту и ступень ее развития. Оттого фантастический элемент Гофмановских рассказов казался Белинскому частицей откровения или разоблачения этой всетворящей абсолютной идеи и имел для него такую же реальность, как, например, верное изображение характера, или передача любого жизненного случая. В описываемую эпоху он уже принадлежал всецело Гегелю и вполне усвоил идеалистический способ пояснять себе явления окружающей жизни, людей и события, что сообщало последним почти всегда в его устах какой то грандиозный характер, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелких практических изъяснений какого либо факта и вопроса, мало мальски выходящих из обыкновенного порядка дел, он вообще не любил и только по особенному настроению, принятому на себя преднамеренно в Петербурге—еще принуждал себя выслушивать их. Конечно, уже не было у него прежней, еще недавней, восторженной проповеди о «великих тайнах жизни», *без предчувствия и разгадки которых существование человека сделалось бы,* как он говорил, *не только бесцветным, но положительно величайшим бедствием, какое только можно было бы придумать для земнорожденных,* но все таки наш русский

мир, наша современность, даже некоторые подробности жизни отражались не иначе в его уме, как в многозначительных образах, в широких обобщениях, поражавших и увлекавших новых его слушателей. Вообще корни всех старых, уже пройденных им учений и созерцаний еще жили в нем, по приезде в Петербург, тайной жизнию и при всяком случае готовы были пустить ростки и отпрыски и действительно по временам оживали и цвели полным цветом, что составляло, посреди занятого петербургского круга приятелей Белинского, величайшую его оригинальность и вместе неодолимую притягивающую силу.

Замечательным и волнующим явлением того времени были посмертные сочинения Пушкина, которые постепенно обнародывал «Современник» 1838—39 гг., перешедший в руки П. А. Плетнева. Они—эти чудные сочинения—находили в Белинском такого, можно сказать, энтузиаста и ценителя, какой еще и не выпадал на долю нашего великого поэта. Это уже был не тот Белинский, который года за два перед тем и еще при жизни Пушкина считал деятельность его завершенной окончательно и в последних произведениях его хотя и распознавал еще печать гениальности, но заявлял, что они все таки ниже того, что можно было бы ожидать от его пера. Теперь это было поклонение безусловное, почти падение в прах перед святыней открывающейся поэзии и перед вызвавшим ее художником. Особенно «Каменный Гость» Пушкина произвел на Белинского впечатление подавляющее. Он объявил его произведением всемирным и колоссальности неизмеримой. Когда, однажды, мы просили

его разъяснить, в чем заключается мировое значение этого создания и что он еще находит в нем, кроме изящества образов, поэтичности характеров и удивительной простоты в ведении очень глубокой драмы, Белинский принялся за развитие той мысли, что все это составляет только внешнее отличие произведения, а подземные ключи, которые под ним бегут, еще важнее всем видимой и осязаемой его красоты. Он принялся за расследование этих живых источников, но на первых же положениях остановился и сконфуженно проговорил: «Вот этак со мной всегда случается: примусь за дело, занесусь бог знает куда, да и опешусь; не знаю, как выразить мою мысль, которая, однако ж, для меня совершенно ясна». Он махнул рукой и отошел в сторону с каким то болезненным выражением лица. Видимо, что в драме Пушкина заключено было для него новое откровение одной из «*тайн* жизни», передача одной из «субстанций», как тогда говорили, человеческого духа, но он не мог или не хотел разъяснить их перед кружком, мало приготовленным к пониманию отвлеченностей и не отличавшимся наклонностию к «философированию».

Со второй или третьей встречи, однакоже, обнаружилась у Белинского та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собеседников (что несколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда с какой то незлобивой, почти ласковой насмешкой, с легкой иронией над самим собой и над окружающими. Со всем тем, сквозь тогдашнюю веселость Бе-

линского пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Он был печален и не случайно, а как то глубоко, задушевно. Не нужно было быть ни особенно зорким наблюдателем, ни особенно искусным психологом, чтобы открыть эту черту: она бросалась в глаза сама собою. И немудрено было ей оказаться: Белинский переживал страдания своего разрыва с московскими друзьями, только что обнаружившегося перед его отъездом из Москвы, и должен был чувствовать сильнее горечь этого обстоятельства теперь, в чужом, незнакомом и неприветливом городе, куда был занесен.

Очень несправедливо думали и думают еще теперь, что Белинскому было ни почем расставаться с людьми и менять свои отношения к ним на основании различия убеждения. Многие тогда говорили и чуть не печатали, что он находил даже в том выгоду, ибо всякий такой поворот открывал исток его желчи, злобным инстинктам, наклонности к ругательству и оскорблению, которые иначе задушили бы его! Могу сказать наоборот, что редко встречал я людей, которые бы более страдали, будучи принуждены, вследствие неотстранимого логического и диалектического развития своих принципов удаляться в другую сторону от прежних единомышленников. Он долго мучился как потерей старого созерцания, так и потерей старых собеседников, и только убежденный в законности поворота, им сделанного, освобождался от всех тревог и приобретал новое качество, именно гнев и негодование против тех, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка—критически отнестись к составным частям московского интеллектуального кружка и подвергнуть его анализу, за которым должно было последовать отделение различных элементов, его составлявших, положена, как известно, Белинским в статье под заглавием: «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя», помещенной в «Телескопе» 1836 года... Статья эта в полемическом смысле принадлежит к мастерским вещам автора и по яркости красок и резкой очевидности доводов не утеряла, кажется нам, относительной занимательности и доныне. Вся она обращена была против главного критика «Московского Наблюдателя» С. П. Шевырева, у которого он спрашивал, чему он верует, какие законы творчества и основные философско-эстетические или эфические идеи исповедует, — разоблачая при этом его дилетантские отношения ко всем художественным теориям, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправдания личных своих вкусов, для потворства немногим избранникам из своих близких знакомых и для указания обществу целей в меру случайных и мимолетных своих ощущений. Особенно восставал Белинский против мнений критика о важности *светского и светско-дамского элемента* в литературе, которые могли, будто бы, возвысить ее тон и благороднее устроить жизнь самих авторов: «Художественный и *светский*», — отвечал Белинский, «не суть слова однозначащие, так же, как дворянин и благородный человек... Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство;

светскость есть принадлежность касты... Светскость еще сходится с образованностью, которая состоит в знании всего понемногу, но никогда не сойдется с наукою и творчеством» и т. д. Статья эта вообще была одна из тех, которыми обыкновенно порываются старые связи и союзы и отыскиваются новые. Для нас в ней особенно важны ее грустные заключительные строки: «Всего досаднее, что у нас не умеют еще отделять человека от его мысли, не могут поверить, чтоб можно было терять свое время, убивать здоровье и *наживать себе врагов* из привязанности к какому нибудь задушевному мнению, из любви к какой нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Он доканчивал мысль восклицанием: «Но если мысли и убеждения доступны вам, идите вперед и да не совратят вас с пути ни расчеты эгоизма, ни отношения личные и житейские, ни боязнь неприязни людской, ни обольщения их коварной дружбы, стремящейся взамен своих ничтожных даров лишить вас лучшего вашего сокровища—независимости мнения и чистой любви к истине!»

Или мы сильно ошибаемся, или в этом торжественном тоне ясно слышится глубокий искренний вопль души, накануне потери некоторых из ее симпатий и убеждений. Слова Белинского содержат еще и пророчество. Предчувствие не обмануло Белинского. Разрыв с журналистом и его партией не напрасно казался ему отважным делом: с той минуты и до нынешней включительно, Белинскому составлена была в известных кругах репутация дикого ругателя всего почтенного и до-



С. П. Шевырев.

стойного на русской почве, и попытки удержать за ним эту репутацию в потомстве возобновляются еще от времени до времени и на наших глазах.

Одновременно с этой статьей, давшей сильный толчок к разрушению мирно процветавшей общины друзей науки и просвещения, было еще множество и других случаев, при которых Белинский открыто искал боя и врагов. Так, он не задумался назвать и «Современник» Пушкина, со второй его книжки, «Петербургским Московским Наблюдателем» по направлению, заметив в нем (справедливо или нет,—это другой вопрос) поползновение искать себе читателей и судей в одном, исключительно светском круге. Помним, что эта полемика с «Современником» произвела в то время почти столько же шума и негодования, как и заметка его, несколько прежде сделанная и из другого круга представлений. В статье «О повестях Гоголя», именно, он проводил мысль, даже и не им первым высказанную, что все древние и новые эпические поэмы, выкроенные по образцу «Илиады», как то: «Энеида», «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный Рай», «Россиада» и проч., заменяя живые, неподдельные народные предания и представления другими, хитро придуманными на их манер, принадлежат к фальшивому роду произведений. Ужас всего старого педагогического мира нашего, видевшего в этой заметке образец непростительного невежества и ересь, превышающую воображение, был невыразим. Так, критик наш плодил вокруг себя врагов со всех сторон, число которых увеличивалось почти с каж-

дой новой его заметкой о старых наших писателях, несходной с традиционным их пониманием. Корыстный представитель этих недовольных, Булгарин, говорил в Северной Пчеле, что при способе суждения, обнаруженном Белинским, ему нипочем доказать какое угодно положение, хоть следующее: «*Измена—дело не худое и даже похвальное*», и по пунктам, имевшим тогда почти уголовный характер, упрекал критика, опираясь на его суждения о Державине, Карамзине, Жуковском, и Батюшкове, в тех же чувствах, какие питают к России «завистливые иностранцы, ренегаты, *безбородые* юноши и проч.». Вот как поставлен был литературный спор с первого же раза и велся отчасти в этом смысле, конечно, с меньшей наглостью, даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина с братией.

Теперь дело стало еще серьезнее, потому что Белинский совершил разрыв с тем кругом людей, которому принадлежал всецело, с теми немногими, мыслию которых дорожил, и удаление от которых грозило ему действительным одиночеством на свете.

Что же произошло между ними?

Оставляя в стороне житейские размолвки с друзьями, о которых имеем и особенно тогда имели очень смутное, неполное представление, обращаюсь к разноголосице их в области мысли. Когда Белинский напечатал в том же 1839 г., в журнале г. Краевского, еще не будучи его признанным постоянным сотрудником, две свои статьи—рецензию на книгу Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения» и библиографический

отчет о «Бородинской годовщине» Жуковского,—ему казалось, что он выводил только логически-правильные заключения из оснований Гегеля и непогрешительно прилагал их к живому факту, к действительности. Надо сказать, что с первых же попыток Белинского к определению значения *действительности* в жизни народов и лиц он встретил уже противоречие у многих из своих друзей, которые не желали уступать свое право—быть настоящими и несменяемыми судьями всякой действительности. Но разгоревшийся спор этот вырос до разрыва связей только в 1839 г. Летом этого года, как известно, Москва, а с ней и Россия праздновали великое патриотическое торжество—открытие памятника на Бородинском поле. Одушевление было общее и понятное. Летом 1839 г. я случайно находился в Москве и смотрел из окна одного родственного мне дома против Кремля на великолепный крестный ход, огибавший Кремлевские стены, в замкé которого шел митрополит Филарет, сопровождаемый самим императором Николаем Павловичем верхом. Это было кануном, так сказать, торжественного открытия Бородинского памятника в августе того же года. Горячих толков и патриотического одушевления и теперь уже возникало много, но я, тогда еще незнакомый ни с одной из личностей описываемого круга, не мог и предчувствовать, как сильно будут меня занимать впоследствии отголоски этого события. Белинский вздумал воспользоваться открытием Бородинского памятника, чтобы подтвердить им мудрость гегелевского афоризма о тождестве

действительности с истиной и разумностью, и разобрать всю плодотворную сущность этого положения. Но с первой же статьи оказалось, что излишнее обобщение правила может повести к необычайным выводам, к резким, чудовищным заблуждениям. Напрасно друзья Белинского представляли ему все опасности прямого, непосредственного приложения его идеи к русскому миру,—Белинский, никогда не знавший сделок, уступок, добровольных умолчаний, еще более укреплялся их сомнениями. Надо было или бросить всю теорию, или оставаться ей верным до конца. Ему показалось даже, что наступила именно та минута, о которой он говорил прежде, когда для спасения своей мысли и совести следует решиться па откровенный разрыв с самыми близкими людьми. Покойный Г[ерцен] рассказывает в своих известных записках [1], что перед отъездом Белинского из Москвы произошел между ними спор, за которым последовало охлаждение между друзьями, длившееся, впрочем, недолго, всего год, и кончившееся полным примирением их, так как первая причина ссоры— слепое прославление действительности — признано было самим его исповедником, Белинским, философской и жизненной ошибкой. Описание спора у Г[ерцена] очень любопытно: оно показывает первые бури, возникшие у нас от столкновения систем и отвлеченностей с явлениями реального характера. Г[ерцен] добавлял еще свое описание изустно следующей подробностию. Когда через год после первого столкновения с

[1] Т. е. в „Былом и Думах“.

Белинским Г[ерцен] явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения. И тогда то, рассказывал Г[ерцен], в жару спора со мной Белинский прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах: «Пора нам, братец», сказал критик, «посмирить наш бедный, заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история». По сознанию Г[ерцена], он пришел в ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился. Ему показалось, что тут совершилось какое то отречение от прав собственного разума, какое то непонятное и чудовищное самоубийство. Через два года, по возвращении из второго своего удаления в Новгород снова в Петербург (1841 г.), Г[ерцен] уже не имел никаких поводов препираться с критиком: они были одинакового мнения по всем вопросам.

Белинский явился таким образом в чуждый ему город с глубокой раной в сердце; но он все еще надеялся переиначить взгляды друзей на свои теории, высказав всю свою мысль по поводу спорного пункта, их разделявшего. В начале 1840 года он явился со статьей «Менцель, критик Гете», в «Отечественных Записках». Здесь, подавляя всей силой своего презрения мелкие умы, кропотливо разбирающие, что им нравится и что не нравится в исторических явлениях, Белинский создает особые права, преимущества, даже особую нравственность для великих художников, великих законодателей, гениальных лю-

дей вообще, которые уполномочиваются изобретать особые дороги для себя и вести по ним современников и человечество, не обращая внимания на их протесты, волнения, симпатии и антипатии. Более полной подчиненности в пользу привилегированных избранников судьбы нельзя было проповедывать. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много верных заметок, сделавшихся теперь уже общим достоянием, как, например, заметку о меткости и исторической важности непосредственного чувства в народных массах, о родственной связи, существующей всегда между стремлениями великих умов и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ее основного софистического характера, отстранявшего вполне критические отношения к общественным вопросам. Все это продолжалось недолго. К осени того же 1840 г. Белинский уже вышел из чада направления, грозившего остановить всю его деятельность с самого начала.

У нас уже много было писано об этой эпохе развития Белинского и с различными целями. Предмет, однако же, не вполне уяснен потому, может быть, именно, что слишком много занимал исследователей и раздут ими до размеров важного психического явления, чему способствовал и сам Белинский своими последующими объяснениями. В сущности это был просто безграничный *оптимизм,* которым разрешалась Гегелева система часто и не на одной только русской почве; она уже в других странах, как в Пруссии, производила те же результаты, по присущему ей двоесмыслию. Стоило только по-

нять ее определение государства, как конкретного явления, в котором отдельная личность должна найти полное успокоение и разрешение всех своих стремлений,— стоило только, говорим, понять это определение в одном известном, официальном смысле, чтобы притти к обоготворению всякого существующего порядка дел. Первым руководителем Белинского однако же на этом поприще самообольщения был в то время не кто иной, как нынешний * отрицатель всех доселе известных форм правления, враг сложившихся окончательно государств, обособившихся национальностей, их общественных преданий и верований—М. Б[акунин]. Первая ошибка в диалектической выкладке, о которой говорим, и которая имела такие последствия для Белинского, принадлежит ему.

* Умерший во время составления этих заметок.

Прим. автора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

М. БАКУНИН. — КРУЖОК СТАНКЕВИЧА. — БЕЛИНСКИЙ О БАКУНИНЕ.—ВЛИЯНИЕ М. БАКУНИНА — ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА М. БАКУНИНА.—Н. СТАНКЕВИЧ.

Есть причины полагать, что годы 1836—37 были тяжелыми годами в жизни Белинского. Мне довольно часто случалось слышать от него потом намеки о горечи этих годов его молодости, в которые он переживал свои сердечные страдания и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни он никогда не выдавал, как бы стыдясь своих ран и ощущений. Только однажды он заметил, что ему случалось, как нервному ребенку, проплакивать по целым ночам воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совсем воображаемое, как он говорил. Замечательно, что эти оба года, исполненные для него жгучих волнений и потрясений, были употреблены им вместе с тем еще и на занятие философией Гегеля, которая нашла особенного красноречивого проповедника в лице одного молодого отставного артиллерийского офицера, выучившегося скоро и хорошо по немецки и вообще обладавшего способностью к быстрому усвоению языков и отвлеченных понятий. Это был М. Б[акунин]. В 1835 году он не знал, что



М. Бакунин.

делать с собой и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадав его способности, засадил за немецкую философию. Работа пошла быстро. Б[акунин] обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, т. е. спустя уже 10 лет (в 1846 г.), еще говорил мне, что не встречал человека более Б[акунина] умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б[акунину] не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение Гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал все тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, незнакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих,

бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Б[акунина]. Надо заметить, что последний возвещал их, как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский, на первых порах, и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в «духе», подавляя в себе всё волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь, по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неофита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела—этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, повидимому, предался душой и телом одному извест-

ному толкованию Гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставляла сказать Г[ерцена], что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по немецки. Одним из них был француз Прудон, а другим русский—Белинский. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти *веры* в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием «всемирной идеи», достигающей через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: «Я не хочу служить только ареной для прогулок «абсолютной идеи» по мне и по вселенной». Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, Б[акунина], не лишенного, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Б[акунин] умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: «Он и до меня добирался.—Взгляните на этого Кассия»,—твердил он моим приятелям,—«никто не слыхал от него никогда никакой песни, он

не запомнил ни одного мотива, не проронил с роду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы. Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой». Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 г. они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда в течение 1836 г. Белинский, введенный в семейство Б[акуниных] нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет, даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его мало эффектной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Б[акуниных] [1]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой либо другой обстановке. Результаты сказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя, в 1838, издание

---

[1] Премухино (см. книгу А. А. Корнилова—„Молодые годы Михаила Бакунина“, М. 1915).

«Московского Наблюдателя», совершенно загубленного прежней редакцией,—на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном тоне, какой они всегда принимали у Белинского, а строгие Гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же, одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Б[акунин]. Он именно и открыл новый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего *действительно* существующего.

Одно, хотя и очень короткое время Б[акунин], можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом *сластолюбивых* упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Б[акунина], в то время, *умственным наслаждением*, а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное безбрежное море Гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Б[акунина], страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, а наконец, пышная, всегда как то праздничная по своей форме шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же, эта празднич-

ная речь и составляла именно силу Б[акунина], подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым идеям, ею возвещаемым. Б[акунина] слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий, как неизбежных условий истинно-человеческого существования.

Б[акунин] сам рассказывал впоследствии, что однажды, после вечера, посвященного этой материи, собеседники его, большей частью молодые люди, разошлись спать. Один из них поместился в той же комнате, где опочивал и сам учитель. Ночью последний был разбужен своим молодым товарищем, который, со свечою в руках и со всеми признаками отчаяния на лице, требовал у него помощи: «Научи, что мне делать», — говорил он,—«я—погибшее существо, потому что как ни думал, не чувствую в себе никакой способности к страданию». Действительно, полюбить страдание, и особенно в юношеские годы—трудновато.

Естественно, однако ж, что такое продолжительное умственное, диалектическое, философское пирование могло быть устроено только при одном условии: совершенного обеспечения себя от протестов со стороны людей огорченных или негодующих на жизнь, при условии осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или в чем сомневаются. Необходимо было прежде всего убедить всех, которые

сильно чувствовали *злобу дня*, в том, что их личные, отдельные попытки осуждения современности или основ, на которых она держится, суть преступления против существующей «действительности», т. е. преступление против «всемирной идеи», которая в данную минуту в нее воплотилась, другими словами, против самого «высшего разума». Спокойствие и нужное расположение духа для философирования покупались только этой ценою. И ничем другим Б[акунин] в эту эпоху не занимался, кроме прямых и косвенных внушений этого рода. Ему принадлежит ввод в печать нового русского презрительного слова «прекраснодушие», возбудившего такое недоумение в публике и журналах своим, действительно, не очень складным составом, которое, будучи буквальным переводом немецкого «Schönseligkeit», призвано было обозначать у нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного суда над современностию. Ему принадлежит распространение у нас того крайнего, чистейшего и вместе брезгливого идеализма, который с ужасом отворачивался от всякого житейского шума, смешивая под одним общим названием *низших явлений субъективного духа* все, что мешало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбах и призвании человечества: он просмотрел французский переворот 1830 года, ничего не распознал в общественном движении, наступавшем за ним во Франции (Ж.-Занд, Сен-Симон, Ламэне), ничего не видал в современной ему юной Германии, уже основавшей свой орган в 1838 г.: «Deutsche Jahrbücher». Он только заклеймил эти явления

названием необузданных шалостей *рассудочного*, но не философского ума. Сам Шиллер объявлялся еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — гениальным ребенком, который никогда не мог возвыситься от теплых, хороших ощущений, до спокойного созерцания идей и мировых законов, управляющих людьми, до объективного понимания предметов. Отец русского идеализма, Б[акунин], вместе с тем был весьма податлив и на житейские наслаждения, которыми пользовался совершенно беспечно, и за которыми гнался как то наивно, простодушно. Жизнь и философия тут не мешали друг другу. Впрочем, следует еще раз повторить, что нигде, может быть, философский романтизм не воплощался в таком сильном, по средствам и дарованиям, представителе, каким был Б[акунин]. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизм этот казался по наружности очень суровой проповедью, будучи в сущности только потворством и оправданием для самых утонченных прихотей мысли, наслаждающейся собой.

Для Белинского, однако же, это было другое дело: философские занятия далеко не служили ему потехой и развлечением, а наоборот—горьким и тяжелым искусом, который он проходил с трудом и самоотвержением, надеясь обрести истину, покой для мысли и совести на конце его. Надо было привыкать к строю мыслей, открываемых новым созерцанием, и беспощадно убивать в себе всякое сомнение в нем, всякий позыв к противоречию. Философский оптимизм

требовал очень многого. Путем отвлеченностей и метафизических выкладок он превращал в научные аксиомы, в философские истины и в откровения «духа» ходячие общественные начала, за малыми исключениями, почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всех умственных и других отправлений, навеваемых и вызываемых текущей минутой.

В этом благоприятном разъяснении текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяние, которое производил на всех тогдашний глубоко-консервативный, религиозный, даже с мистическим оттенком, семейно-добродетельный, нравственный, *музыкальный* Б[акунин],—такой, каким его знали до 1840 г., когда он уехал за границу из России.

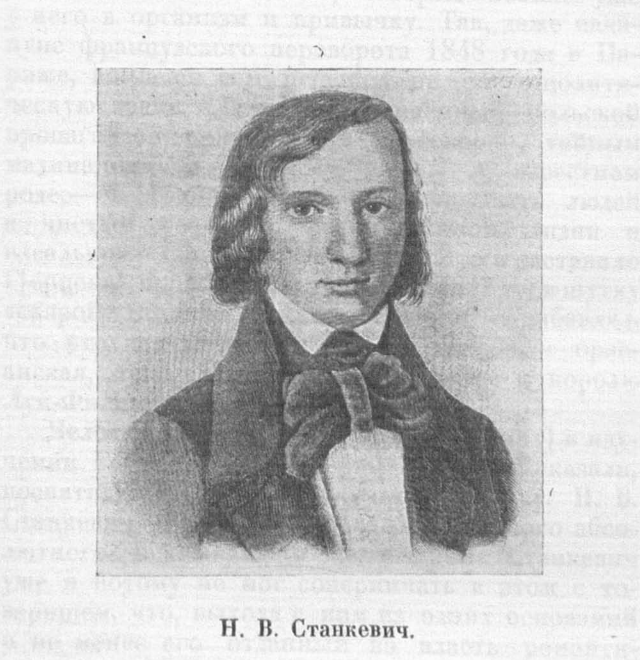
С тех пор он ушел далеко; но потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека, вместо удовлетворения их—осталась все та же, и тот же романтизм, ищущий необычайных выводов и потрясающих эффектов, слышится и в его призывах к разрушению обществ, и к истреблению цивилизации, как прежде слышался в воззваниях к высшему героическому пониманию и осуществлению нравственности и человеческого достоинства.

Уже и тогда многие, как покойный В. П. Боткин [1], например, и сам Белинский, по временам, понимали хорошо источники проповеди Б[акунина]. Описывая мне его личность в 1840 году, тогда мне еще совершенно незнакомую,

---

[1] Василий Петрович Боткин (1810—1869), близкий друг Белинского.

Белинский говорил: «Это пророк и громовержец,—но с румянцем на щеках и без пыла в организме». Таково было последнее впечатление, вынесенное им из долгих сношений с учителем. Но в общественном значении никто не отказывал философии Б[акунина], потому что она действительно составляла прогресс в умственном развитии нашего общества и служила прогрессу. Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастичного элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников. Смысл, который система Б[акунина] отыскивала не только в политических, но даже в будничных эфемерных явлениях текущего дня, действительно, был произвольный и навязанный им насильно, но всетаки это был смысл, для усвоения которого следовало еще многому поучиться и о многом подумать. Положения проповеди Б[акунина] слишком многое узаконяли в существующих порядках — это правда, но они узаконяли их так, что порядки эти переставали походить на самих себя. Они становились идеалами в сравнении с тем, чем были на реальной почве. Нравственные требования от всякой отдельной личности носили у него характер безграничной строгости: вызов на героические подвиги составлял постоянную и любимую тему всех бесед Б[акунина]. Гегелевское определение личности, как поприща, на котором совершается таинство самоопределения и окончательного разоблачения «творящей идеи», уполномочивало уже требовать от каждого че-



Н. В. Станкевич.

ловека самых напряженных усилий на пути развития своего сознания и нравственных доблестей. Б[акунин] и требовал этих усилий, с вдохновением и настойчивостью, которые вошли уже у него в организм и привычку. Так, даже накануне французского переворота 1848 года в Париже, когда он сам перешел на чисто-политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступил к подговорам, тайным махинациям и клубным мерам в известном роде,—он готов был всегда призывать людей к чистым подвигам, целомудренной жизни и идеальному пониманию ее задач. Это и заставило Г[ерцена] прозвать его тогда же (1847 г.) в шутку «старой Жанной д'Арк». Г[ерцен] прибавлял, что это и девственница, но только *анти*-орлеанская, так как питает отвращение к королю Луи-Филиппу—орлеанскому.

Человек, предшествовавший Б[акунину] в изучении Гегеля и даже впервые, как мы сказали, посвятивший самого Б[акунина] в науку, Н. В. Станкевич, никогда не доходил до полного абсолютного оптимизма в философии. Станкевич уже и потому не мог соперничать в этом с товарищем, что, выходя с ним из одних оснований и не менее его отданный во власть романтического настроения, неспособен был, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, к грубым обобщениям. По причинам просто—и чисто-физиологическим, он останавливался в недоумении перед каждой скрытой и явной несправедливостью, так же точно, как и перед всяким чрезмерным увлечением. У него была поверка излишне заносчивых тезисов

в чувстве меры, да к тому же он снабжен был и даром юмора, который открывал ему оборотную теневую сторону предметов. Этого дара вовсе недоставало Б[акунину]. Должно считать счастливым обстоятельством для Б[акунина то, что в эпоху его самой жаркой проповеди Станкевич (с осени 1837 г.) и Грановский (за год до того) были за границей, а Г[ерцен] проходил первое свое удаление, сперва в Вятку, а потом во Владимир; случись они тогда в Москве, законодательная деятельность Б[акунина] и его декреты по предметам мышления получили бы значительное ограничение и изменение.

Остается теперь посмотреть, как все эти свойства и качества философской системы Бакунина отразились тогда на душе Белинского.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ИЗУЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ. — «МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ» 1838 г.

На первых порах влияние новой философской системы Б[акунин]а не было выгодно для таланта Белинского. Белинский прежде всего приступил тогда к изучению схем, формул, делений—всех почти неосязаемых теней колоссального мира абстракции, называемого логикой Гегеля, и приступил с пылом и фанатическим одушевлением, лежавшими в его природе. Сделав обет ученического послушания системе, он уже не изменил своему обету до конца. Он наложил опеку на свой подвижной ум, на свое тревожное сердце, создал план, программу, почти табличку поведения для своей жизни и для своей мысли, и употреблял неимоверные усилия, чтобы отогнать от себя все навождения врожденного ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Белинского не покидало сомнение даже в праве отдаваться впечатлениям внешней жизни, своему чувству, своим сердечным влечениям. Он страдал в мысли так же, как и в способе относиться ко всему реальному в его собственном существовании. Это было уже далеко не наслаждение философией, как в период Шеллингова влияния,—это был

тяжелый труд, каторжная работа, принятая на себя из надежды близкого воскрешения в будущем, и потом уже радостного существования на земле, без сомнений, колебаний и томительных вопросов. Мучительный искус, добровольно проходимый одним из характеров, наименее способных к подчиненности, не кончился и тогда, когда Белинский ознакомился с учением *о действительности*, хотя оно, повидимому, должно было бы освободить его от напрасных исканий идеально-совершенных правил и основ жизни. По крайней мере в литературе следы того же послушнического искуса сохраняются и в статьях его от 1838-го года. Слово его, такое бодрое и развязное дотоле, становится в «Московском Наблюдателе» 1838 года неопределенным, туманным, словно чахнет, занятое преимущественно выяснением философских терминов (особенно термин «конкретность» стоил ему долгих трудов и беспрестанных повторений одного и того же понятия на разные лады), переложением их на русский язык и толкованием их смысла для русской публики. По временам это бедное, уже обезличенное слово старается еще придать себе вид развязности, скрыть схоластические путы, мешающие его движению, казаться свободным, смелым словом, несмотря на ту цепь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, соответствовавшие тем мимолетным протестам против теории, о которых говорено. Вообще же журнал «Московский Наблюдатель», орган Белинского с 1838 года, представлял в течение нескольких месяцев печальную арену, где можно было видеть замечательного и своеобычного

мыслителя в униженном положении страдальца, изнывающего и слабеющего под действием жестокой умственной дисциплины, лишавшей его сил, но которую он продолжает упорно налагать на себя, не признавая ее за наказание. Журнал истомил редактора и всех тех, которые за ним тогда следили. Многие из друзей редактора были также очень недовольны им и не скрывали своего мнения. Позволю себе при этом сказать несколько слов о собственных моих тогдашних впечатлениях по этому поводу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СТАТЬЯ РЕТШЕРА.— БЕЛИНСКИЙ О КРИТИКЕ.—ГАМЛЕТ И ФАУСТ В ИСТОЛКОВАНИИ БЕЛИНСКОГО.—БЕЛИНСКИЙ О ПУШКИНЕ.—ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ.

Известно, что «Московский Наблюдатель» 1838 г. открывался передовой статьей Рётшера [1] «О философской критике художественного произведения». О ней много было говорено и тогда, и потом в нашей литературе, и все таки мне приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала к числу тех чрезвычайно сухих и отвлеченных трактатов, где понятия под натерелой рукой писателя складываются сами собой в затейливые узоры, оставляя в стороне, как вздорную помеху, все соображения о насущных потребностях известного общества, об условиях или нуждах его существования в данную минуту. Статья определяла будущее направление журнала. Она делила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумеется, предпочтение первому—философскому отделу, как заключающему в себе единственные истинные и непреложные законы для суда над произведениями. А непреложность этих законов доказы-

[1]) Генрих Теодор Рётшер (1803—1871)—немецкий философ и критик, последователь Гегеля.

валась процессом исследования, свойственным философской критике, которая, распознав мысль художественного произведения, выделяет эту мысль из создания, развивает ее самостоятельно, по-философски, допытывается всех возможных ее выводов, и потом возвращает эту мысль снова созданию, наблюдая, все ли то сказано в образах и подробностях создания, что обнаружилось в философском анализе его. Если да— да; если нет,—тем хуже для создания!

Три низшие отдела критики, т. е. критика психологическая, скептическая и историческая, конечно, не пользовались симпатиями Белинского. Не говорим уже о скептической, давно им презираемой, но и психологическая, и историческая критики, как не имеющие руководителя *в абсолютных законах* мысли и искусства, ценились им весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этом, что он говорил по поводу последней из них: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняют его творений. Законы творчества вечны, как законы разума. На что нам знать, в каких отношениях Эсхил или Софокл были к своему правительству, к своим гражданам, и что при них делалось в Греции? Чтобы понимать их трагедии, нам нужно знать значение греческого народа в абсолютной жизни человечества... До политических событий и мелочей нам нет дела», и проч.

Белинский тут просто не походил на самого себя. Между тем, в статье Рётшера, пред теми рубриками критики ставились бедные явления нашей печати и письменности, вымеривался их рост, и, на основании полученных четвертей и

вершков, им отводилось помещение в одном из отделов. Так поступил Белинский с сочинениями фон-Визина, которые отнес к ведомству критики исторической, вместе с изумительным товарищем—сочинениями Вольтера, а «Юрия Милославского» подчинил ведению критики психологической, придав ему тоже необыкновенного спутника и сотоварища, именно Шиллера, «этого странного полухудожника и полуфилософа», замечал Белинский. Но недостало даже таланта и опытности Белинского, чтобы к названным русским авторам приложить все требования критического отдела, которому они делались подсудны, и найти в них все те черты, которые по теории должны были в них существовать непременно. Он обещал представить это свидетельство совпадения теории с живым примером, но не исполнил обещания - и по весьма понятной причине. При осуществлении задачи либо теория должна была лопнуть по всем составам, либо примеры отбиться совсем от теории.

Зато Белинский исполнил другое. Чем более отрекался он от права личного суждения, тем более завладевали его умом мертвые философские схемы и тезисы, которые не только заслоняли перед его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на их место. Когда актер Мочалов создал роль Гамлета в Москве, Белинский написал большую статью о трагедии и московском исполнителе главной ее роли. Как же представился Гамлет в воображении Белинского? Конечно, так же, как и Гёте,—человеком страдающим бедностью воли в виду огромного замысла, на который он себя

предназначает. Но откуда эта немощь воли и сопряженные с нею страдания в лице, умеющем при случае поступать очень смело и решительно?—спрашивал себя Белинский. Ответ давался схемой. Гамлет, по ее определению, выражает собою все признаки того психического состояния, когда человек, мирно живший с собою и про себя, переходит к существованию в «действительности» во внешнем мире, таком запутанном и бессмысленном на первый взгляд. Борьба и страдания, неразлучные с этим погружением в хаос и в кажущуюся грубость реального мира, отнимают у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются к нему, когда Гамлет, после долгого, мучительного искуса, приходит к чувству покорности перед законами, управляющими этим непонятным, грозным миром действительности, к тихому убеждению, что надо быть *всегда готовым на все*. Таким образом, Гамлет преобразился в представителя любимого философского понятия, в олицетворение *известной* формулы (что действительно, то—разумно), и Белинский на этом пьедестале устраивает апофеозу как великому творцу драмы, так и замечательному его толкователю на московской сцене.

Постоянные превращения живых образов в отвлечения начинают появляться все более и более у Белинского. При обозрении журналов 1839 года Белинский делает заметку о статье Губера «Фауст». Что такое Фауст Гёте? Для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст, как че-

ловек глубокий и всеобъемлющий, должен был выдти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностью, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии просветленной опытом и сознанием. Он прозрел под конец разум и оправдание всего сущего. Фауст умирает в блаженстве и от блаженства такого сознания.

Как ни тяжело было, повидимому, приложить этот способ определения предметов искусства к чему либо, выросшему на русской почве, Белинский, однако же, не остановился перед трудностию. Я сказал, что при появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг: даже нечто вроде *испуга* перед величием творчества, открывшегося глазам его. В литературной хронике «Московского Наблюдателя» 1838 года, отдавая отчет о четырех томах «Современника», заключавших неизданные произведения великого поэта, Белинский спрашивал себя: что такое Пушкин? Оказалось, что та же схема, которая служила мерилом внутреннего достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для определения последних произведений Пушкина. Вот собственные слова Белинского: «В самом деле», — говорит он, — «чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать их вполне *таинственный* смысл и войти во всю полноту и светлозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выдти из борьбы

прекраснодушия в гармонию просветленного и примиренного с действительностию духа. Повторяем, примирение путем объективного созерцания жизни—вот характер этих последних произведений Пушкина».

Было бы очень странно, если бы этот философский тезис, так могущественно и деспотически овладевший умом Белинского, остался без приложения к предметам политического и общественного характера, или заменился там каким либо иным, несхожим с ним созерцанием. Непоследовательность такого различия в определениях была бы очевидным опровержением самых оснований теории, а Белинский был всегда последователен и в истине, и в минутных заблуждениях своих. Таким образом являлась у Белинского и политическая теория, в силу которой человек для того, чтобы устроить правильные отношения к обществу и государству, должен разрешить в себе ту же задачу, какую разрешали Гамлет и Фауст своими персонами, а Пушкин—своими произведениями. Разница состояла здесь в том только, что на политической и социальной почве уже не предстояло возможности выбирать явлений, предпочитать одни другим, производить им оценку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать их всех одинаково и целиком. Белинский поэтому требовал, «чтобы человек, не желающий довольствоваться всю жизнь призрачным существованием, вместо действительно человеческого существования, признал ложью и обманом умственные похоти своей личности, подчинился требованиям и указаниям государства, которое есть единственный критериум истины

на земле, проникнул в глубокий смысл его идеи, превратил все могучее его содержание в собственные убеждения свои, и тем самым сделался уже представителем не случайных и частных мнений, а выражением общей, народной, наконец мировой жизни или, другими словами, стал *духом во плоти*». Белинский продолжал далее: «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что кто никогда не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целью самой себе, но иметь целью примирение. Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность, а действительность требует или полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцовою тяжестью своей исполинской длани».

Место это находится в разборе книги «Очерки Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки, которая ознаменовала, как знаем, полный расцвет гегелевского оптимизма в русской литературе.

Такова вкратце у Белинского история зарождения и развития гегелевского оптимизма, которая, так сказать, прошла у нас перед глазами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОТИВОРЕЧИЯ.—ОТЗЫВ О ВТОРОЙ ЧАСТИ «ФАУСТА».—ОТНОШЕНИЕ КРУЖКА.

Нельзя покончить, однако же, с этим периодом деятельности критика, не повторив еще раз того, что было сказано о его частых восстаниях против своих же догматов: в противность всему строю и всем заключениям признанного и усвоенного им учения, из под пера Белинского беспрестанно вырывались положения, похожие на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунт против начал, угнетавших его ум, высказывались те, на время подавленные и притаившиеся, критические силы Белинского, которые ждали окончания философского погрома, чтобы явиться снова на свет в полном блеске. Не удивительно ли было, например, в самом пылу гегелевского настроения, когда так процветало благоговение к «идее» и неутомимое искание ее—вычитать у Белинского следующие строки, в его разборе плохой драмы Полевого «Уголино»: «В творчестве сила не в идее, а в форме, которая, само собою разумеется, необходимо предполагает и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута кротким, благоговейным сиянием эстетической красоты. Величие содержания (идеи) не только не есть

ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозревает ее»... Помню хорошо недоумение, которое возбуждали в нас подобные внезапные повороты (а их было не мало), наносившие более или менее чувствительные удары самим основам и первым началам найденной философской системы. Помню также, что многие из нас и обращались к автору в подобных случаях за разъяснениями этих противоречий; но разъяснения Белинского большею частию обнаруживали досаду на людей, подвергавших его экзамену, и давались, как даются ответы детям на их расспросы. «Неужто вы думаете», – говорил Белинский,—«что я должен при каждом мнении справляться с тем, что сказал когда то прежде:—да вот теперь я вас ненавижу, а через день буду страстно любить». Много было истины в этих словах. Белинский особенно боялся тогда противоречий, потрясающих новую его систему, и отзывался гневно и нервно о людях, их высказывавших; но оказывалось, что он больше всего и думал именно о таких людях. В связи с этой чертой находилась и другая, не менее любопытная. Он негодовал, становился угрюм и зол именно, когда встречал непререкаемое согласие с его положениями, хотя это и не часто случалось, точно ему недоставало тогда возражений и обличений. Внутренняя жизнь Белинского в эту эпоху представляла раздвоение, поистине трагическое и исполнена была страданий и сомнений, которые по временам он и открывал собеседникам в резком, неожиданном слове, можно сказать, в вопле истерзанной души. Он судорожно и отчаянно держался за новые свои

верования, но с каждым днем все более и более чувствовал, что они меняются, тускнут и испаряются на его собственных глазах.

Но в этот же период времени случалось и так, что Белинский боролся с гнетущими условиями метафизического деспотизма не одними вспышками и порывистыми движениями врожденной ему критической мысли, а и целыми продуманными суждениями и приговорами, которые шли наперекор теории и всем ее толкователям.

И как гордился сам Белинский этими доказательствами и заявлениями самодеятельности своего ума! В письме к И. И. Панаеву 19-го августа 1839 года, напечатанном в «Современнике» 1860 года, в январе месяце [1], он шутливо, но с чувством нескрываемого торжества вспоминает, что еще осенью прошлого года объявил вторую часть «Фауста» Гёте сухой, мертвой символистикой, к великому негодованию и изумлению всех московских друзей-философов. Они не находили почти слов для выражения своего гнева и презрения к смельчаку, налагавшему руку на своего рода «философский Апокалипсис», а теперь опустили головы, прочитав в «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Fischer), говорит Белинский, который буквально повторил все то, что возвещал он, непризнанный Белинский за год перед тем.

И было чем гордиться!

Что касается до нас, то мы жаждали ересей Белинского, противоречий Белинского, измен его своим положениям и нарушений философ-

---

[1] См. Белинский „Письма“, СПБ. 1914, т. I, стр. 333.

ских догматов, как подарков: они, казалось, возвращали нам старого Белинского 1834—35 годов, когда он имел, несмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направление *. Не то, чтобы кружок его петербургских сторонников ясно прозревал несостоятельность системы и выводов, из нее получаемых—для этого он не был достаточно развит философски—но он чувствовал беспокойство, следуя за развитием учителя, сильно недоумевал, когда ему—кружку этому—не позволяли ропота даже и на самые обыденные явления жизни и беспрестанно обращал глаза назад, к прежнему Белинскому 1835 года, издателю 6-ти книжек «Телескопа», где помещены статьи и разборы, оставшиеся и доселе памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколения, впервые их выслушавшие. Может быть, это подозрительное состояние кружка, всегда готового сорваться с тезисов на практическую дорогу прямой, наглядной оценки предметов, без всяких справок о том, что они представляют в идее, и было причиной грустного, осторожного, сдержанного обращения Белинского с кружком. Он не доверял ни его покорности отвлеченным понятиям, ни особенно его способности проникнуться ими в должной степени, и однажды, когда заговорили перед

* В „Телескопе“ 1835 года помещены были образцовые статьи: „О русской повести и повестях Гоголя“, „О стихотворениях Баратынского“, „Стихотворения Владимира Бенедиктова“ и „Стихотворения Кольцова“. Надеждин, поручивший издание „Телескопа“ Белинскому, при своем отъезде за границу, был удивлен по возвращении в декабре 1835 года и доброкачественностью статей, в нем помещенных, и запущенностию редакции, но додавшей множество книжек журнала. Таков был и потом Белинский, как „редактор“.

Прим. автора.

ним о здравом практическом смысле Петербурга, поправляющем увлечения, и под дыханием которого иссыхают все источники фантазии и мечтаний, Белинский вспыхнул и с гневом проговорил: «Я вижу, куда вы клоните. Вам никогда не удастся сделать из меня то, что вы хотите!» Он еще боялся за судьбу своего идеализма в Петербурге, да и долго потом, даже после отрезвления своей мысли, происшедшего в 1840 г., еще держался за него, как за отличие, которое не следовало терять на новом месте. Дело, однако же, сложилось иначе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БЕЛИНСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ.—БЕЛИНСКИЙ И ГОГОЛЬ.—ВЛИЯНИЕ ГОГОЛЯ.

После всего этого длинного отступления возвращаюсь к рассказу. Поселясь в Петербурге, Белинский начал ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лет сряду, почти без всякого перерыва, потрясла самый организм и заела его. На первых порах, после довольно долгого пребывания на квартире Панаева, он нанял себе помещение на Петербургской стороне по Большому проспекту, в красивом деревянном домике, с довольно просторной, но сырой и холодной комнатой и с небольшим кабинетом, жарко натопленным, где я и нашел его уже зимой 1840 года. Противоположность в температуре этих комнат не производила, повидимому, особого действия на здоровье хозяина, но зато постоянно награждала посетителей его обычными зимними дарами Петербурга – флюсами, гриппами и подчас жабами. Укрывшись в своем тропически-душном кабинете, Белинский весь отдался мысли, и вел сурово-уединенную, почти аскетическую жизнь, из которой, по временам, выходил в круг новых своих знакомых, где его строгий вид, всего чаще перемежавшийся со вспышками гнева или негодующего юмора, еще более обнаруживал

основной фон, подкладку, так сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя; наименее проницательный собеседник, если не понимал, то чувствовал существенную принадлежность этого человека—живое олицетворение образов, изобретенных поэзией для передачи мучительных стремлений и порываний беспокойного сердца и возбужденной мысли. Только это был титан добродушный. В отличие от романтических типов этого рода, которых нам представляют обыкновенно лишенными слабых или любезных сторон характера, Белинский обладал в значительной степени теми и другими. Нельзя было не заметить его ребячески-чистой доверчивости к хорошему слову и честному помышлению, перед ним высказанным, а потом его комического гнева на себя, когда он открывал (что делалось очень скоро) не совсем чистые источники этих заявлений. Его наивная неопытность в делах общежития беспрестанно вовлекала в ошибки такого рода, хотя за минутами подобных промахов у него следовало почти тотчас же отрезвление, и тогда он уже открывал в характерах и явлениях стороны, которые ускользали и от очень пытливых и осторожных людей.

Но, вообще говоря, потребности в людях, в водовороте жизни, в поверке себя другими, и всех—друг другом, Белинский тогда не обнаруживал. Он обходился без всего этого по целым неделям. После погрома, испытанного его новой теорией, он уже дни и ночи стоял перед письменным своим бюро. Довольно узкий, тропический его кабинет из двух окон, между которыми стояло это бюро, имел еще, у противоположной

стены и в расстоянии пяти-шести шагов, кушетку, с маленьким столиком у изголовья. Белинский почти всегда писал, как то требуется для журнальных статей, на одной стороне полулиста и бросал страницу, как только достигал ее конца. Затем, он ложился на кушетку и принимался за книгу, после чего, переменив высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помехи ни в чтении, ни в письме от этих промежутков в течении мыслей. Так создавались срочные и несрочные статьи, утомлявшие его физически гораздо более, чем умственно. Рука и слабая грудь его болели, но голова оставалась постоянно свежа. Впрочем, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую он испытывал с тех пор, как покинул московский свой кружок и обменял его на другой, не заменивший старого... Он долго не мог также привыкнуть к Петербургу, к его образу жизни — размеренной и осторожной, но кончил таким полным признанием его значения и разных гражданских и полицейских гарантий для личности, им представляемых, что помирился с ним окончательно.

Но у Белинского, взамен общества, были тогда три постоянные, неразлучные собеседника, которых наслушаться вдоволь он почти уже и не мог, именно, Пушкин, Гоголь и Лермонтов. О Пушкине говорить не будем: откровения его лирической поэзии, такой нежной, гуманной и вместе бодрой и мужественной, приводили Белинского в изумление, как волшебство или феноменальное явление природы. Он не отделался от

обаяния Пушкина и тогда, когда, ослепленный творчеством Лермонтова, весь обратился к новому светилу поэзии и ждал от него переворота в самых понятиях о достоинстве и цели литературного призвания. При отъезде моем за границу в октябре 1840 года Белинский спросил, какие книги я беру с собой. «Странно вывозить книги из России в Германию», отвечал я.—А Пушкина?—«Не беру и Пушкина»...—Лично для себя, я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, без Пушкина,—заметил Белинский.

О втором его собеседнике—Гоголе—скажем сейчас несколько пояснительных слов. Но что касается отношений, образовавшихся между Белинским и третьим, самым поздним или самым новым и молодым его собеседником—именно Лермонтовым, то они составляют такую крупную психическую подробность в жизни нашего критика, что о ней следует говорить особо.

Важное значение Белинского в самой жизни Н. В. Гоголя и огромные услуги, оказанные им автору «Мертвых душ», уже были указаны нами в другом месте [1]. Мы уже говорили, что Белинский обладал способностью отзываться, в самом пылу какого либо философского или политического увлечения, на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху Шеллингианизма одною из таких далеко-озаряющих вспышек была статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», написанная вслед за выходом в свет

[1] См. первую статью.

двух книжек Гоголя: «Миргород» и «Арабески» (1835 г.). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта, вдобавок, пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость по вдохновению, он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки, не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время, и мог хорошо видеть, как озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе («Московском Наблюдателе») сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом. Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему, тогда никем непрошенный, никем неожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в «Телескопе» 1835-го года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой либо черты, на основании ее сомнительной верности или необходи-

мости для произведения, не одобрял другой, как полезной и приятной,—а, основываясь на сущности авторского таланта и *на достоинстве его миросозерцания*, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя*. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, т. е. критика Белинского, злостно перетолковала все его намерения и авторские цели,—он благосклонно принял заметку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и был доволен статьей, и более чем доволен, он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь на определении качеств истинного творчества, и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: «Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки,— а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между собою»...—Это совершенная истина,—заметил Гоголь, и тут же прибавил с полузастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: «только не понимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается

в повестях Полевого». Меткое замечание, попавшее прямо в больное место критика; но надо сказать, что, кроме участия романтизма в благожелательной оценке рассказов Полевого, была у Белинского и еще причина для нее. Белинский высоко ценил тогда заслуги знаменитого журналиста и глубоко соболезновал о насильственном прекращении его деятельности по изданию «Московского Телеграфа» [1]; все это повлияло на его суждение и о беллетристической карьере Полевого.

Но решительное и восторженное слово было сказано и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий, да и не с одними только врагами писателя, открывшего у нас реалистический период литературы, а и с друзьями его. Так, Белинский опровергал критика «Московского Наблюдателя» 1836 г., когда тот, в странном энтузиазме, объявил, будто за одно «слышу», вырвавшееся из уст Тараса Бульбы в ответ на восклицание казнимого и мучимого сына: «слышишь ли ты это, отец мой?» будто за одно это восклицание—«слышу», Гоголь достоин был бы бессмертия; а в другой раз опровергал того же критика, и не менее победоносно, когда тот выразил желание, чтобы в рассказе «Старосветские помещики» не встречался намек на *привычку*, а все сношения между идиллическими супругами объяснялись только одним нежным и чистым чувством, без всякой примеси.

---

[1] Журнал Полевого был запрещен в 1834 г.

Вспомним также, что «Ревизор» Гоголя, потерпевший фиаско при первом представлении в Петербурге и едва не согнанный со сцены стараниями «Библиотеки для Чтения», которая, как говорили тогда, получила внушение извне преследовать комедию эту, как политическую, несвойственную русскому миру, — возвратился, благодаря Белинскому, на сцену уже с эпитетом «гениального произведения». Эпитет даже удивил тогда своей смелостью самих друзей Гоголя, очень высоко ценивших его первое сценическое произведение. А затем, не останавливаясь перед осторожными заметками благоразумных людей, Белинский написал еще резкое возражение всем хулителям «Ревизора» и покровителям пошловатой комедии Загоскина «Недовольные», которую они хотели противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие: «От Белинского», и объявляло Гоголя безоглядно великим европейским художником, упрочивая окончательно его положение в русской литературе. Белинский сам вспоминал впоследствии с некоторой гордостью об этом подвиге «прямой», как говорил, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла. Таковы были услуги Белинского по отношению к Гоголю; но последний не остался у него в долгу, как увидим.

Николай Васильевич Гоголь жил уже за границей в описываемое нами время, и уже два года, как основался в Риме, где и посвятил себя всецело окончанию первой части «Мертвых душ». Правда, он побывал в Петербурге зимой 1839 г. и читал нам здесь первые главы знаменитой

своей поэмы, у Н. Я. Прокоповича, но Белинского не было на вечере: он находился случайно в Москве. Вряд ли Гоголь и считал тогда Белинского за какую либо надежную силу. По крайней мере в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме) о русских людях той эпохи, Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону. И понятно—отчего: между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московском Наблюдателе», горькие отзывы Белинского о некоторых людях того кружка, который уже призывал Гоголя спасти русское общество от философских, политических и вообще западных мечтаний. Н. В. Гоголь видимо склонялся к этому призыву и начинал считать настоящими своими ценителями людей надежного образа мыслей, очень дорожащих тем самым строем жизни, который подвергался обличению и осмеянию. Николай Васильевич вспомнил о Белинском только в 1842 году, когда для успеха «Мертвых душ» в публике, уже представленных в цензуру, содействие критика могло быть не бесполезно. Он устроил тогда одно *тайное* свидание с Белинским в Москве, где последний случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, в кругу своих петербургских знакомых, не имевших никаких соприкосновений с литературными партиями: секрет свиданий был действительно сохранен, но, как я узнал после, они нисколько не успели завязать личных дружеских отношений между писателями. Все это было, однакоже, еще впереди и

случилось уже в мое отсутствие из Петербурга и России.

Теперь же, накануне моего отъезда за границу в 1840 году, Белинский как то особенно был погружен в изучение и пересмотр гоголевских сочинений. Он и прежде пропитался молодым писателем настолько, что беспрестанно цитировал разные лаконически-юмористические фразы, столь обильные в его творениях, но теперь Белинский особенно и страстно занимался выводами, какие могут быть сделаны из них и вообще из деятельности Гоголя. Можно было подумать, что Белинский поверяет Гоголем самые начала, свойства, элементы русской жизни, и ищет уяснить себе, в каких отношениях стоят произведения поэта к собственным философским его, Белинского, воззрениям, и как они с ними могут ужиться. Здесь следует заметить, что время изменения и перелома в созерцании Белинского определить весьма трудно с некоторой точностью. Фактически несомненно, что в следующем 1841 г. свершился мгновенный поворот критика к новым убеждениям, но приготовлялся он ранее и тогда, когда критик еще не покидал старой почвы и старой теории. Я сохраняю убеждение, что вместе с другими агентами его отрезвления — уроками жизни, развитием собственной его мысли и внушениями друзей—Лермонтов и Гоголь были не последними агентами, что доказывается и статьями о них, написанными Белинским в течение 1840 года. Под действием поэта реальной жизни, каким был тогда Гоголь, философский оптимизм Белинского должен был разложиться, как только его серьезно сопоста-

вили с картинами русской действительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь беде,—следовало или соглашаться с художником, обещающим еще много новых созданий в том же духе, или покинуть его, как не понимающего той жизни, которую изображает. Притом же обличения Гоголя довершали ряд обличений, начатых уже самым строем жизни и критическим умом Белинского прежде. Конечно, более правильное понимание известной формулы Гегеля о тождестве действительности и разумности, освободившее ум Белинского от философского обмана, дано было совсем не Гоголем, но Гоголь его подкрепил. Таким то образом расплачивался Николай Васильевич с критиком за все, что получил от него для уяснения своего призвания; но вот что замечательно: обоим им было суждено поменяться ролями и разойтись по тем же дорогам, по которым пришли друг к другу. Пока Белинский, выведенный однажды на почву реализма, прокладывал себе дорогу все далее и далее по одному направлению,—романист, способствовавший ему обрести этот верно намеченный путь, возвращался сам, после долгих блужданий, к той исходной точке, на которой стоял, при самом начале, его критик. Обменявшись местами, они уже, каждый с своей стороны, стремились достичь крайних, последних выводов своего положения, и оба одинаково умерли, страдальцами и жертвами напряженной работы мысли—мысли, обращенной в различные стороны.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

БЕЛИНСКИЙ И ЛЕРМОНТОВ. — ИСТОЛКОВАНИЕ ПЕЧОРИНА.—ВЛИЯНИЕ ЛЕРМОНТОВА.—ПЕРЕЛОМ.

Что касается Лермонтова, то Белинский, так сказать, овладевал им и входил в его созерцание медленно, постепенно, с насилием над собой. При первом появлении знаменитой Лермонтовской думы: «Печально я гляжу на наше поколенье», помещенной в № 1-м «Отечественных Записок» 1839 года,—этого монолога, над которым впоследствии критик долго и часто задумывался, которым и не мог насытиться и о котором позднее не мог наговориться,—Белинский, еще живший в Москве, выразился коротко и ясно: «Это стихотворение энергическое, могучее по форме» сказал он,—«но *несколько прекраснодушное* по содержанию». Известно, что выражал эпитет «прекраснодушный» в нашем философском кружке. Однако же Белинский не успел отделаться от Лермонтова одним решительным приговором. Несмотря на то, что характер лермонтовской поэзии противоречил временному настроению критика, молодой поэт, по силе таланта и смелости выражения, не переставал волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах.

Ничто не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова, как его презрение к теплому и благородному ощущению в то самое время, когда оно зарождается в человеке, как его горькое разоблачение собственной своей пустоты и ничтожности, без всякого раскаяния в них и даже с некоторого рода кичливостию. Новость и оригинальность этого направления именно и привязывали Белинского к поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830 года и в произведениях «юной Франции»,—а также и примеси нашего русского великосветского фрондерства, построенного еще на более шатких основаниях, чем парижский скептицизм и отчаяние. Но он им отыскивал другие причины и основания, а не те, которые выходили из самой жизни поэта. Художнический талант Лермонтова закрывал лицо поэта и мешал распознать его. Кроме замечательной силы творчества, которую он постоянно обнаруживал,—он еще отличался проблесками беспокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость в поэзии и, по теории, источника ее приходилось искать в долгом труде головы, в пламенном сердце, мучительном опыте и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на них. И вот, Белинский принялся защищать Лермонтова—на первых порах от Лермонтова же. Мы помним,

как он носился с каждым стихотворением поэта, появлявшимся в «Отечественных Записках» (они постоянно там печатались с 1839 года), и как он прозревал в каждом из них глубину его души, больное, нежное его сердце. Позднее, он точно так же носился и с «Демоном», находя в поэме, кроме изображения страсти, еще и пламенную защиту человеческого права на свободу и на неограниченное пользование ею. Драма, развивающаяся в поэме между мифическими существами, имела для Белинского совершенно реальное содержание, как биография или мотив из жизни действительного лица.

Памятником усилий Белинского растолковать настроение Лермонтова в наилучшем смысле остался превосходный разбор романа «Герой нашего времени», от 1840 года. Здесь то, спасая Печорина от обвинения в диких порывах, в цинических выходках, беспрестанно рисующегося и себя оправдывающего эгоизма, что сделало бы его лицом противо-эстетическим, а стало быть, по теории, и безнравственным, Белинский находит гипотезу, способную дать ключ к уразумению наиболее возмутительных поступков героя. Белинский пишет по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, в высшей степени искусственную и красноречивую. Найденная им гипотеза состоит в том, что Печорин еще не полный человек, что он переживает минуты собственного развития, которые принимает за окончательный вывод жизни, и сам ложно судит о себе, представляя свою особу мрачным существом, рожденным для того, чтобы быть палачом ближних и отравителем всякого человеческого

существования. Это—его недоразумение и его клевета на самого себя. В будущем, когда Печорин завершит полный круг своей деятельности, он представляется Белинскому совсем в другом виде. Его строгое, полное и чуждое лицемерия самоосуждение, его откровенная проверка своих наклонностей, как бы извращены они ни были,—а главное—сила его духовной природы, служат залогами, что под этим человеком есть другой, лучший человек, который только переживает эпоху своего искуса. Белинский пророчил даже Печорину, что примирение его с миром и людьми, когда он завершит все естественные фазисы своего развития, произойдет именно через женщину, так унижаемую, попираемую и презираемую им теперь. Как добрая нянька, Белинский следит далее за всеми движениями и помыслами Печорина, отыскивая при всяком случае всевозможные облегчающие обстоятельства для снисходительного приговора над ним, над его невыносимой претензией играть человеческой жизнию по произволу и делать кругом себя жертвы и трупы своего эгоизма. Один только раз Белинский останавливается перед выходкой Печорина, совершенно растерянный, не находя уже слов для уяснения грубой мысли героя и признаваясь, что не понимает его. Случилось это тогда, когда Печорин, при мысли, что обольщенная им женщина проведет ночь в слезах, чувствует трепет неизъяснимого блаженства и проговаривает: «Есть минуты, когда я понимаю вампира!—а еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия!»—«Что такое вся эта сцена?» восклицает наконец Белинский.—«Мы понимаем ее только,

как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства, но *последней черты ее мы решительно не понимаем*»...

Так боролся Белинский с Лермонтовым, который под конец, однако же, одолел его. Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое либо другое, более справедливое и гуманное представление их. Продолжительное наблюдение этой личности, вместе с другими, родственными ей по духу на Западе, забросили в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества—миновало, и что единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание, впрочем, уже подготовленное и самым психическим состоянием критика. Оно пустило обильные ростки впоследствии.

Таким образом, все материалы для устранения отвлеченного, философского принципа, вся нуж-

ная подготовка для выхода из фальшивого псевдогегелевского оптимизма были уже теперь на-лицо; но Белинский освобождался от старого воззрения, так тщательно воспитанного им в себе, медленно, как от любви, хотя уже с половины 1840 года он не мог вспоминать и говорить без ужаса и отвращения о статье своей «Менцель», которою он открыл этот замечательный год своей жизни и которая была написана им еще в Москве (1839 г.). Эстетические статьи, о которых мы сейчас говорили, последовавшие за ней, были плодом уже петербургских его дум. На них еще лежит во многих местах отблеск старого направления, но с ними снова выходил на литературную арену замечательный критик в полном обладании своей мыслью и своим увлекательным словом. Проснулись все его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензиями,— они составляли почти события в литературном мире того времени. Все они установляли новые точки зрения на предметы, читались с жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатление на современную публику, на всех нас, какие бы оттенки прежних, не вполне покинутых убеждений еще ни встречались в них, и как бы сам автор ни осуждал впоследствии некоторые из их положений и приговоров, за излишний пыл и через меру высокий тон их. Белинский, как критик-художник, являлся действительно человеком власти и могущества, подчиняющим себе. Достаточно вспомнить для объяснения обаятельного действия всех его рецензий 1840 года, после «Менцеля», что в каждой из них проис-

ходила, так сказать, художническая анатомия данного произведения, открывалось его внутреннее строение с очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и большее наслаждение, чем чтение самого оригинала. Это было восстановление произведения, только уже проведенного, так сказать, через душу и эстетическое чувство критика и получившего от соприкосновения с ними новую жизнь, большую свежесть и более глубокое выражение. Так, в художническо-эстетической критике 1840 года Белинский находил выход из опутавшего его философского догматизма. С этим направлением я его и оставил при моем отъезде за границу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В. П. БОТКИН.—БЕЛИНСКИЙ О «РЕВИЗОРЕ».—БЕЛИНСКИЙ И Н. ПОЛЕВОЙ.—БЕЛИНСКИЙ ПОСЛЕ КРИЗИСА.

Прежде отъезда мне пришлось, однако же, побывать опять в Москве. На этот раз Белинский снабдил меня письмом к Василию Петровичу Боткину, которого я вовсе не знал, но о котором много и часто говорилось при мне. Я побежал к нему при первой возможности. Это было в половине июня 1840 года.

Я застал В. П. Боткина в беседке сада, прилегавшего к известному дому Боткиных на Моросейке. Тут он устроил себе очень изящный летний кабинет, где и проводил все свободные свои часы, окруженный многочисленными изданиями Шекспира и комментариями на него европейских исследователей. Он составлял тогда статью о Шекспире. Я нашел в Боткине тех времен молодого человека в красивом парике, с чрезвычайно умными и выразительными глазами, в которых меланхолический оттенок постоянно сменялся огоньками и вспышками, свидетельствовавшими о физических силах, далеко не покоренных умственными занятиями. Он был бледен, очень строен, и на губах его мелькала добродушная, но как то осторожная улыбка,— словно врожденный его скептицизм, по отно-



В. П. Боткин.

щению к людям, сохранял над ним свои права и в области безграничного идеализма, в которой он тогда находился.

Впоследствии оказалось, что он стоял на границе радикального нравственного переворота, которого и сам еще не предчувствовал. Никто не обращал внимания на внезапные проблески страсти на лице и в речах, которые часто прорывались у него, и никому не приходило в голову подозревать, что в нем живет еще другой человек, кроме того, которого знали и любили окружающие его друзья и товарищи.

Мы, разумеется, разговорились о Белинском и о его мучительных исканиях выхода из положения, очень основательно выведенных из данного тезиса и очень несостоятельных в приложениях к практической жизни. «Он платится теперь,— сказал мне задумчиво и как то строго Боткин, словно обращаясь к самому себе,—за одну, весьма важную ошибку в своей жизни—за презрение к французам. Он не нашел у них ни художественности, ни чистого творчества, и за это объявил им непримиримую вражду, а между тем—без знания их политической пропаганды о них и судить не следует. *Ваш Петербург* принесет Белинскому большую пользу в этом отношении: он непременно изменит его взгляд на французов». *Наш* Петербург однако же не был в настоящей мысли Боткина такой панацеей для Белинского от заблуждений, как он это заявлял. Из обширной переписки, которую вел Боткин с Белинским в то время, оказалось, что друг критика еще очень боялся, чтобы на новой почве и отделенный от своего естественного,

московского круга критик не выпустил из вида великие начала философского понимания предметов литературы и нравственности.

Разбор Гоголевского «Ревизора», написанный Белинским тогда же, послужил ответом на эти напрасные опасения. Так как статья эта составляет вместе с тем и биографическую черту из жизни критика, то я и остановлюсь на ней.

Может быть, нигде в сильнейшей степени не сказались все самые видные качества эстетической критики Белинского, о которой говорили, как именно в этом разборе «Ревизора», которого Белинский противопоставлял «Горю от ума». Здесь каждое движение души у Хлестакова, городничего, его жены, дочери да и вообще у действующих лиц комедии выслежено с неутомимостию мыслителя-психолога, разрешающего трудную задачу, которая ему предложена; каждый намек на их характеры, часто заключающийся в одном слове или беглой черте, уловлен с вдохновением, можно сказать, равносильным художническому. Весь ход творческой мысли автора разобран до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что он присутствует в какой то критической лаборатории, где разлагаются перед его глазами все замыслы, приемы и дальновидные расчеты художнического производства. Тайн чужой работы для Белинского как бы не существует. Между прочим, здесь находилось множество мыслей, которые потом, к удивлению, были усвоены самим Гоголем и встречаются в его собственной защите своей комедии, как, например, мысль, что грубая ошибка городничего, при-

нявшего мальчишку Хлестакова за ревизора, есть действие встревоженной совести. «Не грозная действительность, а призрак, фантом или лучше сказать, тень от страха виновной совести должна была наказать человека призраков (городничего)», говорил Белинский в одном месте. Даже знаменитое положение Гоголя, что честное существо в «Ревизоре» есть смех, даже и оно было сказано Белинским прежде. Упомянув, что основа трагедии всегда зиждется на борьбе, возбуждающей сострадание и заставляющей гордиться достоинством человеческой природы, Белинский продолжает: «так и основа комедии — на комической борьбе, возбуждающей смех; однако же, в этом смехе не одна веселость, *но и мщение за униженное человеческое достоинство и таким образом, другим путем, нежели в трагедии, но опять таки открывается торжество нравственного закона*»; и много еще подобных мест заключалось в статье. Я не вывожу из этого сближения никаких заключений, хотя и позволительно думать, что Гоголь читал статью Белинского, по крайней мере, весьма внимательно. Что же касается до «Горя от ума», то Белинский считал комедию изумительной картиной нравов и гениальной сатирой, но не находил в ней художнически-построенного создания и, восхищаясь ею, сожалел, что не может приложить к ней тех способов философско-эстетического анализа, которые употреблял для разбора «Ревизора». Он был еще связан теоретическими запрещениями и ограничениями; и немного позднее, в эпоху обращения к политическим и общественным вопросам, о которой

пророчил В. П. Боткин, Белинский сам считал этот приговор далеко не исчерпывающим всего значения комедии Грибоедова.

Между прочим, в это же самое время Белинский покончил все расчеты и связи с человеком, которого он ценил еще недавно очень высоко и которого глубоко уважал и любил, — с Н. А. Полевым. Под гнетом тяжелых обстоятельств жизни Н. А. Полевой, сделавшийся издателем «Сына Отечества», перешел на сторону врагов философского движения в России и самого развития независимой, критической журнальной деятельности [1], эру которой, между прочим, он сам же и открыл у нас. Отзываясь теперь презрительно и насмешливо о молодых попытках отыскать какие то особенные начала для жизни и мысли, без справки с опытом и условиями времени, Полевой думал сделаться необходимым человеком в том кругу людей и понятий, к которым пристроился после падения «Московского Телеграфа». Но расчет его и тут не удался. Он был им подозрителен и тогда, когда защищал их. Всего этого было, однако же, довольно, чтобы потушить у Белинского те искры привязанности, которые он постоянно питал в душе к прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Он это и высказал откровенно в разборе «Очерков русской литературы» Н. А. Полевого, разборе, который может стать рядом с прежним его разбором деятельности С. П. Шевырева по яркости красок и убедительности доводов: оба эти разбора заслоняли людей нового поколения

[1] См. в „Записках" К. А. Полевого. СПБ. 1888 г.

от влияния авторитетов и репутаций, переставших отвечать потребностям времени, и оба порешили участь двух значительных имен в литературе.

Когда я вернулся после трехмесячной летней отлучки моей снова в Петербург, я нашел в Белинском большую перемену. Белинский уже вышел из психического кризиса, в котором я его оставил. Упреки, которые он делал себе в глубине души и уединенно за свое недавнее увлечение, высказывал он теперь торжественно, явно, во всеуслышание. Тон и склад его разговоров проникнут был самообличением самым ярким и беспощадным. Он уже пережил и позабыл боль скорбных признаний и делал их теперь публично. Получая укоры со всех сторон, Белинский уже свободно разбирал их, оправдывал и пополнял. Станкевич писал из Берлина с изумлением о *новых* теориях, народившихся в Петербурге; о негодовании же в круге Г[ерцена], в котором числился, кроме О[гарева] и других, тогда еще и Грановский, было уже нами сказано выше. Даже и обличения посторонних лиц, гораздо менее друзей стеснявшихся приискиванием позорных источников для объяснения ультраконсервативной деятельности Белинского, находили в нем своего адвоката. Он становился на сторону своих диффаматоров, досказывал им сам черты, которые могли бы усилить ядовитость их полемики, и только для себя не находил никакого оправдания. Так разрешался его кризис. Можно было подумать, что Белинский находит что то облегчающее для себя в этих беспрестанных истязаниях своей репутации. Черта

такого самобичевания проявлялась у Белинского иногда и без особенно важных поводов, порождая иногда уморительные и юмористические вспышки. Известно, что наш критик погрешил еще в 1839 году пятиактной, скучно-психической и сентиментальной комедией («Пятидесятилетний дядюшка») [1], о которой не любил вспоминать и которой стыдился. Однажды и уже через несколько лет после ее появления, когда Белинский имел в литературе значительное имя и влияние, он был представлен где то известному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который с первого же слова объявил, что он не сочувствует его критической деятельности, но зато находит комедию его гениальной вещью. Белинский затем уже никогда не мог вспомнить об этом отзыве без выражения безмерного изумления, как будто дело шло о чем то совершенно невозможном и неестественном.

Достойно замечания еще и то обстоятельство, что смысл вообще философских статей Белинского не был разгадан и патриотами-консерваторами эпохи, которым статьи должны были бы придтись по сердцу, и которые, наоборот, присоединились к толпе, преследовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радевшие как о внутреннем, так и о внешнем достоинстве русской жизни, как, например, С. Шевырев, не угадали помощи, какую приносят статьи Белинского их собственному

[1] См. „Пятидесятилетний дядюшка или Странная болезнь. Драма в 5-ти действиях". Неизданный текст с предисл. и прим. А. Полякова, Пб. 1923. Впервые эта пьеса была напечатана в „Моск. Наблюдателе". 1839 г., ч. II.

делу, по множеству очень умных и дельных заметок о психологии народной, которые в них заключались и опередили науку о психической жизни народов, ныне появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманном языке Белинского—и далее не пошли, довольствуясь случаем лишний раз поглумиться над противником. Таким образом, большого политического смысла не обнаружилось ни с той, ни с другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески некоторого политического смысла зародились у нас только в разгаре великого спора между славянофилами и западниками, там они и окрепли, о чем будем говорить дальше.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПОЯВЛЕНИЕ М. КАТКОВА.— КАТКОВ И БЕЛИНСКИЙ.— СОТРУДНИЧЕСТВО КАТКОВА В «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСКАХ».—КОЛЬЦОВ.—БЕЛИНСКИЙ-МОРАЛИСТ.

По осени того же 1840 года явился в Петербург молодой человек М. Катков, из Москвы, переводчик «Ромео и Юлии, уже составивший себе репутацию человека с основательными филологическими познаниями и замечательными способностями к отвлеченному мышлению и к критике идей. Но в это время он преследовал еще и другие цели, стараясь показаться человеком не только энциклопедического образования, но и страстных житейских увлечений, занимаясь точно также философскими соображениями, поэзией, искусством и творчеством, как и сообщением своей физиономии демонического выражения. Желание прослыть человеком, способным понимать и чувствовать в себе все стороны существования, бросало его, по временам, в необычайные попытки, подсказывало действия и порывы совершенно фантастического характера, частию искренние, так как оп действительно обладал страстной, увлекающейся натурой, а частью придуманные, в виде украшения, отличия, *полезной* психической черты. Все это вместе довольно плохо вязалось с планами учений и тру-

женической жизни, какие он делал для себя, и создавало из него загадку для окружающих, чего он и хотел. Уже с 1839 года Катков был сотрудником «Литературных Прибавлений» и «Отечественных Записок» г. Краевского, и вместе с Белинским, при обновлении редакции последнего журнала, очутился в числе главных его руководителей. По прибытии в Петербург он остановился также у И. И. Панаева,—орудия и агента этого обновления [1]. Он появился, однако же, не надолго, пробираясь в Берлин, для окончания философского и научного образования, во первых, а, во вторых, для исполнения одного долга чести. Какая то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновению, выходка Бакунина по поводу одной московской истории вызвала в самом кабинете Белинского порядочно безобразную сцену между Катковым и Бакуниным, когда оба они находились уже в Петербурге [2]. Дело должно было разрешиться дуэлью в Берлине. К удовольствию друзей, принимавших участие в противниках, дуэль не состоялась вовсе *. В Петербурге Катков был предшествуем, как я сказал, репутацией человека нервного характера и оригинального ума, питаемого особенно знакомством с источниками господствовавших тогда теорий, и, наконец, писателя, уже отличившегося мастерством своим

---

[1] См. в „Воспоминаниях“ И. И. Панаева. („Academia“ Лнгр. 1928 г.).

[2] Об этом столкновении см. в „Письмах“ В. Белинского, т. II, стр. 145—147.

* При отъезде моем за границу, Белинский, рассказывая подробности сцены, поручал мне стараться о примирении врагов: „Было бы большим несчастьем“, говорил он, „потерять такого человека, как Катков; действуйте особенно на Бакунина—он резонер и на сделку пойдет скорее“. *Прим. автора.*

выражать метко и живописно оригинальные стороны философских идей, исторических эпох и предметов искусства вообще. Критические статьи Каткова действительно возвещали очень свежий, разнообразный и сильный талант; между ними остается мне памятной рецензия его на книгу Зиновьева: «Основание русской стилилистики», где первое возникновение риторики, как науки, оправдывалось строем всей древней греческой жизни и цивилизации и осязательно показывалась нелепость ее претензии на звание науки в быту новых обществ. Тем же характером блестящего изложения и понимания исторической и бытовой сущности вопросов отличаются и многие другие его статьи в «Литературных Прибавлениях» и «Отечественных Записках» 1839 и 1840 гг. Белинский очень дорожил его сотрудничеством в «Отечественных Записках» и ожидал от того больших последствий для журнала, чего, однако же, не сбылось.

Катков переживал тогда тот период развития, который можно назвать «*свирепостью молодости*», и который часто разрешается явлениями, которые кажутся совершенно невозможными и дикими в приложении к лицу, узнанному нами позднее, когда оно уже вполне определилось. С физиономии его почти не сходило тогда выражение некоторого легкого презрения к *интеллигенции*, его окружавшей, а поступки его еще сильнее выражали убеждение в своем праве не дорожить ею. Белинский не составлял исключения. Катков нимало не скрывал высокого понятия о самом себе и больших надежд, возлагаемых им на свою будущность, и думал, что

они могут служить достаточным основанием для снисходительного взгляда на его резкие выходки и несправедливости к друзьям, которые только и занимались тем, чтоб поддержать, поощрить и укрепить его деятельность и влияние. В короткое время своего пребывания в Петербурге, кроме некоторых библиографических статей, он перевел, вместе с другими участниками, роман Купера «Патфайндер» и составил этюд «Сарра Толстая», который появился в «Отечественных Записках» почти перед самым его отъездом заграницу. Белинский, еще до напечатания этого этюда, был очень доволен им и даже много говорил о нем, но не прошло и двух месяцев, как он переменил свое мнение об этюде, о чем я уже узнал впоследствии. Ему сделались вдруг противны психические изыскания в области *духа*, анализ неуловимых чувств и ощущений внутреннего человеческого существования, словом, вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей Каткова, но которая начинала уже терять значение для Белинского. Было и еще соображение. По всему складу мысли и деятельности Каткова, с первых же его шагов за границей, все яснее сказывалось, что он гораздо более занят мыслью водворить в своем отечестве новые основы положительного созерцания и верования, какие он открыл в позднейшей философии «Откровения» Шеллинга, чем призванием работать на просветление загрубелой русской общественной среды, прямо и непосредственно, как тогда требовало время. Сам Катков скоро подтвердил все догадки Белинского. Еще в Гамбурге, ступая, так сказать,

впервые на почву Европы, он думал, что успех «Отечественных Записок» доставит ему и Белинскому средства безбедного существования на всю жизнь, а менее чем через год он прекратил все сношения с журналом. Было бы крайне поверхностно и мелочно объяснять дело неясностью денежных расчетов между редакцией и сотрудником ее, между тем как дело разъясняется вполне отвращением Каткова следовать по пути бесповоротного отрицания, которое боится и не желает разъяснений. В 1842 году он на этом основании подозрительно относился даже к «Мертвым душам» Гоголя, как я имел случай лично убедиться, и не столько к поэме, сколько к будущим ее панегиристам, которых предвидел и которых более опасался, чем выводов самого произведения. В глухую осень 1840-го года (октября 5-го) мы с ним сели на *последний* пароход, отправлявшийся из Петербурга в Любек. Белинский, Кольцов и Панаев провожали нас до Кронштадта.

Я упомянул имя Кольцова. Это была моя первая и последняя встреча с этим замечательным человеком. Как теперь смотрю на малорослого, коренастого поэта, со скулистой, чисто русской физиономией и с весьма пытливым и наблюдательным взглядом. Все время проводов он молчал как бы озадаченный и подавленный умными, а еще более—развязными речами литературных авторитетов,—речами, которые выслушивал с покорным вниманием неофита. Это была как будто обязательная маска, принятая им в литературном обществе, которое так много делало для распространения его известности,

потому что и ко мне, совершенно безвестному и нимало не влиятельному лицу кружка, он подошел, после обеда в Кронштадте, со словами: «не забывайте, что вы обязаны нас учить и просвещать». Много было искреннего в чувстве, которое ему подсказывало подобные слова, но много в них было также и привычки, взятой в постоянном обращении с кругом писателей. Она не мешала, однако же, его суждению. По словам Белинского, не было человека, более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно. Это не мешало ему и в жизни, и в поэтической деятельности отдавать по временам самого себя бесповоротно во влияние и управление какой либо излюбленной личности, чем он тоже выражал свою русскую природу вполне. Белинский, например, распоряжался его мыслию и душой самовластно: кроме того, что критик наш высвободил его народную и поразительно-образную песнь от дурных резонерских привычек, он навеял также Кольцову сперва его религиозные гимны, а затем пробудил в нем зародыши поэтического созерцания жизни и жажду по наслаждениям бытия, какую оно за собой выводит. При Кольцове оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тот же оборот и неподражаемый склад речи, на что бы она ни обращалась: эта черта, кажется, должна была бы остановить недавние подозрения, брошенные на поэта в присвоении чужой литературной собственности. Есть анекдот

от эпохи, теперь нами передаваемой, который Белинский повторял не раз. В разгаре московского философского настроения собрался однажды у В. П. Боткина кружок друзей, занимавшихся наукой наук, и притом собрался в самом счастливом и веселом расположении духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идее, по открытию нового фактора в духовной жизни, по приобретению нового горизонта для мысли и т. д. Кружок ликовал одною из этих нематериальных, отвлеченных и теперь уже немногим понятных радостей. Случайно попал на него и Кольцов, конечно, не вполне уразумевавший основания восторженных речей своих друзей, но общее настроение подействовало на него обаятельно. Он сам просветлел и, удалившись в кабинет хозяина, сел за письменный его стол и возвратился через несколько минут к приятелям с бумажкой в руках. «*А я написал песенку*», сказал он робко, и прочел стихотворение: «Песнь лихача Кудрявича», пьесу, которой по своему как бы отвечал и вторил шумной речи молодых московских энтузиастов.

Не мешает сказать мимоходом, что часть биографии Кольцова, касающаяся его семейных дел, кажется, должна быть принимаема теперь с некоторою осторожностью и оговоркой, необходимых особенно для подтверждения догадки, что собственно никакого преднамеренного и обдуманного преследования со стороны родных не было в жизни Кольцова. Они тогда и долго потом еще не считали себя виновными перед покойным, и действительно могут быть — если не

оправданы, то пощажены на суде потомства. Они жили по правилам, обычаям и воззрениям грубой культуры, которую унаследовали от отцов, и понять не могли, что притесняют и, наконец, губят близкого человека одним образом своих диких понятий и своей жизнию по этим понятиям. Они оскорбляли и мучили свою жертву беззлобно и бессознательно, и только в этом и заключается именно трагизм семейного положения Кольцова, обреченного на жизнь в безобразной среде с той степенью развития, которую уже имел...

Мы так и уехали, оставив Белинского при разработке эстетических начал, которые он понимал далеко не так узко, как положено думать об эстетических приемах вообще. По некоторым чертам, мною уже приведенным, можно судить, какое многозначительное содержание он сообщал им, а чем далее он шел, тем все большую широту получали и его эстетические начала, обнимавшие не одни только условия и задачи искусства, но и связанные с ними неразрывно вопросы жизни и морали. Кстати о последней. При отъезде я уносил с собой образ Белинского преимущественно как нравоучителя и об этом считаю нужным сказать теперь несколько слов.

Кто не знает, что моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него пламенных друзей и поклонников. Его фанатическое, так сказать, искание правды и истины в жизни не покидало его и тогда, когда он на время уходил в сторону от них. Авторитет его, как моралиста, никогда не страдал между окружающими от его заблуждений. Необычайная

честность всей его природы и способность убеждать других и освобождать их от дурных приростов мысли, продолжали действовать на друзей обаятельно и тогда, когда он шел в разрез с их убеждениями. Очерк его моральной проповеди, длившейся всю жизнь его, был бы и настоящей его биографией.

К концу 1840 года нравственное уже не выводилось им более из полного устранения своей личности, своего я, и из передачи всего себя в лоно беспредельной *любви*, как в первый (шеллинговский) период развития; оно не заключалось также в *понимании* самого себя, как высшего творческого момента в деятельности всеобщего разума и высшей идеи, как выходило по Гегелю. Беспредельная любовь и абсолютное *понимание* своей духовной сущности, как начала, из которых вытекают все правила жизни, заменялась другим и единственным деятелем. Теперь нравственное для Белинского состояло в эстетическом воспитании самого себя, т. е. в приобретении чуткости к правде, добру, красоте и в усвоении неодолимого органического отвращения к безобразию всякого вида и рода. Я живо помню еще беседы, в которых он развивал это положение. По его убеждению хорошим пособием для возведения себя на степень разумного человека и просветленной личности может служить изучение основных идей в истинно-художнических созданиях. Все эти основные идеи суть вместе с тем и откровения морального мира. Из разбора и усвоения их возникает в обществе, мало-по-малу, кодекс нравственности, не писанный, без мраморных таблиц

и хартий, но лучше их укореняющийся в сознании отдельных лиц, лучше их устраивающий внутренний быт человека, а через человека и быт целых поколений. Каждый новый гениальный художник приносит, так сказать, в этот свободный кодекс нравственных начал новую черту, новую подробность, которые почерпнуты прямо из наблюдения и определения элементов духовной природы человека. Образуется рядом с живущими, действующими, писанными и иеписанными, нужными и ненужными уставами общежития и благочиния другой устав, неизмеримо более светлый, разумный и серьезный, которому следуют люди, развитые эстетически. Человек, воспитанный на миросозерцании великих художников, поэтов, философов, мыслителей, под конец сам становится способным к творчеству в области нравственных идей, открывает новые начала правды и возвещает их, покоряясь им сам и покоряя им других. Белинский нашел очень много глубоких соображений на этой почве, с которой он сошел в конце своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажных выводов и о которой еще речь впереди.

И как он встрепенулся, когда около той же эпохи возвещен был новый журнал «Маяк» [1], долженствовавший, как говорили, преимущественно

[1] Начал выходить в Петербурге в 1840 г. Известна эпиграмма С. А. Соболевского на „Маяк" (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, стр. 66):

Просвещения Маяк
Издает большой дурак
По прозванию Корсак,
Помогает дурачек
По прозванью Бурачек.

способствовать возобновлению и развитию старой, до-Петровской и *испытанной русской* морали, позабытой нашим светским и литературным обществом. Белинский прежде всех бросился поднять эту перчатку. Он отозвался о скором появлении журнала враждебно и сердито и перед самым отъездом моим показал мне даже место из приготовляемой им статьи, где упоминалось о журнале: «В нашу уснувшую литературу начал вкрадываться китайский дух; он начал пробираться не под своим собственным, то есть китайским именем *Дзунь-Кин-Дзынь,* а с чужим паспортом, с подложною фамилией и назвался *моральным духом.* Говорят, что добрые мандарины приняли благое намерение издавать на русском языке журнал, имеющий целию распространение в русской литературе этого благовонно-китайского духа («в разборе «Ольги», романа автора «Семейства Холмских») [1]. Выдуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно не выражало еще вполне степени негодования, объявшей его при известии о замысле основать журнал для защиты отживших начал, хотя бы некогда и очень важной исторической эпохи. Все это было как бы предчувствием той ожесточенной борьбы, какую он поведет скоро против тех же начал с врагами, гораздо более дельными и многочисленными, чем будущая редакция обещанного журнала [*].

---

[1] Автор романов „Семейство Холмских" (1839 г.) и „Ольга" — Д. Н. Бегичев.

[*] По странной случайности, в то же самое время, когда обновленные „Отечественные Записки" принимали то направление, о котором говорим, в Москве возникал журнал „Москвитянин", который должен был служить как бы противодействием петербургскому изданию. „Москвитянин" был основан в 1841 г. *Прим. автора.*

Частые нападки Белинского на моральничанье повели, однако же, к недоразумению, которое чуть ли не продолжается и до сих пор. Надо припомнить, что Белинский вполне усвоил себе деление Гегеля нравственных начал на две области: *моральную* (Moralität), к которой он отнес более или менее хорошо придуманные правила общежития, и собственно — *нравственную* (Sittlichkeit), которая объемлет у него самые законы, управляющие психическим миром человека и порождающие этические потребности и представления. Сделавшись проводником этих мыслей в русской жизни, Белинский начал свой долгий подвиг преследования в литературе и вообще явлениях нашего общества того, что он называл моралью и моральничанием. Когда возвратилось к нему, после некоторого перерыва, его яркое и откровенное слово, он уже не прекращал своего неусыпного гонения на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у нас в театре, словесности и жизни, так как посредством его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и других относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовидным, но коварным резонерством, желающим подменить очевидные факты лживым их толкованием, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенции, рассчитанной на получение дешевым способом, без хлопот и усилий, репутации честности и порядочности, наконец, все, что отзывалось китайским раболепным отношением к старине и изуверским отвращением к трудам нового времени, все это клеймилось у Белинского одним прозвищем

«морали и моральничанья» и преследовалось со смелостью, весьма замечательной по тому времени. Беспощадное обличение этого чудовища «мораль» рассеяно у него почти по всем его статьям от этой эпохи. Чтобы ознакомиться, каким энергическим языком оно обыкновенно производилось, любопытные могут прочесть любую из его рецензий (см., например, рецензию на роман Р. Зотова «Цин-киу-Тонг»), или любой театральный отчет (см. отчет о комедии С. Навроцкого «Новый Недоросль»;—Белинский писал и театральные фельетоны при «Отечественных Записках»). Он достиг того, что опошлил у нас самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однако же, даром. Она дала повод его врагам составить ему, пользуясь недоразумением и игрой слов, репутацию безнравственного существа, не признающего законов, без которых никакое общество держаться не может. Они успели объявить безнравственным человека, который всю жизнь искал основных принципов идеально благородного существования на земле, который был, на зло своим насмешкам над моралью, одним из замечательнейших *моралистов своей эпохи*, и который проповедывал и поддерживал кругом себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемерному, унижающему.

Я провел три года за границей, весьма мало получая известий из родины. В этот промежуток времени свершился весьма важный переворот в психическом состоянии и в направлении всей деятельности Белинского,—а стало быть и в его представлениях о нравственном, как скоро увидим.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ. — БЕРЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. — ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. — ВСТРЕЧА С ТУРГЕНЕВЫМ И БАКУНИНЫМ.

Мы покинули Петербург за непривычным для него занятием. Петербург принялся за чтение иностранных газет: он был взволнован неожиданно *Египетским* вопросом. Десять лет перед тем, в начале 30-х годов, публика наша очень мало интересовалась даже и таким событием, как французский переворот 1830 г. и не справлялась о причинах, его породивших. Теперь было несколько иначе: по первому слуху о возможности столкновений в Европе любопытство овладело даже и ленивыми умами. Иностранные газеты и брошюры, насколько их можно было достать, очутились в руках даже и наименее привычных к такой ноше. Привычка справляться о ходе дел в Европе осталась, однако же, и по миновании грозы. То, что прежде составляло, так сказать, привилегию высших аристократических и правительственных сфер, становилось делом общим.

Влияние, какое начинает оказывать с 1840 г. Европа и ее дела на тогдашнюю нашу интеллигенцию, заставляет меня нехотя обратиться к туристским моим воспоминаниям и сказать несколько слов о том, что русские находили вообще в современной Европе и преимущественно

во Франции, сменившей Германию в их благорасположении к западным культурам.

Итак, в Западной Европе, куда мы прибыли через четыре дня довольно бурного плавания,— шли большие приготовления. Германия собиралась на войну с Францией за принцип *законности*, нарушенный египетским пашей, который вздумал переменить вассальные свои отношения к Порте на протекторат Франции, поддерживавшей его в этом намерении. Англия, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость их, когда дело пошло о Турции. Правительства континента страшно обрадовались этой поддержке Англии: она давала им возможность обнаружить, без всякого риска, сдерживаемую дотоле ненависть к революционной, *беспринципной* Франции; народы их, еще лишенные представительства, собирались биться с врагом за свою честь, страдающую от самохвальства парижских журналистов, от бравад республиканцев и левой стороны французской палаты депутатов. Катавасия эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились на берег в Травемюнде. На одной станции, по дороге из Любека в Гамбург, М. Катков показал мне, покуда нам готовили завтрак, листок немецкой газеты, где сообщалась новинка, знаменитая патриотическая песенка Беккера: «Sie sollen ihn (Рейна) nicht haben», облетевшая потом всю Германию из конца в конец [1].

[1] Николай Беккер (1809—1845) — прославился песней, о которой говорит Анненков и в ответ на которую Мюссе написал стихотворение „Nous l'avons eu, votre Rhin allemand".

Воинственное движение по поводу дикого, свирепого и, несмотря на лукавство свое, пошловатого египетского эксплоататора, к счастию, длилось не долго, что избавило Европу от удовольствия видеть за французскими «contingents» фригийские шапки, а за немецкими «ландштурмами» — и наших интендантских чиновников. Луи-Филипп утомился каждодневно слушать «Марсельезу» под окнами Тюльери и получать ежеминутно известия о военно-революционном настроении умов, а благоразумная Англия, заручившись трактатом почти со всей Европой, который гарантировал права Турции, оставила его открытым на случай присоединения к нему Франции, когда пожелает. Все было спасено таким образом, и Нептуны с берегов Сены и Темзы могли без стыда вернуть назад выпущенную ими бурю и отойти на покой.

Когда все приутихло в северо-германском мире, оказалось, что Франция не только не потеряла у него кредита, но чуть ли он еще и не вырос. По крайней мере, так можно было думать в Берлине, по соединенным усилиям полиции, церкви, науки и театра и даже балета — отклонить возбужденное внимание публики от Парижа и дел его. Целые ведомства и корпорации в Берлине, казалось, только и думали о том, чтоб бороться с Парижем, мешать его влиянию, предохранять людей от его соблазнов, как в мире идей, так и в житейском мире, изобретая, на замену их, свои собственные соблазны, не столь решительного и яркого характера.

Не говоря уже о попытках придать бедному тогда городу на реке Шпрее фальшивое подобие

большой резиденции и важного политического центра,—вплоть до 1848 г. там сочинялись проповеди, выходили ученые трактаты, создавались философия и искусство для борьбы с французским *нечестием* и для пристыжения его. Один вопрос проводился в бесчисленных видах и слышался, можно сказать, повсюду: допустит ли солидный немецкий ум, немецкая верность историческим преданиям, привязанность немцев к своему очагу и домашним порядкам, наконец, немецкая потребность добираться до ядра каждой мысли—допустят ли они восторжествовать над собой легкомыслию и нечестию одного романского племени, растерявшего коренные основы человеческого и гражданского существования. Вопрос этот открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, с церковных кафедр, многими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Присмирелая, осторожная Франция Луи-Филиппа порождала такое сокровище тайной злобы и гнева в некоторых оффициальных и консервативных кругах, какого они не нашли у себя, когда та же Франция, через 15 лет тяготела почти над всеми европейскими кабинетами *. Дело объясняется просто: июльская революция 1830 г. впервые нанесла тяжелый удар трактатам 1815 г. и нравственным и политическим основам, установленным «Священным Союзом». Рана, нанесенная Францией 1830 г. обычному порядку дел и течению мыслей в Европе, была далеко

* Разумеется, при этом были, как и всегда, блестящие исключения: такие люди, как Гумбольдт, Варнгаген, Ранке, Гервинус, Ганс и др. никогда не исповедывали ужаса к французским идеям вообще и к французскому обществу в частности. *Прим. автора.*

не смертельна, но эта рана все таки болела и возбуждала тяжелые мысли насчет исхода болезни. Отсюда и крики, призыв бесчисленных врачей и искание возможных средств скорого исцеления.

Покуда, однако ж, все попытки заслонить как нибудь от глаз людей Париж и Францию не вполне достигали желаемого успеха. Тому много мешала и так называемая «юная Германия», обратившая у нас тотчас же внимание на себя. Побежденная десять лет тому назад на улицах и площадях, она успела теперь захватить в свои руки часть публицистики, философскую полемику и преимущественно обличение немецкой науки жизни и немецкого искусства: она открыто шла за знаменем и фортуной чужестранного народа, умеющего так много ставить политических и общественных вопросов перед собой. Не то, чтобы партия эта имела какую либо плодотворную, государственную идею или обладала каким либо учением, способным отвечать на все требования. Она предприняла только расшевелить немецкий мир и имела за собой даже и некоторое довольно значительное меньшинство осторожных и хладнокровных умов, которые возмущались долгим промедлением в исполнении некоторых торжественных обещаний, данных народам в 1813 г. и недавними попытками изменить, по возможности, смысл и сущность протестантизма. Большинство, однако же, сопротивлялось разлагающему действию «юной Германии», сколько могло. Общество немецкое, с администрацией во главе, приняло тогда очень простую систему делить людей на

два разряда: на людей, симпатизирующих Франции, позабыв все многочисленные ее вины перед Германией, и на людей, доверяющих немецкому гению, хотя бы он еще и не вполне обнаружил все свои силы и средства. Этот последний отдел, покровительствуемый и высшими оффициальными сферами, исповедывал еще и учение, по которому всякой свободной политической деятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка к ней в безмятежном царстве мысли, науки и теории. Берлинский университет, благодаря соединенным усилиям администрации и людей науки, вырос сам собой в готовое царство такого рода: немецкая ученость процветала там, как нигде. Пользуясь правом ознакомления с курсами прежде выбора их, мы каждый вечер ходили по аудиториям и слушали знаменитейших его профессоров. Я еще застал в университете почтенного Вердера [1], друга и учителя Станкевича, Грановского, Тургенева, Фролова и многих других русских. Он объяснял логику Гегеля и продолжал цитировать стихи и афоризмы из Гёте для сообщения красок жизни и поэзии отвлеченным формулам учителя. Риттер, Шеллинг тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекция Сталя [2] — философа-пиэтиста и одного из будущих основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который излагал основания, необходимые для осуществления истинно-христианского государства, нигде еще

---

[1] Карл Вердер (1806—1893) — немецкий философ и драматург, ученик Гегеля.

[2] Фридрих Юлий Сталь (1802—1861) — был в 1840 г. профессором Берлинского университета по кафедре государственного и церковного права и философии права.

не достигшего вполне своего настоящего типа и т. д.

Однако же, либеральное, политическое движение умов, данное 1830 г., не заглушалось конференциями берлинского университета, а напротив, еще росло под его тению. Для поддержания его существовали тогда и сильно шумели «Jahrbücher» Руге [1], чисто революционный орган, тоже не покидавший философизма, но сделавший его орудием преследования немецких порядков и вообще скромности и узкости немецкого созерцания жизни. Как бы в опровержение этого упрека отечественной науке, Германия произвела несколько ранее книгу, исполненную теологической эрудиции и возбудившую, на первых порах, повсеместный ужас—не только в советах и канцеляриях, но и между отъявленными либералами—известную книгу Штрауса [2]. Свободное исследование начинало перерастать требования тех, которые его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда немецкая эрудиция и теория разовьет, особенно в области теологии и политической экономии, такую смелость выводов и положений, что подскажет тогдашнему газетному и клубному нашему мудрецу, Н. И. Гречу, его общеизвестное, глубокомысленное замечание. Около 1848 г. он во всеуслышание говорил: «Не Франция, а Германия сделалась теперь рассадником извра-

[1] Арнольд Руге (1802–1880)—немецкий писатель и политический деятель; в 1837 г. основал в Галле радикальный орган „Hallische Jarhbücher", издание которого в 1841 г. перенес в Дрезден под названием „Deutsche Jahrbücher".

[2] Давид-Фридрих Штраус (1808–1874)—немецкий философ и теолог; его известная книга—„Жизнь Иисуса" (1835).

щенных идей и анархии в головах. Нашей молодежи следовало бы запрещать ездить не во Францию, а в Германию, куда ее еще нарочно посылают учиться. Французские журналисты и разные революционные фантазеры—невинные ребята в сравнении с немецкими учеными, их книгами и брошюрами». Он был прав в последнем отношении, но покамест можно было еще безопасно для своей нравственности оставаться в Берлине и свободно выбирать точку зрения и свою тенденцию между спорящими сторонами. У всякого новоприезжего туда из русских соотечественники его, уже прожившие несколько лет в этом центре немецкой эрудиции, шутливо спрашивали, если он изъявлял желание оставаться в нем: чем он, прежде всего, намерен быть *верным ли*, благородным немцем (der treue, edle Deutsche), или суетным, взбалмошным французом (der eitle alberne Franzose). О том, не захочет ли он остаться русским—не было вопроса, да и не могло быть. Собственно русских тогда и не существовало; были регистраторы, ассесоры, советники всех возможных наименований, наконец, помещики, офицеры, студенты, говорившие но русски, но русского типа в положительном смысле и такого, который мог бы выдержать пробу, как самостоятельная и дельная личность, еще не нарождалось.

В одном из берлинских кафе (Под-Липами) у Спарньяпаин, отличавшемся громадным количеством немецких и иностранных газет и журналов, я встретил, однажды вечером, двух русских высокого роста, с замечательно красивыми и выразительными физиономиями, Тургенева и

Бакунина, бывших тогда неразлучными. Мы даже и не раскланялись; ни с одним из них я еще не был знаком и не предчувствовал близких моих отношений к первому. В Берлине же я распрощался и с М. Катковым. Он записался в слушатели университета, а я отправился на юг, поближе к Италии, чтобы с первыми весенними днями ступить на ее классическую почву.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ВЕНА.—РИМ.—ГОГОЛЬ И ИВАНОВ О ФРАНЦИИ.

Зиму 40—41 годов мне привелось прожить в Меттерниховской Вене. Нельзя теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые знаменитый канцлер Австрии успел водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждым проявлением общественной жизни и беспредельной подозрительности к каждой новизне, на всем пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому великолепно-обставленному пустырю, как по улице гробниц в Помпее, посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и провожаемый призраками, в образе таможенников, пашпортников, жандармов, чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия, взятые с оффициальных фабрик, заготовлявших их для продовольствия жителей массами и пускавших их в оборот под своим штемпелем. Для созерцательных людей это молчание и спокойствие было кладом: они могли вполне предаться изучению и самих себя и предметов, выбранных ими для занятий, уже не развлекаясь людскими толками и столкновениями партий. Гоголь, Иванов, Иордан, и много

других жили полно и хорошо в этой обстановке, осуществляя собою, еще задолго до Карлейля, некоторые черты из его идеала мудрого человека, благоговейно поклоняясь гениям искусства и литературы, сберегая про себя святыню души, отдаваясь всем своим существом избранному делу и не болтая, зря, со всеми и обо всем, по последнему журналу. Но за мудрецами и созерцательными людьми виднелась еще шумная, многоглазая толпа, не терпящая долгого молчания кругом себя, особенно при содействии южных страстей, как в Италии. Забавлять то ее и сделалось главной заботой и политической мерой правительства. Кто не слыхал об удовольствиях Вены и о постоянной, хотя и степенной, полицейски-чинной и размеренной оргии, в ней царствовавшей? Кто не знает также о праздниках Италии, о великолепных оркестрах, гремевших в ней по площадям главных ее городов каждый день, о духовных процессиях ее и об импрессариях, поставлявших оперы на ее театры, при чем шумной итальянской публике позволялось, несмотря на двух белых солдат, постоянно торчавших по обеим сторонам оркестра с ружьями в руках,—беситься как и сколько угодно. Развлекать толпу считалось серьезным, административным делом,—но повторять эту картину, вслед за многими уже свидетелями, не предстоит здесь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только в этом мире, так хорошо устроенном, беспрестанно кидалась в глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолепную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещение иностранных книг (в мо-

денском герцогстве обладание книгой без цензурного штемпеля наказывалось ни более, ни менее, как *каторгой),* французская беспокойная струя сочилась под всей почвой политического здания Италии и разъедала его. Подземное существование ее не оставляло никакого сомнения даже в умах наименее любопытных и внимательных. Оно не было тайной и для австрийского правительства, которому оно беспрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временным, случайным правительством в предоставленных ему провинциях, и умножать, для самосохранения, войско, бюджет, наблюдения, мероприятия и т. д.

В марте 1841 года я уже был в Риме, поселился близ Гоголя и видел папу Григория XVI действующим во всех многочисленных спектаклях римской Святой Недели и притом действующим как то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную, домашнюю работу. В промежутках облачения и потом обрядов он, казалось, всего более заботился о себе, сморкался, откашливался и скучным взором обводил толпу сослужащих и любопытных. Старый монах этот точно так же управлял и доставшимся ему государством, как церковной службой: сонно и бесстрастно переполнил он тюрьмы Папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободе, а преступниками, которые не могли ужиться с монастырской дисциплиной, с деспотической и вместе лицемерно-добродушной системой его управления. Зато уже Рим и превратился в город археологов, нумизматов, историков от мала до велика. Всякий,

кто успевал продраться до него благополучно сквозь сеть различного рода негодяев и мошенников, его окружавшую, и отыскать в нем, наконец, спокойный угол, превращался тотчас же в художника, библиофила, искателя редкостей. Я видел наших отдыхающих откупщиков, старых степенных помещиков, офицеров от Дюссо [1], зараженных археологией, толкующих о памятниках, камеях, Рафаэлях, перемешивающих свои восторги возгласами об удивительно-глубоком небе Италии и о скуке, которая под ним безгранично царствует, что много заставляло смеяться Гоголя и Иванова: по вечерам они часто рассказывали курьезные анекдоты из своей многолетней практики с русскими туристами. К удивлению, я заметил, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, повидимому, успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи и поставить себе опережающие ее задачи. Намек на то, что европейская цивилизация может ожидать еще от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него так невозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрагивал.

У Иванова доля убеждения в той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менее, но как случается часто с людьми

[1] Известный тогда петербургский ресторан.

глубоко-аскетической природы, искушения и сомнения жили у него рядом со всеми верованиями его. Он никогда не выходил из тревог совести. Можно даже сказать про этого замечательного человека, что все самые горячие попытки его выразить на деле в творчестве свои верования и убеждения рождались у него так же точно из мучительной потребности подавить, во что бы то ни стало, волновавшие его сомнения. И не всегда удавалось ему это. Притом же, наоборот, с Гоголем он питал затаенную неуверенность к себе, к своему суждению, к своей подготовке для решения занимавших его вопросов, и потому, с радостию и благодарностию опирался на Гоголя при возникающих беспрестанно затруднениях своей мысли, не будучи, однако же, в состоянии умиротворить ее вполне и с этой поддержкой. Вот почему при неожиданно возникшем диспуте нашем с Гоголем, за обедом, у Фальконе, о Франции (а диспуты о Франции возникали тогда поминутно в каждом городе, семействе и дружеском кругу), Иванов слушал аргументы обеих сторон с напряженным вниманием, но не сказал ни слова. Не знаю, как отразилось на нем наше словопрение и чью сторону он втайне держал тогда. Дня через два он встретил меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую фразу, сказанную мною в жару разговора: «Итак, батюшка, Франция—очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Он еще думал о разговоре, между тем, как Гоголь, добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом (он пре-

поднес ему в залог примирения апельсин, тщательно выбранный в лавочке, встретившейся по дороге из Фальконе), забыл и думать о том, что такое говорилось час тому назад [1].

Надо сказать, что прения по поводу Франции и ее судеб раздавались во всех углах Европы— тогда, да и гораздо позднее, вплоть до 1848 года. Вероятно, они происходили в то же время и там, далеко, в нашем отечестве, потому что с этих пор симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет. Но и при этом следует заметить, что русская интеллигенция полюбила не современную, действительную Францию, а какую то другую— Францию прошлого, с примесью будущего, т. е. идеальную, воображаемую фантастическую Францию, о чем говорю далее.

[1] См. об этом выше—в статье о Гоголе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПАРИЖ 1841 Г.—ГИЗО.—СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.

Чем более приходилось мне узнавать Париж, куда я попал, наконец, в ноябре 1841 года, тем сильнее убеждался, что повода для зависти соседей он действительно заключает в себе очень много, благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературе и прочему, но—причин для суеверного страха перед его именем он содержит весьма мало. Я застал Париж волею или неволею подчиненным строго-конституционному порядку; правда, что этого никто не хотел видеть, а видели только опасности, представляемые народным характером французов, забывая притом коренное отличие конституционного режима, состоящее в его способности мешать развитию дурных национальных сторон и наклонностей. Еще очень много было людей, считавших даже это средство спасать народы от заблуждений и увлечений опаснее самого зла, которое оно призвано целить.

После популярного, воинственного Тьера управление Францией принял на себя англоман по убеждениям Гизо, который в ненависти и презрении к самодеятельности и измышлениям народных масс и их вожаков совершенно сходился с королем, хотя оба они были обязаны

именно этим массам и вожакам своим возвышением. Оба они были также и замечательные мыслители в разных родах: король, как скептик, много видевший на своем веку и потому не полагавшийся на одну силу принципов без соответственного подкрепления их разными другими негласными способами; министр его, как бывший профессор, привыкший установлять основные начала, им самим и открытые, и верить в их непогрешимость. Из соединения этих двух доктринеров противоположного рода возникла особая система конституционного правления, старавшаяся водворить в стране переворотов мудрствующую, резонирующую и себя проверяющую свободу. Система располагала множеством приманок для энергических людей, которым нужно было составить себе имя, положение, карьеру, но беспощадно относилась к тем, которые не признавали ее призвания водворить порядок в умах и ее учение о важности правительственных сфер и строгой иерархической подчиненности. Доброй части французов, однако же, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить без всякой надежды на успех какой либо внезапной, политической импровизации, какого либо отчаянного и счастливого покушения (coup-de-tète), которые, сказать мимоходом, все подавлялись с особенной энергией и скоростью министерством Гизо в течение восьми лет,—жить так—значило, по собственным словам партизанов непосредственной народной деятельности, обречь себя на позор перед потомством. Партии истощались в усилиях подорвать министерство, и в 1848 году,

совершенно случайным образом, опрокинули его, но уже вместе с конституционной монархией.

Говоря правду, им действительно не за что было любить это министерство. Его «мещанская» честность и стыдливость мешали ему лакомить Францию фразами о ее призвании побеждать народы, к вящщему их преуспеянию, и воспрещали также разделять восторги толпы к недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, как временем доблестей и слáвы. Оно вдобавок неустанно обличало пустоту и ничтожество народных идеалов, проектов революционного обновления государства и различных, укоренившихся догматов народного самолюбия и тщеславия. Вся эта добропорядочность поведения не могла сделать, конечно, правления Гизо популярным в его отечестве. Да он и не гнался за популярностию, презирая ее столько же, сколько и героев, вознесенных клубами и партиями, и рассчитывая единственно на поддержку деловой, степенной части населения, которая в нужную минуту ему, однако же, позорно изменила, как известно. Взамен популярности, он искал почетного имени в истории, и думал его найти вместе со своим старым королем, сделав из Франции свободное и благочинное государство, водворяя в нем конституционные *нравы*, работая неусыпно за обузданием крайних политических страстей—и все это под перекрестным огнем печати, которая, несмотря на пресловутые *сентябрьские* законы, пользовалась при нем свободой, не имевшей себе подобия на континенте, за исключением маленькой Бельгии и некоторых кантонов Швейцарии. Притом же, каждый день

Гизо приносил свою систему на публичное обсуждение в тогдашние, почти постоянно бурные заседания палаты депутатов, где он часто достигал до героизма в откровенности и до цинизма в ответах врагам. Впоследствии вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституционный фундамент для страны, нагло объявлена была, при второй империи, презренной игрой в парламентаризм и заменена игрой полицейских агентов на улицах, скандальной журналистикой в печати и законодательным корпусом в четырех глухих стенах, без прав трибуны и без гласности.

Из боязни прослыть эгоистическим «буржуа», лишенным органа для понимания народных стремлений и скрытых бедствий работающих классов, немногие решались тогда высказывать вполне все, что они думали о Париже 40-х годов. Достоверно, однако же, что путешественники имели тогда дело с городом вполне изящным по своим приемам и обычаям, который отличался, как естественным следствием конституционных порядков, мягкостию сношений, отсутствием мелкой подозрительности к людям, возможностью для всякого иностранца отыскать сочувствие, симпатический отголосок на любое серьезное мнение или начинанье, а, наконец, и относительною честностью всех сделок частных людей между собою. Все это, как известно, исчезло тотчас же при второй империи. Для подтверждения этого краткого очерка достаточно поставить его в параллель с тем, чем сделался город Париж после потери июльской конституции.

На совести и репутации Гизо, конечно, есть несколько пятен. Так, его упрекали в употреблении неблагородных средств для поддержания своей системы, в подкупах избирателей и особенно в том, что, для легчайшего управления ими, он держал число избирателей на ограниченной цифре, какую застал сам. Все это правда и опровергнуто быть не может, но правда также и то, что упрочить конституционные порядки во Франции он мог только, как доказал это последующий опыт, единственно с тем персоналом единомышленников, который находился у него в руках. Таким знатокам английской истории, как король Луи-Филипп и Гизо, не могло быть безъизвестно, что только *упроченная* конституционная система бывает способна к перестройке себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своих оснований. Пример английской конституции был налицо: она имела тоже свои эпохи «*снисходительных*» подкупных парламентов, но не только победоносно вышла из всех опасностей и затруднений, а изменила все законодательство о выборах в камеру общин, восстановила право обиженных местностей и сословий на посылку депутатов в парламент и переформировала весь состав представительства, не утеряв при этом ни на волос коренного своего значения и влияния на страну. Весь вопрос, таким образом, сводился для Гизо и его администрации на *упрочение* конституции, и нельзя сказать, чтобы он слепо, эгоистически и бессознательно защищал действующие законы о выборах. В жару прений о расширении их он не раз заявлял мнение, что дело изменения их не

может ограничиться в такой стране, как Франция, одним присоединением *способностей* к лику избирателей. За этим присоединением «способностей» он уже прозревал новые уступки и всеобщее народное голосование—тот грубый и ничего не выражающий ответный вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю только слова, брошенные им в ее среду, что и совершалось постоянно при Наполеоне III. Как бы то ни было, но позволительно предположить, что парламентаризм Гизо и Луи-Филиппа, столько преследуемый и позоримый впоследствии их врагами, поднял бы в постепенном, прогрессивном своем развитии благосостояние Франции и рабочих ее классов, не менее последующих *декретов* второй империи о национальных мастерских, о перестройке целиком заново Парижа, о создании «городков» для мастерских (cités ouvrières) и проч.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФРАНЦИИ. — МНЕНИЕ ГРАНОВСКОГО. — ТРАКТАТЫ ПРУДОНА, КАБЕ И ФУРЬЕ. — НОВЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ БЕЛИНСКОГО. — ЖИЗНЬ КРУЖКА.

Нужно ли говорить, что сочувствием нетерпеливых или пылких умов в Европе пользовалась совсем не Франция Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала против ее конституционных затей, не отвечающих, по ее мнению, духу страны. В самом деле, что за надобность была германским передовым людям, а за ними и другим кружкам политиков до какой то новой Франции, старающейся держаться в границах своей хартии, Франции приличной, благопристойной и тем самым извращающей все старые понятия о стране, которые сложились у народов с конца прошлого столетия. Для них это была совершенно неведомая Франция, которую они и изучать не хотели, а искали прежней, еще недавней, хорошо всем знакомой, типической Франции, той, которая имеет абсолютные решения по всем вопросам социального, политического и нравственного характера, а когда они слишком долго медлят своим появлением, принимает меры вызвать их силой. Вот эта последняя, старая Франция и была еще тогда для многих в Европе исконной, вековой Францией, а другая, только что

начинавшаяся показываться на политическом горизонте, считалась подлогом, навождением злого духа, словом–призраком, самозванно подменившим родовую физиономию страны какою то отвратительно-гладкой глупой маской. Не зная, чем объяснить это превращение, заграничные партии объясняли его не иначе, как насилием беспримерным в летописях истории: смирный король гражданин, Луи-Филипп, постоянно честился, у себя дома и за порогом его, прозвищем «le tyran», Гизо называли за границей, например,—в Англии, конституционным «герцогом Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрение русских кружков на Францию недалеко отходило от общего представления ее дел, сложившегося у крайних либералов Европы: у нас тоже искали потаенной Франции, вместо той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно сменит вторую. Смена и действительно произошла скорее, чем ожидали ее—и дала совсем непредвиденные результаты. Она именно очистила дорогу великолепной французской империи, которая так хорошо отмстила за все предшествовавшие ей правительства, рассеяв и подавив как своих, так и их врагов. Кажется, в этой роли Немезиды и состоит все ее историческое призвание. В России один только Т. Н. Грановский, по особенному историческому чутью, которым был наделен, и по присущему ему чувству истины, старался как можно менее вторить хору ругателей монархии Луи-Филиппа, а в числе его ругателей были у нас очень высокопоставленные правительственные лица. Помню, что летом 1845 года несколько слов, сказанных мною в за-

щиту Гизо, на даче в Соколове (близ Москвы), возбудили общий насмешливый протест друзей. Грановский, однако же, при самом разгаре спора взял меня за руку и, уводя в соседнюю аллею, промолвил им с юмором в интонации, непередаваемым на бумаге: «Оставьте нас с ним наедине потолковать, господа, и об нас не беспокойтесь. Мы к вам вернемся порядочными людьми». И тогда то выразил он мнение, что политические идеалы Гизо преднамеренно узки и скромны, соответственно тому невеликому представлению о политических способностях французов, которого министр никогда не скрывал. «Но пренебрежение к народному духу»—добавил Грановский—«не может обойтись даром во Франции: она знает, что этому духу обязана своим местом и ролью в истории Европы. Так или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержит: они и умны, и ошибаются не по французски, и вот это то им не простится». Я не думал тогда, что слова Грановского были—пророчество.

Надо заметить и то, что борющаяся и так интересовавшая всех позади стоящая революционная Франция производила свои нападки на строй конституционной жизни и порядки, ею заведенные, с большою ловкостию, энергиею и замечательным талантом: она почти вся состояла из даровитейших людей эпохи. Группа писателей, преследовавшая свистками систему Луи-Филиппа, производила неотразимое впечатление на лиц, образованных литературно, да обладала и другим привлекательным качеством. Она поднимала, кроме вопросов текущего дня, перед которыми

мы всегда чувствовали слабость своего практического опыта и суждения, еще и всего более широкие, отвлеченные вопросы будущности, темы нового социального устройства Европы, смелые постройки новых форм для науки, жизни, нравственных и религиозных верований, а наконец, критику всего хода европейской цивилизации. Здесь мы уже были, что называется, на просторе, приученные измала к великолепным ипотезам, к широким, изумительным обобщениям и умозаключениям.

Таким образом, когда осенью 1843 года я прибыл в Петербург, то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни.

Книга Прудона «de la Propriété», тогда почти—что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников; гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье—все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода *. Да оно и понятно. В огромном большинстве случаев трактаты эти были те же метафизические эволюции, только эволюции, перенесенные на политическую и социальную почву. За ними туда и последовали целые фаланги русских людей, обрадованных возмож-

* *Я уже не говорю о новой религии* „человечества", изложенной фантастическим теозофом Пьером Леру, в его книге „de L'Humanité": она по близости к надоевшему поэтизму и невыдержанности мысли в философском отношении, к чему мы были всегда очень чувствительны, не имела особенного успеха. Я цитирую разные книги на память, может быть, не совсем точно обозначая их полное заглавие.

Примечание автора.

ностию выдти из абстрактного отвлеченного мышления без реального содержания к такому же абстрактному мышлению, но с кажущимся реальным содержанием.

Та часть верных и зрелых практических указаний, какая заключалась в этих трактатах, и чем европейский мир не замедлил воспользоваться—всего менее обращала на себя наше внимание, да и не в том было вообще призвание трактатов на Руси. В промежутке 1840—43 г.г. такие трактаты должны были совершить окончательный переворот в философских исканиях русской интеллигенции, и сделали это дело вполне. Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников. Теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился Луи Блан с известным трактатом: «Organisation du travail» образовали у нас особенную школу, где все эти учения жили в смешанном виде и исповедывались как то зараз адептами ее. В такой не слишком плотной и солидной амальгаме вышли они лет через пятнадцать после того на свет и в русской печати.

Белинский пристроился к общему направлению, как только первые лучи социальной метафизики дошли до него, но и тут, как в философский период, он начал с начала. Сам Белинский ни с кем не переписывался за границей, но до нас доходили слухи через приезжающих,

что он погружен в чтение пространной «Истории Революции 1789 года» Тьера [1]. Пресловутое творение Тьера, не очень глубоко понимавшего эпоху, но очень эффектно излагавшего наиболее выпуклые ее стороны, ввело его в новый мир, доселе мало знакомый ему и понудило итти далее в изучении его. Уже на моих глазах в Петербурге принялся он за историю того же события, отличавшуюся вполне отсутствием всякой поверки лиц и дел, именно за сочинение Кабе— «Le peuple», который находил признаки необъятного коллективного ума во всех случаях, когда вступали в дело народные массы, и который объяснял, наконец, даже падение республики трогательным, святым добродушием тех же масс, одерживающих победы над врагами не для себя, не для извлечения немедленной пользы из события, а для прославления своих принципов— братолюбия, равенства и справедливости. Впрочем, эти и другие совершенно противоположные по духу сочинения служили Белинскому просто средством отыскать первые семена социализма, заброшенные переворотом 89-го года на европейскую почву: ему нужно было видеть его зачатки с конвентом, парижской коммуной, героями старого коммунизма, Бабефом и Буонаротти, чтобы распознать современную его физиономию и понять основательно некоторые его ходы в нашу эпоху. Никакого решения по всем этим явлениям он не имел, да и всеми предлагаемыми тогда решениями был недоволен. Необычайное

[1] 8-го сентября 1841 г. Белинский писал В. П. Боткину: „Я читаю Тьера..... Новый мир открылся предо мною. Я все думал, что понимаю революцию—вздор—только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают. Великая нация французы“.

впечатление произвела на него только книга Луи Блана «Histoire des dix ans», тем именно, что показала, какого рода интерес и какую массу поучения и даже художнических качеств может заключать в себе история наших дней, переживаемого, так сказать, мгновения, под рукой сильного таланта, хотя история такого рода и употребляла в дело подчас не совсем испробованные материалы, а подчас и просто городскую сплетню.

По возвращении моем, в 1843 году, в Петербург, почти первым словом, услышанным мною от Белинского, было восторженное восклицание о книге Луи Блана [1]: «Что за книга Луи Блана!» — говорил он. «Ведь этот человек нам ровесник, а между тем, что такое я перед ним, например. Просто стыдно подумать о всех своих кропаниях перед таким произведением. Где они берут силы, эти люди? Откуда у них являются такая образность, такая проницательность и твердость суждения, а потом такое меткое слово. Видно, жизнь государственная и общественная дают содержание мысли и таланту поболее, чем литература и философия». Очевидно, эстетическое и публицистическое направление уже потеряло для Белинского свою привлекательность и отодвигалось на задний план в его уме: но все же волей и неволей он оставался при нем, потому что только с помощию его можно было поднимать самые простые вопросы общественной мо-

---

[1] В письме к В. Боткину от 31 марта—3 апреля 1843 г. Белинский пишет об „Histoire des dix ans“ Луи Блана: „Превосходное творение! Для меня оно было откровением. Луи Блан—святой человек—личность его возбудила во мне благоговейную любовь“. Позже его отношение к работам Л. Блана изменилось (см. в письмах 1846—47 гг.).

рали и касаться, хотя и косвенно, предметов русского современного быта и развития. Подобно тому, как крестьяне покупали тогда нужные им земли на имя задаренного ими помещика, так покупалось право в литературе говорить о самом пустом, но все таки публичном деле, и о смысле того или другого всем известного общественного явления, призывая на помощь и выставляя вперед грамматику, математику, хорошие или дурные стихи, даже водевили Алексаидринского театра, московские романы и т. д.

Таково было действие французской культуры на добрую половину нашего русского мира. Но вот что замечательно. Изменяя свой способ воззрения на призвание писателя и помещая задачи литературы уже в среде общественных вопросов, ни Белинский, ни весь кружок тогдашних западников и не думал выбрасывать прежних своих представлений за борт, как негодный баласт, не приносил никакой каннибальской жертвы из коренных оснований прежнего своего созерцания. Как ни различно было у них понимание сущности некоторых политико-экономических тем, как ни горячи были между ними споры по частностям и способам приложения новых полученных идей, весь кружок сходился, однако же, безусловно в некоторых началах: он одинаково принимал нравственный элемент исходной точкой всякой деятельности, жизненной и литературной, одинаково признавал важность эстетических требований от себя и от произведений мысли и фантазии, и никто в нем не помышлял о том, чтоб можно было обойтись, например, без искусства, поэзии и творчества вообще как

в жизни, так и при политическом воспитании людей. Кстати заметить, что в виду частых споров между друзьями было выражено позднее в литературе нашей подозрение, что самый круг делился еще на баричей, потешавшихся только идеями, и на демократические натуры, которые принимали горячо к сердцу все философские положения и делали их задачами своей жизни. Мнение это может быть отнесено к числу догадок, которыми удобно отстраняются затруднения точного определения явлений. В круге, о котором идет дело, не всегда только «баричи» старались уйти от строгих заключений и выводов, какие необходимо истекают из теоретических положений, и не всегда только «демократы» понимали яснее своих товарищей сущность начал и старательнее их доискивались последнего слова философских проблем. Очень часто роли менялись, и врагами увлечений и защитниками крайних мнений делались не те лица, от которых вернее всего было ожидать подобных заявлений, что можно было бы подтвердить многочисленными примерами. Дело в том, что отличительную черту всего круга надо искать в другом месте и прежде всего в пыле его философского одушевления, который не только уничтожил разницу общественного положения лиц, но и разницу их воспитаний, привычек мысли, бессознательных влечений и предрасположений, превратив весь круг в общину мыслителей, подчиняющих свои вкусы и страсти признанным и обсужденным началам. Темпераменты в нем, конечно, не сглаживались, психические и философские отличия людей проявлялись свободно, большая или

меньшая энергия в понимании и в выражении мысли существовала на просторе, но все эти силы шли во след и на служение идее, господствовавшей в данную минуту, которая роднила и связывала членов круга в одно неразрывное целое и, если можно так выразиться, сияла одинаково на всех лицах. Бывали в недрах круга и упорные разногласия, — ожесточенная борьба не раз потрясала его до основания, как мы уже говорили и увидим еще далее, но междоусобия эти происходили исключительно по поводу прав того или другого начала на господство в круге, по поводу водворения той или другой философской или политической схемы в умах и упрочения за ней прав на сочувствие и повиновение. Других побуждений и другого дела круг этот не знал. Так шло до 1845 года, когда под тяжестию собственной своей слишком абстрактной задачи и под напором новых общественных и социальных вопросов—круг стал распадаться и распался окончательно к 1848-му году, оставив после себя воспоминания, которые еще не раз, думаем, будут обращать на себя внимание мыслящих русских людей.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ГРАНОВСКОГО. — ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ.—МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ.—ЭПОХА СОРОКОВЫХ ГОДОВ.

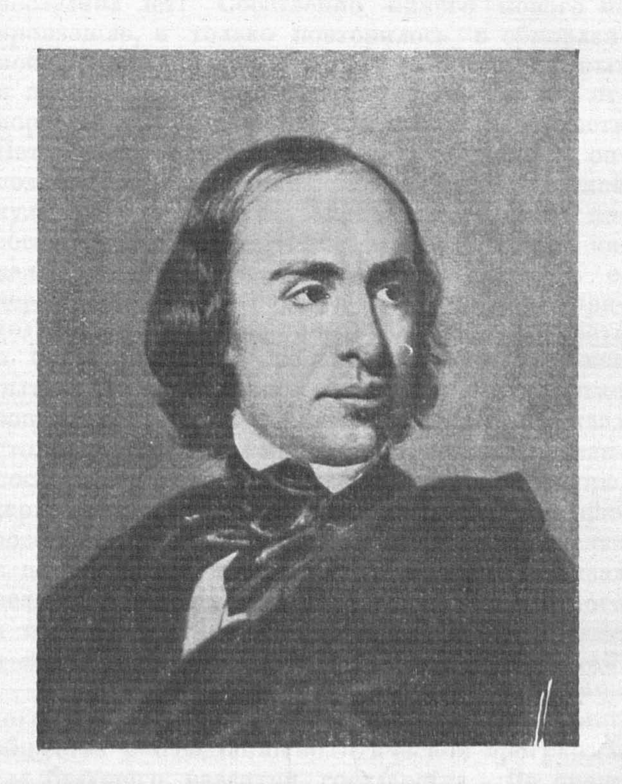
Осенью 1843 года, проездом через Москву, я познакомился с Г[ерценом], а также и с Т. Н. Грановским и со всем кругом московских друзей Белинского, которого знал доселе только по наслышке. Я еще застал ученое и, так сказать, междусословное торжество, происходившее в Москве по случаю первых публичных лекций Грановского, собравшего около себя не только людей науки, все литературные партии и обычных восторженных своих слушателей—молодежь университета, но и весь *образованный* класс города—от стариков, только что покинувших ломберные столы, до девиц, еще не отдохнувших после подвигов на паркете, и от губернаторских чиновников до неслужащих дворян. Единодушие в приветстви симпатичного профессора со стороны всех этих лиц, разделенных между собою всем родом своей жизни, своих занятий и целей, считалось тогда очень знаменательным фактом, и, действительно, факт имел некоторое значение, обнаружив, что *для* массы публики существуют еще и другие предметы уважения, кроме тех, которые издавна указаны ей общим голосом или

официально. С такой точки зрения, публичные лекции Грановского, пожалуй, могли считаться и политическим событием, хотя сам знаменитый профессор, посвятивший свои чтения сжатым, но выразительным очеркам нескольких исторических лиц, постоянно держался с тактом и достоинством, никогда его не покидавшими, на той узкой полосе, которая была отведена ему для преподавания. Он сделал из нее цветущий оазис науки, какой только мог. В мастерских его руках эта узкая полоса исследования получила довольно большие размеры и на ней открылась возможность делать опыт приложения науки к жизни, морали и идеям времени. Лекции профессора особенно отличались тем, что давали чувствовать умный распорядок в сбережении мест, еще недоступных свободному исследованию. На этом то замиренном, нейтральном клочке твердой земли под собой, им же и созданном и обработанном, Грановский чувствовал себя хозяином; он говорил все, что нужно и можно было сказать от имени науки и *рисовал* все, чего еще нельзя было сказать в простой форме мысли. Большинство слушателей понимало его хорошо. Так поняло оно и лекцию о Карле Великом, на которую и я попал [1]. Образ восстановителя цивилизации в Европе был в одно время и художественным произведением мастерской кисти, подкрепленной громадною, переработанной начитанностью и указанием на настоящую роль всякого могущества и величества на земле. Когда, в заключение своих лекций, профессор обратился

[1] Темой лекции Грановского была средневековая история Франции и Англии. *Прим. автора.*

прямо от себя к публике, напоминая ей, какой необъятный долг благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получили блага цивилизации и человеческого существования, доставшиеся ей путем кровавых трудов и горьких опытов,—голос его покрылся взрывом рукоплесканий, раздавшихся со всех концов и точек аудитории.

Это единодушие похвалы за смелость профессора (смелость могла тогда заключаться в публичном заявлении сочувствия к Европе) породило мысль у некоторых из друзей его, что наступила настоящая минута примирения между двумя большими литературными партиями—западной и славянофильской, спор между которыми уже сильно разгорелся в промежуток 1840 —43 гг. С целью свести противников и приготовить их сближение, затеян был в следующем 1844 году дружеский обед, на котором присутствовали почти все корифеи двух противоположных учений, какие находились тогда в Москве: они подали на нем друг другу руки и объявили, что одинаково связаны служением науке и одинаково уважают все бескорыстные убеждения, порождаемые ею. Но *дипломатический* мир, когда борьба не исчерпана еще вполне, редко вносил прочные основания для мира между людьми. Поводы к разладу между собравшимися на обед существовали еще в таком обилии, благодаря стечению многих обстоятельств, а в том числе и деятельности Белинского, что, с окончанием, можно сказать, последнего заздравного тоста на обеде все стояли опять на старых местах и в полном вооружении.



Т. Н. Грановский.

Что же произошло в промежуток этих трех последних лет? Собственно ничего нового не произошло, а только повторилось в обновленной форме и на других, гораздо более сложных и продуманных основаниях—старое явление отпора Москвы цивилизаторской заносчивости Петербурга. Москва *делала* консервативную оппозицию, на основании старых начал русской культуры,—Петербургу, провозглашавшему несостоятельность почти всех старых русских начал перед общечеловеческими началами, т. е. перед европейским развитием. Не раз уже приходилось обеим нашим столицами вступать в борьбу на этой почве, но никогда, может быть, спор между ними не захватывал столько вопросов научного свойства и не обнаруживал столько талантов, многосторонней образованности, хотя и принужден был, по обыкновению, держаться на литературной, эстетической, философской и частию археологической аренах и притворяться, никого, впрочем, не обманывая невинным спором двух различных видов одного и того же русского патриотизма, а иногда даже и пустым разногласием двух школьных партий.

В сущности, дело тут шло об определении догматов для нравственности и для верований общества и о создании политической программы для будущего развития государства. Не очень точны были прозвища, взаимно даваемые обеими партиями друг другу в виде эпитетов *московской и петербургской* или *славянофильской и западной,*— но мы сохраняем эти прозвища потому, что они сделались общеупотребительными, и потому, что лучших отыскать не можем: неточности та-

кого рода неизбежны везде, где спор стоит не на настоящей своей почве и ведется не тем способом, не теми словами и аргументами, каких требует. Западники, что бы о них ни говорили, никогда не отвергали исторических условий, дающих особенный характер цивилизации каждого народа, а славянофилы терпели совершенную напраслину, когда их упрекали в наклонности к установлению неподвижных форм для ума, науки и искусства. Деление партий на *московскую* и *петербургскую* можно допустить несколько легче и оно понятно, в виду той массы слушателей, которая там и здесь пристроилась к одному из двух противоположных учений; но и оно не выдерживает строгой поверки: как раз к обществу Москвы принадлежали влиятельнейшие западники, как Чаадаев, Грановский, Г[ерцен] и др., а в Петербурге издавался журнал «Маяк», который в манере защищать старые авторитеты напоминает современного нам, пресловутого Veuillot [1] и может назваться «Père Duchêne'ем» [2] консерватизма, преданий и идеалов старины. В Петербурге же сочувствие к славянофильству в высших слоях общества сказывалось много раз и очень явственно. Мы увидим даже, что враждующие имели еще пока чрезвычайно много точек соприкосновения между собою, впоследствии ими утерянных; что в среде их существовали мысли, предметы, убеждения, перед которыми умолкали разногласия. Когда я познакомился с Г[ерценом], он нам читал

---

[1] Louis Veuillot (1813—1883), французский публицист, представитель католической партии.

[2] „Père Duchêne“—газета, выходившая во время французской революции и отличавшаяся резкостью и грубостью суждений.

только что написанную им известную остроумную параллель между Москвой и Петербургом [1]. Сопоставляя упорство Москвы в сохранении всяческих почтенных и непочтенных своих особенностей, с развязностью Петербурга, не признающего важности ни в чем на свете, кроме разве *приказания*, полученного из надлежащего источника, Г[ерцен] все таки не мог скрыть, несмотря на все свои юмористические и саркастические выходки, жертвой которых были в равной степени обе столицы наши, своего тайного благорасположения к одной, старейшей из них,—благорасположения, от которого он не освободился и в период заграничной эмиграции. Да он и не старался от него освободиться, а напротив, как будто сберегал в себе это чувство. А уж это ли не был западник! Много таких примеров благородной невыдержанности убеждений встречается и в других лицах обеих партий.

Тем не менее, борьба между партиями шла оживленная, особенно несколько позднее и после того, как она успела поставить себе определенные цели, да и было за что бороться. Образованный русский мир как бы впервые очнулся к 30-м годам, как будто внезапно почувствовал невозможность жить в том растерянном умственном и нравственном положении, в каком стоставался дотоле. Общество уже не слушало приглашений отдаться просто течению событий и молча плыть за ними, не спрашивая, куда его несет ветер. Все люди, мало-мальски пробужденные к мысли, принялись около этого времени

---

[1] „Москва и Петербург“ (1842 г.). См. в „Полн. собр. соч. Герцена“ (под ред. М. К. Лемке), т. III.

искать, с жаром и алчностию голодных умов, основ для сознательного разумного существования на Руси. Само собою разумеется, что с первых же шагов они приведены были к необходимости, прежде всего, добраться до внутреннего смысла русской истории, до ясных воззрений на старые учреждения, управлявшие некогда политическою и домашнею жизнию народа и до правильного понимания новых учреждений, заменивших прежде бывшие. Только с помощью убеждений, приобретенных таким анализом, и можно было составить себе представление о месте, которое мы занимаем в среде европейских народов, и о способах самовоспитания и самоопределения, которые должны быть выбраны нами для того, чтобы это место сделать во всех отношениях почетным. Все зашевелилось: искания пошли, как известно, с двух противоположных точек, и рано или поздно должны были привести исследователей к столкновению. Шум первых их ошибок и составил содержание всей эпохи нашего развития, которая обозначается общим именем—эпохи сороковых годов.

Люди этой эпохи не раз уже обзывались, даже и при их жизни, пустыми идеалистами, неспособными вывесть за собой ни малейшей реформы, изменить в чем либо окружавшего их строя жизни. Замечательно, что идеалисты сороковых годов сами почти соглашались с своими судьями и постоянно твердили, даже и печатно, что поколению их, как переходному, суждено только приготовить материалы для реформ и изменений. О доброкачественности и пригодности этих материалов только и шел у них весь спор.

А что спор был не совсем бесплоден—это доказывается семенами развития, которые он заложил, просочив все слои тогдашнего образованного общества, и которые вышли в свет, даже и после систематического искоренения их в 1848 году, еще полными силы и жизни в двух великих реформах настоящего царствования. Никто, полагаем, не станет опровергать, что начала русской народной культуры, заметные в крестьянской реформе, и начала европейского права, открывающиеся в судебной—приготовлены были издалека тем самым спором, о котором говорим. Можно пожелать и всем нынешним предметам споров такой же завидной исторической участи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЕРЦЕН

Одним из важных борцов в плодотворном диспуте, завязавшемся тогда на Руси, был Г[ер-цен]. Признаться сказать, меня ошеломил и озадачил на первых порах знакомства этот необычайно подвижной ум, переходивший с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету, умевший схватить и в складе чужой речи, и в простом случае из текущей жизни, и в любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дает им физиономию и живое выражение. Способность к поминутным, неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во первых, тонкой наблюдательностью, а во вторых и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Г[ерцена] в необычайной степени — так развита, что под конец даже утомляла слушателя. Неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и изобретения, какая то безоглядная расточительность ума—приводили постоянно в изумление его собеседников. После всегда горячей, но и всегда строгой последовательной речи Белинского, скользящее, беспрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово



А. И. Герцен в 1842 г.

(Карандашный снимок с портрета Рейхеля.)

Г[ерцена] требовало уже от собеседников, кроме напряженного внимания, еще и необходимости быть всегда наготове и вооруженным для ответа. Зато уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношений с Г[ерценом], а претензия, напыщенность, педантическая важность просто бежали от него или таяли перед ним, как воск перед огнем. Я знавал людей, преимущественно из так называемых серьезных и дельных, которые не выносили присутствия Г[ерцена]. Зато были и люди, даже между иностранцами, в эпоху его заграничной жизни, для которых он скоро делался не только предметом удивления, но страстных и слепых привязанностей.

Почти такие же результаты постоянно имела и его литературная, публицистическая деятельность. Качества первоклассного русского писателя и мыслителя Г[ерцен] обнаружил очень рано, с первого появления своего на арену света, и сохранил их в течение всей жизни, даже и тогда, когда заблуждался. Вообще говоря, мало встречается на свете людей, которые бы умели сберегать, подобно ему, право на внимание, уважение и изучение в то же самое время, когда он отдавался какому либо увлечению. Ошибки и заблуждения его носили еще на себе печать мысли, от которой нельзя было отделаться одним только презрением или отрицанием ее. Этой стороной своей деятельности он походил на Белинского, но Белинский, постоянно витавший в области идей, не имел вовсе способности угадывать характера людей, при встрече с ними, и не обладал злым юмором психолога и наблю-

дателя жизни. Г[ерцен], наоборот, как будто родился с критическими наклонностями ума, с качествами обличителя и преследователя темных сторон существования. Это обнаружилось у него с самых ранних пор, еще с московского периода его жизни, о котором говорим. И тогда Г[ерцен] был умом в высшей степени непокорным и неуживчивым, с врожденным, органическим отвращением ко всему, что являлось в виде какого либо установленного правила, освященного общим молчанием, о какой либо непроверенной истине. В таких случаях хищнические, так сказать, способности его ума поднимались целиком и выходили наружу, поражая своей едкостью, изворотливостью и находчивостью. Он жил в Москве на Сивцовом-Вражке еще неведомым для публики лицом, но уже приобрел известность в кругу своем, как остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды; конечно, он не всегда умел держать под спудом тайну тех следственных протоколов, тех послужных списков о близких и дальних личностях, какие вел в уме и про себя. Люди, беспечно стоявшие с ним об руку, не могли не изумляться, а подчас и не сердиться, когда открывались те или другие части этой невольной работы его духа. К удивлению, вместе с нею уживались в нем самые нежные, почти любовные отношения к избранным друзьям, не избавленным от его анализа, но тут дело объясняется уже другой стороной его характера.

Как бы для восстановления равновесия в его нравственной организации, природа позаботилась, однако же, вложить в его душу одно не-



А. И. Герцен в 1842 г.

(Незаконченный портрет Рейхеля.)

одолимое верование, одну непобедимую наклонность: Г[ерцен веровал в благородные *инстинкты* человеческого сердца, анализ его умолкал и благоговел перед инстинктивными побуждениями нравственного организма, как перед единственной, несомненной истиной существования. Он высоко ценил в людях благородные, страстные увлечения, как бы ошибочно они еще ни помещались, и никогда не смеялся над ними. Эта двойная, противоречивая игра его природы—подозрительное отрицание, с одной стороны, и слепое верование—с другой, возбуждали частые недоумения между ним и его кругом и были поводом к спорам и объяснениям; но именно в огне таких пререканий, до самого его отъезда за границу, привязанности к нему еще более закалились, вместо того, чтобы разлагаться. Оно и понятно почему: во всем, что тогда думал и делал Г[ерцен], не было ни малейшего признака лжи, какого либо дурного, скрыто вскормленного чувства или расчетливого коварства; напротив, он был всегда весь целиком в каждом своем слове и поступке. Да была и еще причина, заставлявшая прощать ему даже иногда и оскорбления,—причина, которая может показаться невероятной для людей, его не знавших.

При стойком, гордом, энергическом уме это был совершенно мягкий, добродушный, почти женственный характер. Под суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, под прикрытием очень мало церемонного и нисколько не застенчивого юмора жило в нем детское сердце, Он умел быть как то угловато нежен и деликатен.

а при случае, когда наносил слишком сильный удар противнику, умел тотчас же принести ясное, хотя и подразумеваемое покаяние. Особенно начинающие, ищущие, пробующие себя люди находили источники бодрости и силы в его советах: он прямо принимал их в полное общение с собой, со своей мыслью, что не мешало его разлагающему анализу производить подчас над ними очень мучительные психические эксперименты и операции. Говорить ли о странной аномалии? Он сам чувствовал эту струну добродушия в себе и принимал меры, чтобы она звучала не слишком явственно. Самолюбие его словно было оскорблено при мысли, что, кроме ума и способностей, у него могут подметить и доброту сердца. Ему случалось насильственно ломать природный свой характер, чтобы на некоторое время казаться не тем, чем он создан, а человеком свирепого закала; но капризы эти длились не долго. Другое дело было, когда он попал за границу и укрепился в партии движения: там он принялся за переработку своего характера очень серьезно. Нельзя было оставаться в среде и во главе европейских демократов, сохраняя ту же откровенность в приемах жизни и обхождения, как в Москве. Одно это могло уже уронить человека перед клубным и социалистическим персоналом, который охотно пользуется добродушием, но весьма мало ценит его. Г[ерцен] принялся гримироваться для новой своей публики в человека, носящего на себе тяжесть громадного политического мандата и призвания, между тем, как в сущности его занимали все разнообразнейшие идеи науки, искус-

ства, европейской культуры и поэзии, потому что он был по своему также и поэтом. Следы этой неблагодарной работы над собой оказались особенно после того, как первые попытки его помочь русскому обществу в работе совлечения с себя одежд *ветхого* человека—встретили общее сочувствие: он выработал из себя неузнаваемый тип. Какая готовность попрать все связи и воспоминания, все старые симпатии в интересах абстрактного либерализма, какое надменное легковерие в приеме известий, льстящих личному настроению и ему поддакивающих, и какое неусыпное стояние на карауле при всяком чувстве своем, при всякой частной и национальной склонности, чтобы оно не исказило величественного облика, какой подобает бесстрастному человеку, олицетворяющему судьбу народов! Впрочем, надо сказать, что Г[ерцен] никогда вполне не достигал цели своих стараний. Он не успел выворотить себя на изнанку, а успел только перепортить себя. Он успел еще и в другом—он нажил себе безвыходное страдание, и если чья судьба может назваться трагической, то, конечно, именно его судьба под конец жизни. По необычайно пытливому и проницательному уму он разобрал до последней пылинки ничтожество, пошлую и комическую сторону большинства корифеев европейской пропаганды и, однако же, следовал за ними *. По живому нравственному чувству, которое ему было обще с Бе-

* Мне вспомнился при этом характеристический анекдот. После 1848 г. один из русских эмигрантов С. [1] вздумал составить альбом из портретов тогдашней немногочисленной русской эмиграции, которую называл *Настоящей Россией*. Он обратился к Г[ерцену] за пор-

[1] Н. И. Сазонов.

линским, Грановским и со всей русской эпохой 40-х годов, он возмущался бесстыдством, цинизмом мысли и поступков у *свободных* людей, собравшихся под одним с ним знаменем, и бережно таил свое отвращение. Со всем тем, товарищи его, руководимые чутьем самосохранения, отгадали в нем врага и обратили на него свое обычное оружие—клевету, сплетню, диффамацию, пасквиль. Г[ерцен] остался один *. Но до всего этого было еще далеко. Когда я узнал его, Г[ерцен был в полном блеске молодости, исполнен надежд на себя, составляя гордость и утешение своего круга. В эпоху первых публичных лекций Грановского, он волновался, писал о них статьи и торжествовал успех своего друга так шумно, что, казалось, будто празднует свой собственный юбилей **.

А между тем, связи его с Т. Н. Грановским начались далеко не под счастливыми предзнаменованиями. Замечательно то обстоятельство, что

третом. „Я согласен дать, отвечал Г[ерцен], мой портрет в коллекцию, но с тем, чтобы в нее был принят и сотоварищ мой—крепостной лакей, недавно убежавший от своего барина в Париже. *Прим. авт.*

* К числу поэтических страниц, каких у Г[ерцена] много, принадлежит описание его последнего путешествия в Неаполь и посещения там монастыря кармелитов. Горькие, глубоко-печальные и трогательные мысли, внушенные ему тихим монастырем, показывают состояние его души и принадлежат к драгоценным автобиографическим остаткам, которым следует дорожить по справедливости. *Прим. автора.*

** Горячие статьи его о Грановском в „Московских Ведомостях", 1844, и в „Москвитянине", 1844, еще и тем были замечательны, что и протягивал в них руку славянской партии, предлагая мир на честных условиях. Вот что выговаривал он у нее для своих единомышленников: „Нет положения *объективнее* относительно прошедшего Европы, как положение русского. Конечно, чтоб воспользоваться им, недостаточно быть русским, а надобно достигнуть *общечеловеческого* развития, надобно именно не быть исключительно русским, т. е. понимать себя не противоположным Зап. Европе, а братственным" („Москвитянин", 1844 г., № 7). Партия славянофилов отчасти приняла эти условия мира, как увидим, но с оговорками, много их изменившими.
Прим. автора.

зародыши различных направлений и первые ростки их показались у нас как то зараз в конце 30-х годов и начале сороковых. Едва началось страстное изучение немецкой философии с той *положительной* ее стороны, о которой мы говорили, как на скамьях московского университета уже сформировался кружок молодых людей, обратившихъ внимание не на философские, а на социальные вопросы, поклонявшиеся не Гегелю, а Сен-Симону (1834). Во главе кружка стоял юноша, студент естественно-математического факультета, будущий кандидат его—именно, этот самый Г[ерцен]. Он позже говорил мне, что и он, и его молодая партия смотрели очень подозрительно на Станкевича и Грановского, отзывались враждебно и насмешливо об их занятиях, как о приятном препровождении времени, найденном досужими людьми. Г[ерцен] носился, на первых порах, со своим Сен-Симоном, как с кораном, и рассказывает в собственных записках, что, явясь однажды к Н. А. Полевому, назвал его *отсталым* человеком за равнодушный отзыв о реформаторе. Н. А. Полевой грустно и гневно заметил: «Вот и трудись всю жизнь, что бы первый мальчик назвал тебя никуда негодным. — Погодите, — прибавил он пророчески, — то же будет и с вами». Покамест в уме молодого социалиста жило полное презрение к чистому мышлению и к его представителям на Руси. Это так верно, что когда Г[ерцен] возвратился из первой своей Вятско-Владимирской жизни (1839) в Москву, кружок наших философствующих принял его довольно холодно и не скрыл, что считает его человеком еще не

развитым и отсталого образа мыслей. Обстоятельство это и заставило Г[ерцена] обратиться к источнику благодати, к изучению Гегеля, которым дотоле пренебрегал. Открытие, сделанное им тогда, имело важные последствия. Он усмотрел в системе учителя совсем не то, что видели его новые друзья. Он признавал совпадение истории и человеческого прогресса с ходом идеи, развивающейся диалектически в логике Гегеля, но думал, что моменты видоизменения этой идеи соответствуют только общественным и религиозным переворотам истории. Поступательные шаги в человечестве, по этому толкованию, обнаруживаются тогда, когда какой либо из исторических народов начинает менять старые основы своей жизни. Тогда только и наступают минуты реального осуществления прогрессивных идей в истории. На этих, так сказать, постоянных, но и феноменальных, случайных протестах человечества и зиждется возможность признать единство эволюций и логической идеи с историческими явлениями, а не на основании естественного, рокового и неизбежно-прогрессивного хода человеческого развития. Способ такого понимания допускался системой Гегеля наравне с другими: стоило только перевести идеи учителя из одного разряда фактов в другой. Г[ерцен] привлек к своему образу понимания и староверов философии. Оказалось, что, выступив на литературное и жизненное поприще с враждебным настроением против лучшего, существовавшего тогда круга людей, Г[ерцен] не только сошелся и сговорился с ним, но и стал впереди его, как авторитет,

в вопросах отвлеченного мышления. Философия сделалась в его руках оружием крайне острым и далеко берущим, но славянская партия выставила против нее другое, тоже хорошо испробованное оружие. Таким образом, в начале сороковых годов, после короткой размолвки, Белинский, Грановский, Г[ерцен] и др. были уже сплочены единством стремлений, и хотя внутренние раздоры продолжали еще, от времени до времени, возникать между ними, но при общности принципов и особенно в виду опасного врага, славянофильской партии, они уже никогда не расходились так, чтобы не слыхать голоса друг друга и не отвечать на призыв товарища.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ДОМ ЕЛАГИНЫХ. — ОТНОШЕНИЕ К БЕЛИНСКОМУ. — К. С. АКСАКОВ. — А. С. ХОМЯКОВ. — ПОЛЕМИКА.

Не будучи постоянным жителем Москвы и посещая ее случайно, чрез довольно долгие промежутки времени, я не имел чести познакомиться с домом Елагиных, который, состоя из хозяйки, А. П. Елагиной, племянницы В. А. Жуковского, сыновей ее от первого мужа, известных братьев П. В. и И. В. Киреевских, и семейства, приобретенного в последнем браке,—был любимым местом соединения ученых и литературных знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклонного внимания, в нем царствовавшему, представлял нечто в роде замиренной почвы, где противоположные мнения могли свободно высказываться, не опасаясь засад, выходок и оскорблений для личности препирающихся. Почтенный дом этот имел весьма заметное влияние на Грановского, Г[ерцена] и многих других западников, усердно посещавших его: они говорили о нем с большим уважением. Может быть, ему они и обязаны были некоторой умеренностью в суждениях по вопросам народного быта и народных верований,—умеренностью, которой не знал уединенно стоявший и действо-

вавший Белинский, называвший ее прямо любезностию чайного столика. Обратное действие западников на московских славянофилов, составлявших большинство в обществе Елагинского дома, тоже не подлежит сомнению. Все это, вместе взятое, дает ему право на почетную страницу в истории русской литературы, наравне с другими подобными же оазисами, куда скрывалась русская мысль в те эпохи, когда недоставало еще органов для ее проявления *.

Я сам имел случай видеть пример воздействия на Г[ерцена] бесед с людьми другого настроения, несходного с его собственным, хотя в примере, который хочу привести, слышится также и отголосок его прежнего обхождения с социальными вопросами. В одно из утренних моих посещений Г[ерцена], в мезонине его дома на Сивцовом-Вражке, где помещался его кабинет, он заговорил о презрении, которое выражено было Белинским к мужицкому быту вообще, названному им «*лапотной и сермяжной действительностью*». Фраза находилась в разборе какой то пустой книжонки с рассказами из народной жизни, грубо и комически идеализированной автором [1]. «Книжка книжкой,—говорил Г[ер-

---

* Мы слышали, впрочем, что собрания в доме Елагиных все таки должны были прекратиться под конец, вследствие все более и более возраставшей горячности споров между встречавшимися там людьми обеих партий. Довольно привести один пример: в 1845 г. разница в суждениях о памфлете Н. М. Языкова „Не наши“ [2], и о поступке автора, его написавшего, чуть не вызвала дуэли между П. В. Киреевским и Т. Н. Грановским, едва устраненной друзьями их.

Прим. автора.

[1] В рецензии о „Старинной сказке об Иванушке-дурачке“ Н. Полевого.

[2] Об этом см. в „Воспоминаниях“ И. Панаева („Academia“, Лнгр. 1928, стр. 335).

цен],—но отзыв неосторожен и сам по себе, и тем, что дает потачку журналу считать себя большим барином перед народом. За что презирать лапоть и сермяжку? Ведь они не более, как признак крайней бедности, вопиющего недостатка. Можно ли делать из них позорные эпитеты, а между тем такие эпитеты стали распложаться в журнале. Мне иногда бывает очень трудно защищать его. Я, например, ничего не нашел ответить Хомякову, когда он, подобрав эти фальшивые ноты, заметил:—«хоть бы вы растолковали редактору, что он ходит в сапогах потому только, что у него есть подписчики на «Отечественные Записки», а не будь у него подписчиков на «Отечественные Записки», и он недалеко бы ушел от лапотника».

Т. Н. Грановский, по временам, также смотрел не совсем одобрительно на некоторые полемические выходки Белинского, особенно на те, которыми затрогивались личности писателей, но ни он, ни Г[ерцен] уже не допускали и мысли о потворстве славянско-народной партии в ее жалобах на бесцеремонность критика—жалобах, имевших постоянно в виду его анализ прошлых и настоящих литературных «*слав*» России. В мнениях об этих так называемых *славах* они почти постоянно сходились с критиком. Не далее как в 1842 г. Белинский, возмущенный тем, что один из московских профессоров не иначе смотрел на его исследования в области литературы, как на преступления против величества русского народа (lèse-nation), написал довольно злой и остроумный памфлет, под названием «Педант», в котором осмеивал слабые стороны мнений и

приемов своего чересчур желчного противника [1]. Памфлет имел большой успех и, разумеется, раздражил до-нельзя того, кто послужил ему оригиналом. Вероятно, полагая возможным требовать от Грановского важных уступок на основании знакомства по университету и дому Елагиных, обиженный предложил ему, в присутствии многих свидетелей, довольно надменный вопрос: «Неужели после такой статьи он, Грановский, еще решится подать публично руку Белинскому при встрече?» — «Как! подать руку?—отвечал Грановский, вспыхнув:—На площади обниму» *. Говоря вообще, Белинский был, если можно так выразиться, смутителем московской жизни: без его раздражающего слова, может быть, она сохранила бы долее тот наружный вид изящного разномыслия, не исключающего мягких и дружелюбных отношений между спорящими, который составлял ее отличие в первый период великой литературной распри, завязавшейся у нас. Белинский, решительными афоризмами и прогрессивно растущей смелостью своих заключений, ставил ежеминутно, так сказать, на барьер своих московских друзей со своими врагами в Москве. Первый, почувствовавший несообразность положения людей, изловчающихся как можно приличнее и ласковее наносить друг другу если не смертельные, то очень тяжелые раны, был благороднейший и последовательнейший Константин Сергеевич Аксаков. Правда и то, что для него славянизм и русская народная жизнь составляли более, чем

[1] С. П. Шевырева. См. письмо Белинского к В. Боткину от 14 марта 1842 г. („Письма“, т. II, стр. 281).

* Рассказ Белинского. *Прим. автора.*

доктрину или учение, защищать которые обязывает честь: славянизм и народный русский строй жизни сделались жизненными основами его существования и кровию его самого. Г[ерцен] рассказывает в своих записках, как, встретившись на улице, К. С. Аксаков трогательно распрощался с ним навсегда, не признавая в нем более товарища на жизненном пути. С Грановским дело было еще знаменательнее. К. С. Аксаков приехал к нему ночью, разбудил его, бросился к нему на шею и, крепко сжимая в своих объятиях, объявил, что приехал к нему исполнить одну из самых горестных и тяжелых обязанностей своих—разорвать с ним связи и в последний раз проститься с ним, как с потерянным другом, несмотря на глубокое уважение и любовь, какие он питает к его характеру и личности. Напрасно Грановский убеждал его смотреть хладнокровнее на их разномыслия, говорил, что, кроме идей славянства и народности, между ними есть еще другие связи и нравственные убеждения, которые не подвержены опасности разрыва,—К. С. Аксаков остался непреклонен и уехал от него сильно взволнованный и в слезах *. Тогда еще у нас учение и взгляды порождали внутренние интимные драмы.

В доме же Елагиной Г[ерцен] встречался с постоянным своим оппонентом А. С. Хомяковым, в котором чрезвычайно уважал собственную свою способность усматривать в мыслях и фактах присущую им отрицательную сторону, их немощи и болезни, и потому искал диспутов

* Рассказ Т. Н. Грановского. *Прим. автора.*



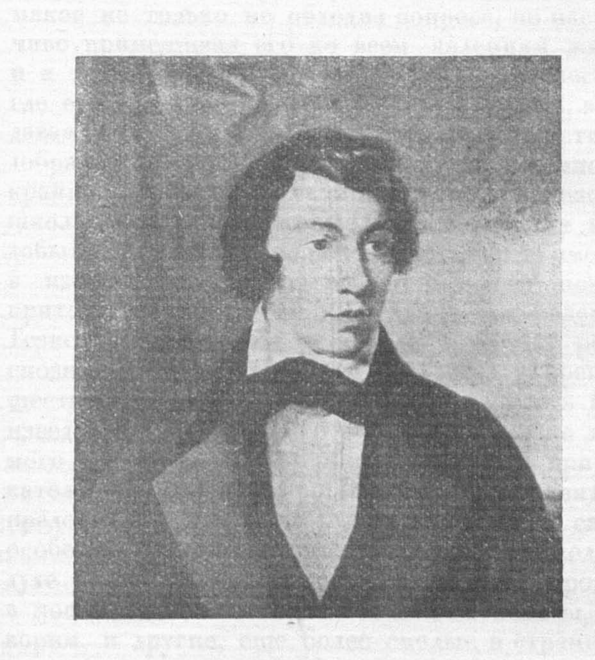
К. С. Аксаков.

и столкновений с противником такой силы, такой эрудиции и такого остроумия. В это время Г[ерцен] уже напечатал свою известную, очень живую, хотя и отвлеченно-философскую статью: «Дилетантизм в науке» («Отечественные Записки» 1842 г.), в которой давал право науке нисколько не беречь дорогих преданий, убеждений, облегчающих существование людей и народов на земле, и уничтожать их без робости, как только они противоречат в чем либо ее собственным научным основаниям. В этом праве науки он находил и ее отличие от дилетантизма, равно неспособного отдаться младенческой душой поэзии народных измышлений и следовать неуклонно по пути анализа и строгого исследования предметов. Этими качествами дилетантизма и объясняется его природная способность мешать всем дойти до окончательных выводов, под предлогом дружелюбной помощи каждой из сторон. Взамен и в вознаграждение каких либо утрат в жизни, автор сулил от имени науки ряд высоких наслаждений ума и таких здравых убеждений, которые с избытком вознаградят за все, что могло быть потрясено или уничтожено ею. Статья обнаруживала страстную, полнейшую веру во всемогущество науки, под которой разумелась все таки философия естествознания, и, несмотря на несколько тяжелый язык, была глубоко радикальной статьей по своему содержанию. При первой встрече с А. С. Хомяковым Г[ерцен] наткнулся, в противоположность своему философскому радикализму, на другой, тоже полнейший радикализм, но совсем иного вида.

Г[ерцен] рассказал сам, в одном из своих заграничных изданий, часть тех сшибок его с Хомяковым, которые касались преимущественно строя, духа и оснований немецкой философии. Из этих сообщений ясно оказывается, что главнейшим аргументом Хомякова против Гегелевой системы служило положение, что из разбора свойств и явлений одного *разума,* с исключением всех других, не менее важных нравственных сил человека, никакой философии, заслуживающей этого имени, выведено быть не может. О другой части своих споров с Хомяковым—теозофской, Г[ерцен] едва упоминает в записках, может быть потому, что она казалась ему гораздо менее важной, чем первая, но позволительно теперь не согласиться с его мнением.

Основным, хотя еще и невысказываемым ясно поводом к этой второй части их диспутов послужило предпринятое тогда А. С. Хомяковым восстановление (реабилитация) византиизма, столь опозоренного между учеными на Западе. Способ понимания и приложения его нашими прямыми, натуральными его защитниками—наставническим персоналом духовных семинарий и академий, увеличивал еще отвращение к нему. С известного письма Чаадаева [1], однако ж, в 1836 году, в котором византиизм объявлялся источником умственного и политического растления всей России и предавался чуть-чуть не проклятию истории, уже нельзя было обойти вопроса о византиизме всякому, кто захотел бы сообщить

[1] „Философическое письмо", напечатанное в „Телескопе" и послужившее поводом к прекращению этого журнала (1836 г.).



А. С. Хомяков.

своим верованиям и убеждениям вид критически обсужденного и рассмотренного дела. А. С. Хомяков не только не обходил вопроса, но настойчиво примешивал его ко всем явлениям жизни и к таким сферам деятельности человеческой, где его присутствие всего менее ожидалось, везде давая ему, под рукою, роль мерила истины, добра и красоты. Ключ к пониманию многих крайне оригинальных мнений и приговоров школы Хомякова, которые шли наперекор всем добытым фактам и положениям, лежит именно в изобретении и употреблении этого нового критериума для оценки исторических явлений. Тезисы и положения ее в роде того, что религиозная сторона западного искусства и преимущественно до-рафаэлевской живописи есть произведение слабосильного мистицизма, а не прямого христианского созерцания, что привлекательный идеал старого русского правителя представляет нам царь Федор Иванович в своей особе, а прекрасный тип правления в народном духе являет царствование Елизаветы Петровны в новой нашей истории,—все эти тезисы, говорим, и другие, еще более смелые и странные, оттого и приводили в такое недоумение противников школы Хомякова, что они не вполне знали ее тайну и не обладали ключом к разбору этих загадок.

Что Хомяков был добросовестен и веровал в свои начала—о том не может быть и слова, но позволительно думать, вместе с тем, что его уму, преимущественно диалектическому, идея поднять знамя византинизма, переделать приговор истории, поворотить общее мнение назад—могла

иметь свою обольстительную сторону. Как бы то ни было, объявляя византиизм великим и еще не вполне оцененным явлением в человечестве, А. С. Хомяков тем самым отрицал и уничтожал громадную массу исторических, критических и теологических трудов Запада, враждебных восточной цивилизации, понижал его кичливость и многие предметы его гордости, как, например, эпохи «реформации» и «возрождения», до смысла второстепенных и даже болезненных явлений человеческой мысли. Реформация была для него жалкой попыткой западных народов исправить религию, прямые источники которой засыпаны католицизмом наглухо, а эпоха «возрождения», ей предшествовавшая, отчаянным призывом, со стороны тех же народов языческого мира, на помощь для создания у себя чего либо похожего на науку, искусство и цивилизацию. Положительная сторона в защите всеспасающего византиизма основывалась у него на представлении и понимании церковного восточного учения, как такого, которое допускает полную свободу мысли при неограниченном авторитете политического или церковного догмата. А. С. Хомяков нисколько не стеснялся историей византийской империи, которая могла противоречить этому положению. Во первых, для него дельной, беспристрастной истории византийских греков вовсе не существовало на свете, и все, что выдается за их историю в Европе, представлялось ему чуть ли не сплошной клеветою или жалким недоразумением, а во вторых, она не могла бы служить ни подтверждением, ни опровержением его мысли, если бы и существовала. Начала, ле-

жавшие в основе восточного христианства, были так глубоки и высоки, что политическое и общественное развитие самой страны за ними не поспевало. Можно себе представлять растление константинопольского двора, общественных нравов и государственных порядков в каком угодно виде, но дух и созерцание, хранимое церковью народа и переданное ею векам, все таки остается единственным фундаментом, на котором может быть утверждено великое, образованное и нравственное — христианское государство. В византийской империи ее церковное учение и есть настоящая ее история, ее мысль и ее право на благодарность народов. В позднейших брошюрах, которые А. С. Хомяков издавал за границей, в пятидесятых годах, под псевдонимом «Ignotus», содержится изложение главных пунктов этого учения и вытекающего из них взгляда на взаимные отношения народа к своим иерархам и властям в христианской общине. Восточное христианство даже рядом и на зло азиатскому деспотизму, иногда становившемуся во главе его, сберегло представление о собрании верных, как прототипе государства, где каждый зависит от каждого, и где каждый есть в одно время и подначальное, и руководящее лицо. Оно допускало фактически, но не знало в принципе деления людей на учителей и учеников, на обязанных повелевать и обязанных повиноваться, потому что все люди имели одно назначение—служить *церкви*, — и малейший из них мог стать рядом с превознесенным членом в течение этой непрерывной службы и по ее требованию. Самые догматы, выработанные восточным христианством,

при всем своем характере непререкаемости и неизменности, еще нисколько не стесняют свободы движения для философской мысли, благодаря полученной ими в «соборах» глубине и всеобъемлемости: они облекают человеческое разумение со всех сторон, как атмосфера или небо облекают нашу землю. Сверх того, философия, как чуждающаяся теологических истин, нравственных и бытовых вопросов, такая, зачатки которой находятся в византийских учителях, отвечает точно так же на требования сердца, как и на запросы самого тонкого метафизического анализа, и по этому двойственному характеру она именно и должна, рано или поздно, пустить живые отпрыски во все виды науки, освежить и обновить умственный быт Европы.

К такому великому делу обновления захудавшего, в нравственном смысле, европейского существования призвана та национальность, которая судьбами истории и провидения сделалась наследницей и представительницей византиизма в мире, какова бы, впрочем, ни была покамест бедная, смиренная, приниженная доля этой избранной национальности.

Более отвлеченного радикального мышления нельзя было противопоставить философскому радикализму Г[ерцена], и последний сознавался, что А. С. Хомяков заставил его прочесть волюминозные истории Неандера и Гфрёрера [1] и особенно изучать историю вселенских соборов,

[1] Август Неандер (1789—1850—духовный писатель, автор книги „Das Leben Jesu“ (Жизнь Христа), написанной против Штрауса. Август-Фридрих Гфрёрер (1803 — 1861)—историк церкви католического направления.

мало знакомую ему, для того, чтобы восстановить некоторого рода равновесие в споре с противником и иметь возможность поверять обильные ссылки Хомякова на законы и параграфы соборных постановлений, которыми он сыпал на память, противопоставляя их точным немецким тезисам Г[ерцена].

Если основное положение Хомякова, точка исхода всей его системы, имело такой радикальный характер, то само собою разумеется, что выводы, практические приложения, политические, исторические и литературные суждения, ею обусловливаемые, должны были еще в сильнейшей степени носить оттенок пренебрежения к западной цивилизации, сурового взгляда на ее развитие и решительного отрицания большей части ее продуктов. Оно так и было. Сам А. С. Хомяков прилежно следил за ходом и открытием наук, художеств и даже ремесл в Европе, будучи одним из самых развитых людей на Руси, но школа, им образованная, понеслась, как всегда бывает, в данном ей направлении уже без оглядки и осторожности, сохраняемых основателем. Все, с чем носились тогда наши «западники», начиная от романов Ж. Занда, имевших большой успех между ними, по социальным вопросам, которые они поднимали, до новых попыток к устроению политического и экономического быта государств (Конт, Прудон, Мишеле),—все это отстранялось школой Хомякова, как нестоющее внимания. Европа объявлялась несостоятельной для здорового искусства, для удовлетворения высших требований человеческой природы, для успокоения религиозной жажды народов и водворе-

ния справедливости, правомерности и любви между ними. Ей предназначались естественные, финансовые, технические науки, великие промышленные изобретения, создание громадных торговых и военных флотов—словом, баснословные успехи по всем отделам ведения, способствующим материальной стороне существования. Она осуждалась на развитие комфорта, роскоши, богатств, которые и накопляются ею в безмерном количестве. Благосостояние Европы, беспримерное в истории, продолжает еще рости, в ущерб все более и более грубеющему нравственному смыслу ее. Она даже закрывает глаза от восстающей перед ней смерти в образе пролетариата, который расплодился под ее кровом и грозит возобновлением времен варварства. От европейских литератур школа Хомякова брала и помнила только подходящие места из их сатириков, моралистов и обличителей; историки и писатели Европы ценились по количеству упреков и нареканий, какие случалось им проронить относительно своего времени и прошлого их отечества. Иностранная хрестоматия школы вся почти состояла из образцов этого рода, которые и цитировались ею часто и охотно. По свидетельству всех слышавших Хомякова, он производил критику социального и интеллектуального положения Европы с особенным искусством, блеском и остроумием, хотя и в границах приличия и осторожности, свойственных его чуткому уму. Как Г[ерцен] с своей стороны ни старался сдерживать и холодить его критическое воодушевление, он сам еще не избавился от действия этой критики. Слова Хомякова, по нашему мнению, оставили

следы в уме и сердце Г[ерцена] против его воли, может быть, и отразились в позднейшей его проповеди о несостоятельности и банкротстве западной жизни вообще.

На пути этих жарких прений встречалось, однако же, имя, вокруг которого спор шумел и пенился особенно яростно, на подобие потока, встретившегося с неподвижной скалой. Это было имя нашего колосса, который, принимая от сената титул «отца отечества», сказал речь, как бы отвечающую из глубины прошлого столетия на современные волнения потомков: «Нам всегда надлежит помнить участь Царяграда и Византийской империи, для того, чтоб за пустыми занятиями не потерять своего государства». Зато имя этого человека и причислялось наиболее горячими адептами школы к разряду той вольницы, тех изгоев общества и ненавистников русского быта, которых во все времена было много на Руси, не только между приказными и по царевым кружалам, но даже и в почтенных, но особенно строгих семействах. Эти то изгои и произвели реформу, когда один из гениальнейших людей всех веков сделался их представителем и захватил бразды управления московским царством. Радикальнее этого нельзя было отвечать западникам, благоговевшим перед реформой; зато западники и мстили своим противникам, предавая, с своей стороны, поруганию все, что те считали святыней народного духа и народных воспоминаний.

В печати, на скромном поприще тогдашней публицистики, все это, разумеется, являлось в смягченном виде, высказывалось не так ярко

и откровенно. На сцену люди выходили, за очень малыми, всем известными исключениями, несколько принаряженные. Однако же следы домашних бурь должны были отражаться и в журнальной литературе, и действительно отражались. Журнал «Москвитянин», сделавшийся эхом славянофильской школы, доходил в защите своих основных положений—о богатстве русского народного духа, о его религиозной сущности, об элементах смирения, кротости, терпения, мудрости, его отличающих, до крайних границ увлечения, до утверждения, например, что земля русская удобрялась для истории, не как земли западных народов, кровью населений, а только слезами их. Журнал «Отеч. Записки», сделавшийся с 1840 года центром соединения для «западников», в своей проповеди общечеловеческого развития, законы которого одинаковы, как они утверждали, для всех стран, почасту простирал отрицание народных отличий до степени непонимания, казавшейся напускной и предумышленной. Оба журнала вели ожесточенную полемику, и, конечно, не было недостатка с обеих сторон во взбалмошных головах, в «enfants perdus», которых редакции выпускали в виде застрельщиков: они то и производили те курьезы и абсурды, которых можно набрать довольное количество и тут и там. Многие и доселе еще полагают, что эти курьезы и абсурды именно и составляют характеристические черты тогдашней журналистики, но разделять этот взгляд не предстоит возможности. За обоими журналами стояли еще люди, смотревшие гораздо далее того горизонта, которым

ограничивались, по необходимости, публичные органы, ими поддерживаемые. Так, Белинский понимал все вопросы гораздо глубже, чем «Отеч. Записки», где писал, а за Белинским стояли еще Грановский, Г[ерцен] и др., часто вовсе не разделявшие взглядов своего журнала. С «Москвитянином» это еще было очевиднее и резче. Люди, подобные обоим Киреевским, Хомякову, Аксаковым, никак не могут быть привлечены к ответственности за все задорные выходки редакции. По обширности понимания славянофильского вопроса, по дельности и внутреннему значению своих убеждений, они стояли гораздо выше «Москвитянина», который постоянно считался их органом и поддерживался ими наружно.

Таким образом, обе литературные партии в описываемое время (1843) стояли как два лагеря друг против друга, каждый со своими шпагами. Казалось, они уже никогда и не будут встречаться иначе, как с побуждением наносить взаимно удары и обмениваться вызовами, но время, годá прибывающего размышления устроили дело иначе. Уже в половине этого периода, между 1845—46 г., в умах передовых людей обоих станов свершился поворот и начало возникать предчувствие, что обе партии олицетворяют собой каждая одну из существеннейших необходимостей развития, одно из начал, его образующих. Партии должны были бороться так, как они боролись, на глазах публики, для того именно, чтобы выяснить всю важность содержания, заключающегося в идеях, ими представляемых. Только после их усилий, трудов и борьбы можно было распознать, сколько жизненной правды заключается в идее народного, племенного.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ЖИЗНЬ БЕЛИНСКОГО В 1843-44 Г.Г.—ЧТЕНИЕ БЕЛИНСКОГО.—БОРЬБА С СЛАВЯНОФИЛАМИ.

В конце 1843 г. Белинский, уже женатый, занимал небольшую квартиру на дворе дома Лопатина, которого лицевая сторона выходила на Аничкин мост и Невский проспект.

В этом помещении Белинский предоставил себе три небольших комнаты, из коих одна, попросторнее, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьяновым диваном с обязательными креслами вокруг него, а третья – нечто в роде глухого коридорчика об одном окне—предназначалась для его библиотеки и кабинета, что подтверждали шкап у стены и письменный стол у окна. Впрочем, сам хозяин нисколько не подчинялся этому распределению: в столовой он постоянно работал и читал, а диван гостиной служил ему большею частию ложем при частых его недугах; в кабинет он заглядывал только для того, чтоб достать из шкапа нужную книгу. Две задние комнаты занимала его семья, умножившаяся вскоре дочерью Ольгою.

Ребенок этот, а потом сын, проживший не долго и унесший с собою в могилу последние силы отца, да еще цветы на окнах составляли

тогда предмет его ухаживаний, забот и нежнейших попечений. Они одни были его жизнию, которая начинала уже убегать от него и угасать понемногу. Вскоре ему уже предписано было носить респиратор при выходе на воздух, и он шутливо говорил мне: «вот какой я богач сделался! Максим Петрович у Грибоедова едал на золоте, а я дышу через золото: это будет еще поважнее, кажется!»—Часто заставал я его на диване гостиной в совершенном изнеможении, особенно после усиленных трудов за срочной статьей, оставлявших его с головной болью и в лихорадке. Надо сказать, впрочем, что он очень скоро поправлялся после этих пароксизмов, поддерживаемый тем напряженным состоянием духа и воли, которое уже не покидало его с 1842 года, и которое, поднимая его часто с одра болезни и давая ему обманчивый вид человека, исполненного жизни и энергии, разрушало в то же время и последние основы его страдающего организма.

Возбужденное состояние сделалось, наконец, нормальным состоянием его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тех пор, пока болезнь окончательно не сломила его. Самые тихие, дружеские беседы чередовались у него с порывами гнева и негодования, которые могли быть вызваны первым анекдотом из насущной жизни или даже рассказом о каком либо диком обычае иной, очень далекой страны. Кто то однажды рассказал перед ним способ, которым добывал себе евнухов хорошей расы старый египетский паша Мегемет-Али. Мегемет делал именно разию

на какое либо соседнее негритянское племя и приказывал захватывать при этом всех детей мужеского пола; затем над пленными производился строгий выбор, а избранные экземпляры подвергались известной операции, после которой их тотчас же зарывали, по пояс, в горячий песок степи. Половина детей умирала, а другая выдержавшая опыт, рассылалась старым злодеем разным турецким сановникам, в которых он почему либо нуждался. Кровь бросилась в голову Белинскому; он подошел к анекдотисту и произнес жалобным голосом: «зачем вы рассказали это,—мне придется теперь не спать ночь». Жена Белинского вообще чрезвычайно боялась вечеров, когда он засиживался с друзьями в разговорах.

По действию воображения и представительной способности, развитых у него неимоверно, он переносил ненависть на лица, уже отошедшие в область истории, на давно минувшие события, почему либо возмущавшие его. У него было множество врагов и предметов злобы, как в современном мире, так и в царстве теней, о которых он равнодушно говорить не мог. Объективных, то есть, по просту сказать, индифферентных отношений к историческим деятелям или важным фактам истории вовсе и не знала эта страстная природа. Белинский превращался как будто в современника различных эпох, на которых натыкался в чтении, выбирал сторону, которую следовало защищать и боролся с противной стороной, уже давно замолкшей,—так, как будто она сейчас нарушила его нравственный покой и убеждения. Нечто подобное,

в обратном смысле, происходило и с предметами его симпатий, которые он отыскивал в разных веках и у разных народов: он влюблялся в героев своей мысли, вскакивал с места при одном их имени и нередко защищал их от современной критики до последней возможности. Он неохотно расставался со своими друзьями. Но всего более, однако же, тратил он сил на вражду и негодование. Круг врагов его, кроме действительных и состоявших налицо, увеличивался всем персоналом, добытым в чтении: он боролся так же страстно с тенями прошлого, как и с людьми и событиями настоящего.

Можно себе представить, что происходило, когда Белинский покидал безответных своих подсудимых и случайно натыкался на живое, современное лицо, стоявшее перед ним воочию с каким либо ограниченным пониманием серьезного предмета или с какой либо тупой и обскурантной теорией. В то время вообще не умели различать человека от его слова и суждения и думали, что они неизбежно составляют одно и то же. Всех менее допускал это различие Белинский и громовые его обличения в подобных случаях разрывали все связи с оппонентом и не оставляли никакой надежды на возобновление их в будущем. Последствием такого образа сношений со светом была, конечно, необходимость жить в одиночестве или только в сообществе очень близких людей, на что Белинский охотно и осуждал себя, не изменяя нисколько своих приемов мысли и суждений, когда насильно и случайно вводился в другую среду.

Понятно, что в таком же напряженном состоянии духа происходило и его чтение, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученого и отвлеченного содержания. Мы уже упомянули, что в этот период его жизни, оно — чтение это—все прогрессивно разрасталось в сторону экономических и политических вопросов. Такой манеры чтения, какую усвоил себе Белинский, достаточно было, чтобы надсадить и более сильный организм. К книге, к статье, любому учению и мнению, начиная от самых добросовестных трактатов, захватывающих глубочайшие интересы общества и человечества и кончая самыми ничтожными произведениями русской словесности—Белинский всегда относился более чем серьезно, относился страстно, допытываясь психических причин их появления, создавая им генеалогию, разбирая одну по одной черты их нравственной физиономии. Поводов для восторгов и вспышек гнева находилось тут множество. Сколько раз случалось нам заставать его — после оконченной книги, статьи, главы—расхаживающим вдоль трех своих комнат со всеми признаками необычайного волнения. Он тотчас же принимался передавать свои впечатления от чтения, в горячей, ничем не стесненной импровизации. Я находил, что эта импровизация еще лучше его статей, но статьи в таком тоне и не пишутся, да и писаться не могут. Если судить по количеству и массе ощущений, порывов и мыслей, какие переживал этот замечательный человек каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, так быстро сгоревшую на наших глазах, достаточно продолжительной и

полной. К тому следует прибавить, что Белинский так вростался, смеем выразиться, в авторов, которых изучал, что постоянно открывал их затаенную, невысказанную мысль, поправлял их, когда они изменяли ей или нарочно затемняли ее и выдавал их последнее слово, которое они боялись или не хотели произнести. Этого рода обличения были самой сильной стороной его критики. Так, во многих иностранных, преимущественно экономических и социальных писателях, он угадывал направление, которое они примут или должны принять. Так, например, он говорил о Жорж Занде, которого, впрочем, очень уважал, что писательница эта гораздо более связана теми идеями и принципами, которые отвергает, чем сколько сама то думает; о Тьере он замечал, что в его «Истории французской революции» последняя является чем то в роде *божьего попущения,* отчего в ней становится многое непонятным, несмотря на очень ясное и гладкое изложение. Пьера Леру Белинский называл взбунтовавшимся католическим попом и т. д., а о русских наших деятелях и говорить нечего—он почти безошибочно определял всю будущую их деятельность по первым представленным ими образцам ее.

Не мудрено, если при этой постоянной работе его духа приятели его находили, что с каждой новой встречей он уже стоял не там, где его видели накануне: неустанное колесо мысли уносило его часто далеко из их глаз. Полемике его суждено было выразить именно эту сторону его психической натуры, жаждавшей борьбы и движения, подобно тому, как критико-публицисти-

ческие статьи изобличали его способность самообладания и его господство над собственной мыслию.

После этого уже не трудно представить себе, что в войне между западниками и славянофилами Белинский оказался врагом непримиримым, между тем как другие собратья его по оружию, как Г[ерцен] или Грановский и проч., считали себя втайне только временными врагами нашей национальной партии и ждали от лучших ее представителей только разъяснения их программы, чтобы протянуть им руку. Правда, и Белинский пришел позднее к мысли о необходимости разобрать дельное в учении славянофилов от не совсем дельного наноса, да также допустил и оговорки, ограждающие собственное его западное воззрение от упрека в слепой страсти ко всем европейским порядкам, но он последний кинул брешь, которую фанатически защищал от вторжения элементов темного, грубого, непосредственного мышления народных масс, противопоставляя знамя общечеловеческого образования всем притязаниям и заявлениям так называемых народных культур.

Исходной точкой всей ожесточенной полемики его против таких культур и против их защитников было убеждение, что они могут возникать при всяком порядке вещей и уживаться со всяким строем жизни, к которому привыкли или который почему либо излюбили. Наоборот, ему казалось, что основной характер общечеловеческого образования именно и состоит в том, что люди, его усвоившие, подвергают критике и обсуждению все формы существования и удо-

влетворяются только теми, которые отвечают логике и выдерживают самый строгий анализ. На этом основании Белинский делил мир на зрячие и слепые народы, и последние были ему противны по принципу, какими бы в прочем добродетелями, высокими качествами души, способностями и другими знатными преимуществами ни обладали.

Нужно ли прибавлять, что о какой либо справедливости по отношению к людям, народам и предметам не было и помину при этом, да о справедливости Белинский, в пылу битвы, и не заботился, в чем — совершенно походил и на своих противников, поступавших точно так же. И он, и они спасали только свои воззрения, казавшиеся им благотворными по своим последствиям, а о том—сколько падало при их столкновениях напрасных жертв, сколько наносилось грубых ударов, ничем не оправдываемых, идеям и верованиям, сколько страдало задаром репутаций и личностей — никто и не думал. Все это предоставлялось разобрать последующей истории и возвратить каждому должное и заслуженное. Для современников же оставалась горькая, упорная борьба, отчаянная, многолетняя ненависть друг к другу, закоренелая до того, что она даже пережила многих борцов и продолжалась от их имени на их гробах.

Еще до возвращения моего на родину, именно в 1842 г., Белинский, вскоре после своего памфлета «Педант», о котором я уже упоминал, нанес и еще другой, тяжелый удар одной весьма почтенной личности московского круга — ныне покойному К. С. Аксакову. Известно, что К. С.

Аксаков, при появлении первой части «Мертвых душ», в том же 1842 г. написал статью, в которой проводил мысль о сходстве Гоголя по акту творчества и силе создания с Гомером и Шекспиром, находя, что только у одних этих писателей, да у нашего автора обнаруживается дар указывать в пошлых характерах и в самом пороке еще некоторую внутреннюю крепость и своего рода силу, которые почерпаются ими уже от принадлежности к мощной и здоровой национальности. К. С. Аксаков, приравнивая Гоголя к Гомеру, по акту творчества, позабыл при том упомянуть о множестве гениальных европейских писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способностями, которые, таким образом, как будто ставились все ниже Гоголя, а вдобавок—еще прямо объявлял, что в деле романа, понятого как продолжение древнегреческого эпоса, уже ни одно *современное европейское имя* не может быть поставлено рядом с именем Гоголя, ни в каком случае. Ничто не могло возмутить Белинского более этих афоризмов. Тот самый Белинский, который первый провозгласил Гоголя гениальным художником, объявлял теперь и печатно, и устно, что гениальность Гоголя, как создателя типов и характеров, хотя и не может быть опровергаема, но имеет все таки значение относительное. По содержанию и внутреннему смыслу задач, разрешаемых русским автором, она ограничена умственным и нравственным положением страны, и дело, им производимое, не может итти ни в какое сравнение с вопросами и темами европейского искусства, с целями, какие оно

себе задавало и задает теперь в лице лучших своих представителей; что затем никакой предполагаемой крепости и силы народного духа в выводимых Гоголем на сцену лицах не обретается, ни о каком таком значении их, вероятно, автор и не думал, а если и думал, то ребячески ошибался. Вдобавок, Белинский прибавлял, что Гоголь не только не выше всех европейских романистов, но, превосходя многих из них даром непосредственного творчества, наблюдения и поэтического чувства, уступает в объеме и значении основных идей некоторым, даже и не очень крупным явлениям европейской литературы. Все эти заметки наносили достаточно сильный удар новому, предпринятому толкованию Гоголя, но Белинский присоединил еще к этому несколько саркастических выводов из положений своего противника и заключал спор насмешкой. Последним ударом—coup de grâce—этой полемики со стороны Белинского было его заявление, что если судить по некоторым лирическим местам первой части «Мертвых душ», в которых обещаются изумительные откровения внутренней и внешней красоты русской жизни, то Гоголь может, пожалуй, утерять и значение великого *русского* художника. С тех пор имя Белинского пронеслось «яко зло», в лагере славянофилов, и даже сделалось у них как бы олицетворением наносной, ни с чем не связанной, чуждой народу петербургской цивилизации, между тем как сами они отписали за собой Москву, как город, где особенно живет и развивается чуткое понимание русского народного духа со всеми его чаяниями и представлениями.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ОЖЕСТОЧЕННОСТЬ ВРАЖДЫ.—ПОЯВЛЕНИЕ ТУРГЕНЕВА.—ОТНОШЕНИЯ ПАРТИЙ.—СЛАВЯНСКИЙ ВОПРОС.—«МЕРТВЫЕ ДУШИ».—НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Я застал Белинского еще под влиянием этой полемики, раздраженного ею в высшей степени и собирающегося на новые битвы. Не проходило дня, чтоб не завязывался разговор о московском понимании нравственных и политических задач Европы и России, о московских толкованиях Гоголя и сторон русской жизни, им разоблаченных, о московском представлении порядков старо-русского быта и о морали, которая истекает из учения славянофилов, или в нем подразумевается. Повторяем, о справедливости к противникам тут не было и помысла, да и противники платили той же монетой своему петербургскому оппоненту и его партии. Спор сошел на вражду и пререкательство между двумя городами. С обеих сторон патриотизм заключался в том, чтоб унизить одну столицу на счет другой. Для человека, несколько чуждого страстей, в которых истощались обе партии, не было возможности сохранить что либо похожее на свободное мнение. Выхода покамест не существовало. Надо было выбирать между партиями, жертвуя всеми возражениями, которые могли

появляться в уме, при их взаимных напраслинах, и, так сказать, обезличить себя в пользу своей собственной стороны.

Никто не испытал на себе и полнее и болезненнее действие этой перестрелки между двумя центрами нашего развития, как И. С. Тургенев, очутившийся в среде их, когда явился из за границы, выступив вскоре потом и на литературное поприще с поэмой «Параша» (1843 г.). Заподозрив в нем с первых же шагов истого западника, партия, недружелюбно смотревшая на образцы чужого воспитания и развития, словно задалась мыслью—собрать как можно более помех на его жизненном пути. Целая коллекция пустых анекдотов о его словах, выражениях, замечаниях собиралась тщательно противниками и пускалась в ход с нужными прикрасами и дополнениями. О произведениях Тургенева до «Записок Охотника» иначе и не говорилось, как о чудовищностях западного развития, пересаженных, без всяких признаков таланта, на русскую почву. Не так думал Белинский, открывший сразу в «Параше» признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы: «что мне за дело до всех анекдотов о нем,— говорил Белинский: — кто написал «Парашу», тот сумеет поправить себя, в чем будет нужно и когда будет нужно». Слова его и на этот раз оправдались. Быстрое, ослепительное развитие художнического таланта в Тургеневе, вместе с развитием качеств его нравственной природы, его духа благорасположения, терпимости вообще к людям и особенно справедливости к их тру-

дам и убеждениям—примирило с ним всех его бывших преследователей и поставило его самого в центре умственного движения.

Впрочем, в то время между партиями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон... Но еще не наступило время для разъяснения этого примиряющего начала, лежавшего в зерне посреди бранного поля и беспрестанно затаптываемого ногами борцов. Зерно, однако же, проросло, несмотря на все невзгоды, как увидим. Связь заключалась в одинаковом сочувствии к порабощенному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем именно и основанного. Покамест никто еще не хотел видеть сродства в основном мотиве, двигавшем обе партии, и когда, по временам, мотив этот обнаруживался сам собой, партии наши торопились поскорее замять его. Для вящщего укрепления розни не доверяли ни чувствам, ни характеру, ни намерениям друг друга. В Москве говорили по поводу петербургских гуманных протестов: «Петербург сделал из либерализма и своего отчаяния покойное вольтеровское кресло, в котором и иежится». Из Петербурга отвечали на это: «На московских исторических пуховиках еще слаще должно спать, — особенно под гул сорока-сороков». Ко всему этому присоединялись еще и стихотворные перебранки. В Москве писались пасквили и эпиграммы на Белинского и притом людьми, в житейском отношении, не-

сомненно чистого нравственного характера, а из Петербурга им отвечали ругательной песенкой, содержавшей, между прочим такую строфу:

Да, Россия—властью вашей—
Та же, что и до Петра:
Набивает брюхо кашей
И рыгает до утра.

Какое же тут могло быть соглашение?

Раздраженный полемикой, Белинский сделался подозрительным в высшей степени. Так, движимый все тем же опасением за элементы европейского развития, он недружелюбно отнесся и к нашей провинциальной литературе, к появлявшимся тогда сборникам, харьковским, архангельским и другим, усматривая тут намерение образовать маленькие центры цивилизации, в противоположность большим, государственным центрам—петербургскому и московскому—и проводить у себя дома, втихомолку, идеи о самостоятельной народной культуре, которая способна сама отыскать себе все нужные основы.

Пропасть, разделявшая партии, особенно расширилась, когда у нас публично зашла речь о правах на наше патриотическое и народное сочувствие всех иноземных—австрийских, венгерских, турецких славян. Речь эта, впервые поднятая М. П. Погодиным, перешла в русскую печать из оффициальных и частных кругов, где конфиденциально держалась с начала 30-х годов—в таком декламаторском виде, что на первых порах вызвала у Белинского глумление над ее формой и содержанием. Положение, принятое им по славянскому вопросу, имело одинаковый источник с тем, которое он выбрал отно-

сительно славянского вообще. Поводом к отрицанию этого вопроса служило Белинскому опять предположение, что за вопросом скрывается попытка прославления темных народных культур и усилие противопоставить их теперь с некоторой надеждой на успех выработанным началам европейской мысли. В самом деле, попытка на этот раз могла рассчитывать на те невольные симпатии к угнетенным племенам и народам, которые должны жить и действительно жили в русской публике. Никто более самого Белинского не был предрасположен к такого рода сочувствию, но при мысли, что тут может существовать план—возвысить бедное, племенное творчество с его суевериями, заблуждениями и бессознательными проблесками истины на степень равную или даже высшую обдуманных основ и начал европейского образования—при одной этой мысли Белинский устранял все другие соображения и нередко насиловал свое чувство. Так и в настоящем случае вышло, что Белинский хладнокровно относился к доблестным трудам и жертвам тех почтенных иностранных деятелей славянства, которые спасли язык и нравственную физиономию своих племен от конечной гибели посреди других, враждебных им народов. Не более справедливости, впрочем, оказывали и противники Белинского ему самому, когда принимались разбирать основы и побуждения его оппозиции. Они объявляли его человеком, преданным самым узким интересам существования, не имеющим даже и органа для понимания патриотических или народных инстинктов. Они шли и далее. По горячей его защите

государственных приемов Петра I, по заявленным симпатиям к Петербургу, они объявляли его мелким и вряд ли *вполне бескорыстным* централизатором и бюрократом. Централизатором он, действительно, и был, но не в том смысле, как говорили его враги,—не в пользу какого либо существующего уже порядка дел и вещей, а того дальнего, который представлялся ему в виде единения всех народов Европы на почве одной общей цивилизации, под покровом одних законов для разумного существования.

С каким одушевлением говорил он о первых проблесках этой будущей централизации, этого будущего строя жизни, которые усматривал и в сближении европейских народов между собой посредством новых дорог, международных установлений и проч., и в их усилиях создать, не уничтожая родовых и племенных особенностей каждой страны, один общий кодекс для государственного и общественного существования человечества! А вместе с тем, он уже не мог, да и не хотел сдерживать своего негодования, как только ему казалось, что обнаруживаются признаки посягательства на этот мерцающий вдали и еще далеко необработанный кодекс. Все, что затрудняло его осуществление со стороны народного тщеславия, заносчивости этнографов, возвеличивающих ту или другую из народных групп насчет всех других национальностей, или со стороны скептицизма, почерпающего в отрицательных и темных подробностях современной европейской жизни доводы в пользу устранения ее от дел,—все это приводило его в неописанное волнение. Во многом он и заблуждался, как по-

казало время, при восторженном изложении своих надежд на развитие Европы, но он заблуждался—доблестно, как бывает с людьми, глубоко верующими в какую либо великую идею! Белинский до того ревниво охранял добро, собранное старой и новой европейской цивилизацией, что уже подозрительно смотрел на образцы и замечательные произведения других, чуждых ей культур и отзывался о них очень сдержанно. При появлении поэмы «Наль и Дамаянти» в художественном переводе Жуковского, он ограничился напоминовением читателю, как греческий эпос «Илиада» выше измышлений индийского народного творчества. То же самое было и тогда, когда прекрасный перевод Я. К. Грота познакомил русскую публику с финской эпопеей «Калевала», с этим памятником фантазий и представлений народа, некогда населявшего, как говорят всю Европу. Противопоставляя опять финский эпос греческому созерцанию жизни, Белинский находил в первом только безобразную фантазию, чудовищные образы и сплетения, свойственные дикому народу, и которые должны оттолкнуть всякого, кто раз ознакомился со стройностию, мерой и изяществом греческой народной производительности.

Как ни важны были, однако же, все эти вопросы, и к какой яркой полемике ни давали они повод, все же они не могли заслонить ни на минуту перед Белинским чисто русского вопроса, который тогда целиком сосредоточивался у него на одном имени Гоголя и на его романе «Мертвые души». Роман этот открывал критике единственную арену, на которой она могла за-

ниматься анализом общественных и бытовых явлений, и Белинский держался за Гоголя и роман его цепко, как за нежданную помощь. Он как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание «Мертвых душ» вне возможности предполагать, что в нем таится что либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго-обличающих, какие прямо из него вытекают. После всех своих отступлений в область европейских литератур, в область славянства и проч., он возвращался с этого поля более или менее удачных битв опять к своему постоянному, домашнему делу, только освеженный предшествующими кампаниями. Домашнее дело это заключалось преимущественно в том, чтоб выбить из литературной арены навсегда, если можно, как диких, коварных и своекорыстных ругателей гоголевской поэмы, так и восторженных ее доброжелателей, прозревающих в ней не то, что она действительно дает. Он не уставал указывать правильные отношения к ней и устно, и печатно, приглашая при всяком случае и слушателей, и читателей своих подумать, но подумать искренно и серьезно о вопросе—почему являются на Руси типы такого безобразия, какие выведены в поэме, почему могут совершаться на Руси такие невероятные события, какие в ней рассказаны; почему могут существовать на Руси, не приводя

никого в ужас, такие речи, мнения, взгляды, какие переданы в ней.

Белинскй думал, что добросовестный ответ на вопрос может сделаться для человека, добывшего его, программой деятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильного суждения о себе и других.

К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой «натуральной школы», которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был—последний. Школа эта ничего другого не имела в виду, как указание тех подробностей современного и культурного быта, которые не могли еще быть указаны и разобраны никаким другим способом, ни политическим, ни научным расследованием. Кстати заметить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеем риторического, бесталантного, фальшиво - благонамеренного изложения русской жизни, Булгариным, но из вражды к Белинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко презиравшие литературную и критическую деятельность Булгарина. Оно и до сих пор держится у нас, несмотря на свое ироисхождение и на свою бессмыслицу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ПИСЬМО ГОГОЛЯ.—ОТВЕТ. — НОВОЕ ПИСЬМО.—ГОГОЛЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

Покуда все это происходило вокруг имени Гоголя, сам он повернул в такую сторону, куда не пошли за ним и многие из тех, которые считались людьми, разделяющими все его взгляды. В феврале 1844 г. я получил от него неожиданно и после долгого молчания следующее письмо:

«Февраля 10-го, Ницца. 1844.

«Иванов прислал мне ваш адрес и сообщил мне вашу готовность исполнять всякие поручения. Благодарю вас за ваше доброе расположение, в котором, впрочем, я никогда и не сомневался. Итак, за дело. Вот вам поручения: 1-е... (это первое поручение заключалось в понуждении друга Гоголя, товарища его по Нежину, а теперь поверенного по делу печатания «Мертвых душ» в Петербурге, Н. Я. Прокоповича, к скорейшему доставлению наличных вырученных денег и расчетов. Как мало любопытное, мы его пропускаем и прямо переходим ко второму поручению, как самому существенному для нас, которое уже и выписываем целиком, с сохранением орфографии автора).

«2. Другая просьба. Уведомьте, в каком положении и какой приняли характер ныне толки, как о М. душах, так и о сочинениях моих. Это вам сделать, я знаю, будет отчасти трудно, потому что круг, в котором вы обращаетесь, большею частию обо мне хорошего мнения, стало быть, от них, что от козла молока. Нельзя ли чего нибудь достать вне этого круга, хотя чрез знакомых вашим знакомым, через четвертые или пятые руки? Можно много довольно умных замечаний услышать от тех людей, которые совсем не любят моих сочинений. Нельзя ли при удобном случае также узнать, что говорится обо мне в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого,—в какой силе и степени их ненависть, или уже превратилась в совершенное равнодушие? Я вспомнил, что вы можете узнать кое что об этом даже от Романовича *, которого, вероятно, встретите на улице. Он, без сомнения, бывает попрежнему у них на вечерах. Но делайте все так, как бы этим вы, а не я интересовался. Не дурно также узнать мнение обо мне и самого Романовича.

«За все это я вам дам совет, который пахнет страшной стариной, но тем не менее очень умный совет. Tритесь побольше с людьми и раздвигайте всегда круг ваших знакомых, а знакомые эти, чтобы непременно были опытные и практические люди, имеющие какие нибудь занятия; а знакомясь с ними, держитесь такого правила: построже к себе и поснисходительней

---

* Тоже нежинский товарищ Гоголя, пробивавшийся в литераторы с большими усилиями и посещавший для того разные литературные круги. *Прим. автора.*

к другим, а в хвост этого совета положите мой обычай не пренебрегать никакими толками о себе, как умными, так и глупыми, и никогда не сердиться ни на что! Если выполните это, благодать будет над вами, и вы узнаете ту мудрость, которой уж никак не узнаете ни из книг, ни из умных разговоров.

«Уведомьте меня о себе во всех отношениях, как вы живете, как проводите время, с кем бываете, кого видите, что делают все и знакомые и незнакомые.

«В каком положении находится вообще картолюбие и б...любие, и что ныне предметом разговоров как в больших, так и в малых обществах, натурально в выражениях приличных, чтобы не оскорбить никого. Затем, обнимая вас искренно и душевно и желая всяких существенных польз и приобретений, жду от вас скорого уведомления.

Прощайте.—Ваш Г.».

«Адресуйте во Франкфурт на Майне, на имя Жуковского, который отныне учреждается там, и где через месяц я намерен быть сам».

Письмо принадлежало к числу тех, которые удивляли весьма близких к Гоголю людей, как Плетнев, например, своими бесконечными вопросами о толках и мнениях публики по поводу его сочинений. Гоголь требовал особенно перечета наиболее диких и безобразных мнений. Даже и не очень короткие знакомые Гоголя завалены были письмами подобного рода и подали повод думать, что любопытство это, под благовидным предлогом изучения отношений публики к его

деятельности, прикрывает у него особый вид едкого тщеславия, которое способно еще доставлять ему некоторого рода наслаждение. Что касается до меня, я обрадовался письму Гоголя и написал ему пространный ответ с откровенностию и добродушием, которые мне самому напоминали незабвенные вечера в Риме, Альбано, Фраскати и проч., когда мы проводили чудные южные ночи в бесконечных толках и разговорах о всем и о вся, когда за этими разговорами, как не раз случалось в Тиволи, даже вовсе не ложились в постель на ночь, а просиживали до утра на окне траттории, дремля под шум фонтана, который монотонно плескал посреди ее двора, перерезывая великолепные линии древнего греческого храма, высившегося на другом его конце. Тогда все понималось просто и также говорилось. Но я ошибся жестоко—времена переменились. Не предчувствуя еще нового направления, принятого Гоголем, я неожиданно и невольно попал в больное место его мысли и растревожил ее. Хорошо помню, что, отвечая на его вызов, я представил ему положение партий относительно его романа и передавал полемику Белинского с ними, при чем, конечно, не считал нужным отзываться осторожно ни об одной из них. Мне казалось, что я обязан был высказать ему всю мою мысль сполна, как он того просил, и потому, может быть с некоторым излишним пылом и негодованием, говорил и о врагах его из *салонов* Булгарина и Сенковского, и о друзьях его из московской партии. Не подозревая тесных связей, образовавшихся у Гоголя с последней в то время, я впал в одну из тех

опрометчивых искренностей, которые заставляют человека раскаиваться в собственной своей правдивости. Гоголь, призывавший искренность, не выдержал этой и не понял дружеского письма.

В конце его, если не изменяет мне память, находилось еще замечание, что в ту переходную эпоху, в которой мы живем, почти невозможно себе и представить такого дела, которое получило бы отзвук в потомстве, так как оно, вероятно, не захочет и знать о некоторых надеждах и стремлениях нашего времени. Конечно, замечание принадлежало к разряду громких, но незрелых и заносчивых афоризмов, какие в частной интимной переписке сливаются нередко с пера у человека, желающего сказать скорее более, чем менее того, что ему кажется нужным, и не предвидящего вдобавок, что слово его будет прочитано не дружеским, а уже подозрительным глазом судьи и цензора. Можно было ожидать опровержения и разъяснения замечания, но, конечно, не того, что я получил.

С спокойной совестью я отправил мое, не в меру откровенное, письмо, и через два месяца получил на него ответ. Я был просто приведен в недоумение этим ответом. Он содержал в себе строжайший, более чем начальнический, а какой то пасторский выговор, точно Гоголь отлучал меня торжественно от общения с верными своей церкви. Вместо мне знакомого добродушного, прозорливого, все понимающего и классифицирующего психолога—стоял теперь передо мною совсем другой человек, да и не человек, а какой то проповедник на кафедре, им же и воздвигнутой на свою потребу, громящий

с нее грехи бедных людей направо и налево, по власти кем то ему данной и не всегда зная хорошенько, чем они действительно грешат. Тон письма сбил меня совсем с толка, потому что я еще не знал тогда, что роль пророка и проповедника Гоголь уже давно усвоил себе, что в этой роли он уже являлся г-же Смирновой, Погодину, Языкову, даже Жуковскому и многим другим, громя и по временам бичуя их с ловкостью почти что ветхозаветного человека. Привожу это письмо целиком.

Франкфурт, мая 10-го (1844).

«Благодарю вас за некоторые известия о толках на книгу. Но ваши собственные мнения... смотрите за собой; они пристрастны. Неумеренные эпитеты, разбросанные кое где в вашем письме, уже показывают, что они пристрастны. Человек благоразумный не позволил бы их себе никогда. Гнев или неудовольствие на кого бы то ни было всегда несправедливы; в одном только случае может быть справедливо наше неудовольствие, когда оно обращается не против кого либо другого, а против себя самого, против собственных мерзостей и против собственного неисполненья своего долга. Еще: вы думаете, что вы видите дальше и глубже других, и удивляетесь, что многие, повидимому, умные люди, не замечают того, что заметили вы. Но это еще бог весть кто ошибается. *Передовые люди* не те, которые видят одно что нибудь такое, чего другие не видят и удивляются тому, что другие не видят; *передовыми людьми* можно назвать только тех, которые именно видят все то, что

видят другие (все другие, а не некоторые), и опершись на сумму всего, видят все то, чего не видят другие и уже не удивляются тому, что другие не видят того же. В письме вашем отражен человек, просто унывший духом и не взглянувший на самого себя. Если б мы все вместо того, чтобы рассуждать о духе времени, взглянули как должно всякий на самого себя, мы больше бы гораздо выиграли. Кроме того, что мы узнали бы лучше, что в нас самих заключено и есть, мы бы приобрели взгляд яснее и многосторонней на все вещи вообще и увидели бы для себя пути и дороги там, где греховное уныние все темнит [1] перед нами и вместо путей и дорог показывает нам только самое себя, т. е. одно греховное уныние. Злой дух только мог подшепнуть вам мысль, что вы живете в каком то переходящем веке, когда все усилия и труды должны пропасть без отзвука в потомстве и без ближайшей пользы кому. Да если бы только хорошо осветились глаза наши, то мы увидали бы, что на всяком месте, где бы ни довелось нам стоять, при всех обстоятельствах, каких бы то ни было, споспешествующих или поперечных, столько есть дел в нашей собственной, в нашей частной жизни, что может быть сам ум наш помутился бы от страху, при виде неисполнения и пренебрежения всего, и уныние не даром бы тогда закралось в душу. По крайней мере оно бы тогда было более простительно, чем теперь. Признаюсь, я считал вас (не знаю

[1] В тексте Шенрока („Письма Н. В. Гоголя" под ред. В. И. Шенрока, т. II, стр. 432)—„тьмит".

почему) гораздо благоразумнее. Самой душе моей было как то неловко, когда я читал письмо ваше. Но оставлю это, и не будем никогда говорить. Всяких мнений о нашем веке и нашем времени я терпеть не могу, потому что они все ложны, потому что произносятся людьми, которые чем нибудь раздражены или огорчены... Напишите мне о себе самом, только тогда когда почувствуете сильное неудовольствие против себя самого, когда будете жаловаться не на какие нибудь помешательства со стороны людей, или века, или кого то ни было другого, но когда будете жаловаться на помешательства со стороны своих же собственных страстей, лени и недеятельности умственной. Еще: и луча веры нет ни в одной строчке вашего письма и малейшей искры смирения высокого в нем незаметно! И после этого еще хотеть, чтобы ум наш не был односторонен, или чтоб был он беспристрастен. Вот вам целый воз упреков. Не удивляйтесь, вы сами на них напросились. Вы желали от меня освежительного письма. Но меня освежают теперь одни только упреки, а потому ими же я прислужился и вам.

«А вместо всяких толков о том, чем другой виноват или не выполнил своей обязанности, постарайтесь исполнить те обязанности, которые я наложу на вас. Пришлите мне каталог Смирдинской бывшей библиотеки для чтения, со всеми бывшими прибавлениями. Он полнейший книжный наш Реестр, да присоедините [1] к тому Реестр книг всех напечатанных Синодальной

[1] У Шенрока „присовокупите".

типографией: это можете узнать в Синодальной лавке. Да еще сделайте одну вещь: выпишите для меня мелким почерком все критики Сенков. в Библиотеке для чтения на М. Д. и вообще на все мои сочинения, так чтобы их можно послать в письме. Сколько я ни просил об этом, никто не исполнил. Каталог Смирд. есть кажется мой у Прокоповича. Пошлите тоже с почтой, которая ныне принимает посылки. Адресуйте в Берлин на имя служащего при тамошней миссии графа Мих. Мих. Виельгорского для доставки мне, если почта не возьмется доставить во Франкфурт прямо на мое имя. Вот вам обязанности покамест истинно христианские. От вас требует выполнения этого долга прямо, безвозмездно—Н. Гоголь».

Несмотря на совершенно неожиданный для меня учительский раздраженный тон этого письма, оно меня все таки глубоко тронуло: во первых, и замечательным литературным своим достоинством, а во вторых—и преимущественно какой то беспредельной верой в новое созерцание, им возвещаемое. Загадкой оставалось для меня только следующее: каким процессом мысли Гоголь перенес прямо на меня все, что я говорил вообще о современных людях, и отыскал в моих сообщениях личный вопрос,—уныние, ропот, недовольство судьбой и другие качества неудачного честолюбца. Но особенно не мог я понять, откуда тут взялся еще вопрос о религиозных моих убеждениях, о состоянии моей души и совести, так как исповедываться в них я не имел ни малейшего помысла перед Гоголем,

да он и не возбуждал такого вопроса. Передавать толки публики о «Мертвых душах» и по этому поводу представить свидетельство о более или менее удовлетворительном состоянии своего религиозного чувства—кому же это могло притти в голову? Впоследствии все это объяснилось. Письмо Гоголя, как и множество других таких же, полученных разными лицами в России, было одним из той гряды облачков, которая предшествовала появлению роковой книги «Переписка с друзьями». Письма возвещали ее близкое восшествие на горизонт. Гоголь, ужаснувшийся успеха своего романа между западниками и людьми непосредственного чувства, весь погружен был в замысел разоблачить свои настоящие исторические, патриотические, моральные и религиозные воззрения, что, по его мнению, было уже необходимо для понимания готовящейся 2-й части поэмы. Вместе с тем, все более и более созревали в уме его надежда и план наделить, наконец, беспутную русскую жизнь кодексом великих правил и незыблемых аксиом, которые помогли бы ей устроить свой внутренний мир на образец всем другим народам. Но намерение оставалось еще покамест тайной для всех, и служить каким либо пояснением действий Гоголя не могло. В потемках я отвечал Гоголю, что получил его письмо, благодарю за участие ко мне, не огорчаюсь его выговорами, не отвергаю вовсе его советов, но считаю нужным указать на странную ошибку. Он считает меня человеком весьма высокого мнения о себе, надменным и страдающим гордостью, а между тем мог бы заметить в течение долгих наших сношений,

что я скорее имел претензию считать себя ничтожнейшим из детей мира, и без всякого вознаграждения, о котором говорит поэт, употребивший однажды это выражение.

Затем корреспонденция наша прекращается надолго, до 1847 года, когда, живя уже с больным Белинским на водах в Силезии, в Зальцбруне, я опять получил от Гоголя письмо, но уже мягкое и отчасти грустное письмо. Книга его «Переписка с друзьями» уже вышла и принесла ему такую массу огорчений, упреков, наконец, клевет и незаслуженных оскорблений, что он склонился под этой бурей общественного негодования, как тростник—до земли. Состояние его духа отразилось и на письме, но об этом после. С тех пор уже благодушное, ласковое, снисходительное настроение не покидало Гоголя по отношению к старому его корреспонденту и собеседнику, и всякий раз, как мы встречались, до самой его смерти, выказывалось с новой силой. В 1851 году, за год до своей кончины, провожая меня из своей квартиры, в Москве, на Николаевском бульваре (дом графа Толстого), он, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: «Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас: я дорожу их мнением».

Страдальческий, умиротворенный и на все уже подготовленный облик Гоголя,—Гоголя последних дней,—остался в моей жизни самым трогательным воспоминанием, наравне с обликом медленно умирающего и все еще волнующегося Белинского.

Бедный, запутавшийся друг, погибший добровольной и мучительной смертью именно потому,

что жил в эпоху столкновения неустановившихся верований, одинаково важных и неустранимых, и которую так горячо защищал против мнения о ее переходном состоянии! Чрезвычайно замечательно следующее обстоятельство. В марте 1848 года, [1] занимаясь обработкой 2-й части «Мертвых душ» в Москве, он пишет старому своему товарищу, уже упомянутому Н. Я. Прокоповичу, что труду его мешают, во первых, недуги, а во вторых отражение на авторе всех невыгодных влияний шаткого *переходного* времени, в которое он живет. Итак, ужас и негодование, возбужденные в Гоголе одним намеком на то, что эпоха эта может быть названа переходною, миновались совершенно через четыре года, да и не только миновались, но сама мысль признана еще неоспоримой истиной, на основании личного опыта. Вот это замечательное место письма, с которого я тогда же снял точную копию, конечно, не объясняя никому причин, почему я считаю его особенно важным.

Москва, 29 марта (1848) [2].

«Болезни приостановили мои занятия «Мертвыми душами» которые пошли было хорошо. Может быть, болезнь, а может быть—и то, что как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса... просто не подымаются руки. *Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для какой нибудь переходной современной минуты, а все таки*

[1] Не 1848 г. (Гоголь в это время не мог быть в Москве), а вероятно—1850 г. (см. в „Письмах“ под ред. В. Шенрока, т. IV, стр. 311).
[2] 1850 г.

современное неустройство отнимает нужное для него спокойствие[1].

Как далеко стоит это признание от восклицания: «Злой дух только мог подшепнуть вам мысль, что вы живете в каком то переходящем веке, когда все усилия и труды должны пропасть без отзвука в потомстве...» — Увы! Как еще положение это ни казалось опрометчиво, заносчиво и ложно, сказанное неловко и не во-время, сам Гоголь, страстно опровергавший его, испытал еще сомнение в пользе своих усилий и трудов для *потомства,* — сомнение, результатом которого было, как известно, сожжение 2-й части «Мертвых душ». Если бы дело состояло тогда в его власти, то результатом этого настроения могло бы быть и нечто большее — именно сожжение всех его трудов вообще. Правда; тут примешалась душевная болезнь, патологическое состояние мозговых органов, — но разве переходные эпохи именно и не отличаются этими болезнями, которые сами суть не что иное, как произведение глухой борьбы начал в глубине души и мысли каждого развитого человека.

Со всем тем мне легко сознаться теперь и повторить, что замечание о бесплодности трудов, предпринятых в переходное время, которым я погрешил тогда, и которое вызвало такие недоразумения, было вполне необдуманно и ложно в основании. Ни деятельность Гоголя, ни деятельность самого Белинского, а также и людей 40-х годов вообще из обоих лагерей наших не остались без следа и влияния на ближайшее потомство,

---

[1] Курсив Анненкова.

да найдут, по всем вероятиям, еще не один отголосок и в более отдаленных от нас поколениях. Это убеждение только и могло вызвать составление настоящих «Воспоминаний».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ «МОСКВИТЯНИНА».—СТАТЬИ И. В. КИРЕЕВСКОГО.—СТАТЬИ А. С. ХОМЯКОВА.—И. В. КИРЕЕВСКИЙ И М. П. ПОГОДИН. — ДАЛЬНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ «МОСКВИТЯНИНА».

Мне приходится говорить теперь о замечательном в истории наших литературных партий 1845-м годе и приступить к краткому библиографическому отчету о некоторых статьях журнала «Москвитянин», состоявшего слишком малое время под непосредственной редакцией И. Киреевского. Статьи были важным событием описываемой эпохи, и без разбора их—дальнейший рассказ о ней утерял бы свой настоящий смысл. Они именно обозначают ту минуту, с которой распря между славянами и западниками приняла у нас новый, менее беспощадный и слепой характер, чем прежде, хоть и долго потом еще не нуждалась в воинственном одушевлении, но тон становился другой. Перемена тона и самой речи, на которую решились прежде всех славяне, имела значительные последствия по отношению к внутренним делам и положению действующих лиц в обеих партиях.

Известно, что, кроме Белинского, вопрос об отношении народной культуры к европейскому образованию занимал еще Грановского и Г[ерцена], с их друзьями. По близким отношениям их

к славянским деятелям, вопрос этот мешал сойтись им с людьми противного лагеря, нравственную цену которых они очень хорошо знали, на какой либо нейтральной почве. Действительно, пока в славянской партии господствовало полное отрицание европеизма, невозможно было никакое примирение и соглашение. Через это препятствие именно и перешагнули Киреевские, Хомяков и их друзья, когда в 1845 году приняли в свои руки редакцию журнала «Москвитянин». Они сделали первый шаг навстречу западникам. Можно сказать, что новые редакторы «Москвитянина», овладевая журналом, ничего другого и не имели в виду, как правильного, с их точки зрения, постановления и разрешения вопроса. Тогда и оказалось с первого же раза, что для славянской партии *тип* европейской цивилизации столько же дорог, как и любому европейцу, но дорог не как готовый образец для подражания, а как надежный вкладчик в капитал собственных умственных сбережений русской народной культуры, как хороший пособник при обработке ею самой своего капитала.

Первым делом редакторов было, поэтому, устранение и опровержение тех мнений своих собственных единомышленников, которые или презирали тип европейской цивилизации, или противопоставляли его славянской культуре, как нечто враждебное последней или к ней неприложимое. Руководящая статья И. В. Киреевского в 1-м № «Москвитянина» за 1845 год («Обозрение современного состояния словесности»)[1]

[1] „Обозрение современного состояния литературы“—„Москвитянин 1845 г., №№ 1. 2 и 3. См. „Полн. собр. соч.“ И. В. Киреевского под ред. М. Гершензона (М. „Путь“, 1911), т. I, стр. 121–173.

наносила тяжелые удары преследователям Запада и, прежде всего, старому критику того же «Москвитянина»—С. Ш. [1], который в 1841 г. в статье: «Взгляд на образование европейское», выражал мнение, что Россия, не испытавшая ни реформации, ни революции и тем самым сохранившая в себе великое нравственное единство, не может делить духовной жизни с болезненным европейским миром, а скорее призвана, может быть, исцелить и обновить его. И. В. Киреевский не менее С. Ш. веровал во все, так сказать, догматы славянофильской партии, в печальное раздвоение европейской жизни, в необходимость и возможность ее обновления началами восточного любомудрия, что и высказывал в своем трактате; но И. В. Киреевский, вместе с тем, имел представление о роли Запада в деле цивилизации гораздо более широкое, чем ультраславяне из его собственной партии, которым и не замедлил высказать горькие истины.

Во второй своей статье («Москвитянин», № 2, 1845 года) он объявлял оба направления наши, как чисто русское, так и чисто западное, одинаково ложными, и это на основаниях, которые были гораздо более оскорбительны для собственной его партии, чем для враждебной ей. Чисто русское направление ложно потому,— замечал он,—что пришло неизбежно, роковым образом, к ожиданию чуда и призыву его на помощь своей веры, ибо только чудо может воскресить мертвеца—русское прошлое, которое так горько оплакивается людьми этого воззре-

[1] То есть—С. П. Шевыреву.

иия. Направление, вдобавок, не видит, что каково бы ни было просвещение европейское, но истребить его влияние, после того, как мы однажды сделались его причастниками, уже находится вне нашей силы, да это было бы и великим бедствием. Оторвавшись от Европы,— добавлял он,—мы перестаем быть общечеловеческою национальностью, лишаемся всех благ римско-греческого образования («Москвитянин», 1845 года, № 2, стр. 63—78). Западникам, под которыми преимущественно разумелся Белинский, как самый крайний из них, посылался тоже довольно тяжкий укор. Направление их обвинялось в непонимании того, что истины Запада суть только остатки христианских начал, и упрек добавлялся замечанием, что они „*женоподобно*" управляются одной страстью к предмету обожания, которая и привела их к нелепой мысли, будто все уже решено Европой и стоит только подбирать как святыню все, что она бросает нужного и ненужного (стр. 73). Вместо этих пустых направлений, для Киреевского существует и важно только представление о двух родах образования—одно то, которое творится через внутреннее устроение духа, силою извещающейся в нем истины. Это самое разумное, высшее, и уже без познания Европы обойтись не может. Другое—низшее образование слагается чрез формальное развитие разума и приобретение высших познаний, с помощью одного заимствования; оно делает из человека подобие логически-технической выкладки, без национальных и всяких других убеждений (74). В конце исследования является у Киреевского резюми-



И. В. Киреевский.

рующий тезис, который гласит: «Поэтому любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей,—обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно-христианскому просвещению». Обе статьи И. В. Киреевского произвели громадное впечатление и нашли доброжелателей и порицателей одинаково в обоих лагерях—славянском и западном. Белинский принадлежал к числу порицателей. В постройке статей он усмотрел отчасти немецкий характер, искусно, но фальшиво обобщающий предметы, а потом и некоторую непоследовательность: «Как же это,—говорил он,—Киреевский отыскал племя, способное дополнить развитие Европы свежими элементами своего изделия, а между тем предлагает ему идеалы цивилизации собственного своего измышления. Да ведь идеал то цивилизации и есть само это избранное племя! Нет, уж если вы не обманываете самого себя, говоря, что сподобилися читать в книге судеб о призвании русского народа, так не стыдитесь лежать перед ним во прахе. Я больше люблю Ш. и П. [1], которые, не бродя по сторонам, просто ревут: «мы спасители, мы обновители!»—уж и знаешь, что им на это отвечать».

Третья статья И. Киреевского, которая, по плану его, должна была заняться текущими явлениями литературы, к сожалению, не появилась в печати.

---

[1] То есть—С. Шевырева и М. Погодина.

Не менее решительно и строго отнесся к доморощенным гонителям Запада и А. С. Хомяков в двух прекрасных своих статьях: а) «Письмо в Петербург» («Москва», 1845, № 2): о русских железных дорогах, и б) «Мнение иностранцев о России» («Москва», 1845, № 4).

Последняя не была подписана и, конечно, имела в виду известную книгу Кюстина [1], которая, несмотря на строгое запрещение ее, читалась у нас повсеместно и возбуждала характеристикой некоторых лиц и событий саркастические толки втихомолку, очень невинные, но очень беспокоившие, однако же, административных людей эпохи. Обычных славянофильских оговорок и в этих статьях нашлось много. Как и Киреевский, Хомяков объявлял в первой из них просвещение не чем иным, как просветлением всего разумного состава в человеке или народе, дополняя эту мысль еще замечанием, что такое просветление может совпадать с наукой, а может существовать и без нее, не теряя от того своего благотворного действия *. Как и Киреевский, он предпосылал обличению друзей обличение западников и школы Белинского, которых винил в непростительной односторонности. В литературных суждениях своих как И. В. Киреевский, так и А. С. Хомяков очень близко подходили к Белинскому, а часто шли и дальше его. Вот, например, место из второй

[1] „La Russie en 1839“ (1843 г.).

* В этом месте Хомяков приводил в пример таких мудрых и светлых эпох, сложившихся, однако же, без участия формального знания,—царствования Федора Ивановича, Алексея Михайловича и императрицы Елизаветы Петровны, о чем было уже говорено.

Прим. автора.

статьи Киреевского: «Произведения нашей словесности, как отражения европейских, не могут иметь интереса для других народов, кроме интереса статистического, как показания меры наших ученических успехов в изучении их образцов» («Москв.», № 2, стр. 63). Сильнее этого ничего не говорил Белинский, а сколько брани вытерпел он за подобные, теперь уже совершенно оправданные приговоры! Правда, славянская наша партия, часто соглашаясь втайне с положениями ненавистного ей критика, старалась всемерно держать себя в стороне от него, отыскивая подчас довольно хитростным способом возможность, разделяя его мнение, противоречить ему. Примеров этому много. Оградив таким образом убеждения свои от всяких подозрений в потакательстве врагам, Хомяков тем с большей силой обращается к староверам собственной партии, чурающимся от Запада, как от язвы. «Не думайте», восклицает он: «что под предлогом сохранить целостность жизни и избежать европейского раздвоения, вы имеете право отвергать какое либо умственное или вещественное усовершенствование Европы».—«Есть что то смешное,—продолжает он:—и даже что то безнравственное в этом фанатизме неподвижности» (Ib., стр. 82—83). «Знайте», поясняет он далее, «что усвоение чуждых стихий производится в силу законов нравственной природы народа и производит новые явления, обнаруживающие его своеобычность, многосторонность и самостоятельность». — Он даже обзывает наших ультра-патриотов и гонителей Запада просто скептиками, лишенными веры в силу истины

и здоровых начал русской жизни, которую защищают и которая на наших глазах, несмотря на характер подражательности, ей свойственной, уже опередила своих учителей во многом: в ней, например, немыслимо такое явление, как *баварское* искусство, занятое воспроизведением в одно время греческих, византийских и средневековых памятников.

Было довольно странно восхвалять русскую жизнь за то, чего она не сделала, не имея еще и понятия об истории искусства вообще, но меткость всех других определений Хомякова была признана славянами по отношению к западникам, а западниками по отношению к славянам.

Вторая статья Хомякова: «Мнение иностранцев о России»,—любопытна была тем, что освобождала иноземных авторов и их русских подсказывателей от ответственности за нелепости, распространяемые ими о России. Что другое могли бы они говорить? — замечает Хомяков. Основное жизненное начало народа, откуда все исходит, весьма часто не только не понимается другими народами, да нередко и им самим. Примером тому может служить Англия, и доселе не понимаемая, по мнению автора, ни чужеземными, *ни своими* писателями *. При одном фор-

* Это смелое положение А. С. Хомякова, всеми замеченное и не оставленное без возражения, показывало еще раз, как далеко увлекал его блестящий ум, наклонный к решительным словам и афоризмам, ради потрясающего их действия на слушателей. Вот что говорил он далее в подтверждение своей мысли: „Везде она (Англия) является, как создание условного, мертвого формализма...—но она вместе с тем имеет предания, поэзию, святость домашнего очага, теплоту сердца и Диккенса, *меньшего брата* Гоголя“ (!). „Москв.“, 1845 г., № 4, стр. 29. *Прим. автора.*

мально-научном образовании и при одном логическом способе добывания идей — прибавляет он—нет и возможности уловить душу народа, уразуметь начала, которыми он живет. Вот почему наш простой народ, не пошед за высшими классами в логическом и формальном образовании, оказал, по Хомякову, громадную услугу Руси. «Тут произошло», говорит автор, «бессознательное ясновидение человеческого разума, которое предугадывает многое, чему еще не может дать ни имени, ни положительного очертания» (№ 4 «Москв.», стр. 38). Сохранив свою национальную культуру, русский народ подготовил дорогие материалы для народного самосознания, которое еще более укрепится и сильнее выразится после усвоения элементов европейской цивилизации, и уже сделает тогда невозможным лжетолкования русской жизни, как со стороны чужеземных, так и своих исследователей.

Даже и такой труженик, как П. В. Киреевский, весь посвятивший себя собиранию памятников народного творчества и неохотно являвшийся на журнальную арену, принял участие в деле созидания прочных основ для своей партии. Он опровергал в № 3 «Москвитянина» известное положение М. П. Погодина, по которому русский народ всегда отличался мягкостию, податливостию, не знал сословной розни и *легко покорялся* всякому требованию. П. В. Киреевский считал это положение оскорбительным для русского народа, предлагал другое пояснение его истории и вызвал жаркое возражение М. П. Погодина, подтверждавшего свою прежнюю тему

о податливости русского народа ссылками на летописи.

Вообще можно полагать, что старый редактор журнала имел причины раскаиваться в том, что предоставил орган свой другим рукам, несмотря на быстрое нравственное и материальное значение, приобретенное «Москвитянином» под новой редакцией. Уже с 3-го нумера М. П. Погодин поспешил оградить себя от нападков своих слишком добросовестных и откровенных друзей, требования которых все более и более росли и грозили оставить его самого и добрую часть его партии позади себя. В статейке: «За русскую старину» (№ 3, с. 27) он с нескрываемой досадой возражает на упрек или на *клевету*, как выразился, будто славянофилы не уважают Запада, будто хотят воздвигнуть мертвый труп, будто нечестиво поклоняются неподвижной старине. Обиженный редактор довольно иронически поясняет, что они ратуют за русский дух, веющий из старины, за самостоятельность жизни, а потом и за свободное признание всех заслуг запада, востока, севера и юга (с. 31).

Это значило не отвечать вовсе на сущность вопроса. По окончании года М. П. Погодин поспешил принять журнал опять в свои руки и легко успел лишить его значения, которое он стал приобретать. «Москвитянин» влачил довольно бесцветное существование, опаздывая книжками и изредка оживляясь полемическими искрами, скоро потухавшими бесследно в массе литературного хлама. Так продолжалось до 1850 г., когда новое поколение, исключительно воспитанное Москвой, опять обратило на журнал

внимание публики. Имена свежих деятелей, ожививших тогда редакцию журнала, под знаменем которого они собрались, теперь хорошо известны. Это были: по части художественного производства, А. Островский, А. Писемский, А. Потехин, Кокорев и другие, а по части критики и философии—Ап. Григорьев, Эдельсон, Т. Филиппов и др. Петербург тотчас же завязал и с ними полемику, приняв их за эпигонов—последки старой могущественной партии, но это уже относится к другому периоду литературы и развития.

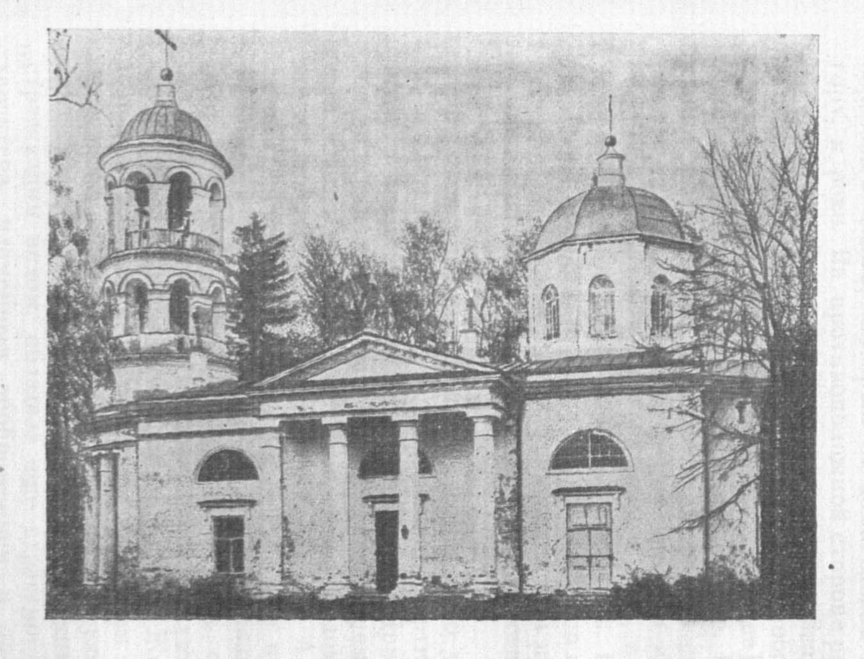
Московские западники, с Грановским и Г[ерценом] во главе, не оставили руки, так великодушно протянутой им партией славян, без ответа. Они просто обрадовались возможности завязать с высокоразвитыми своими противниками опять некоторый обмен мыслей, так как главный ров, мешавший всякому сношению между обоими лагерями, был если не вполне, то наполовину засыпан. Слово возвратилось борцам, потому что они могли уже разуметь друг друга. Сохраняя все свои отличия и свою независимость, не признавая очень многие из положений славян, которыми они окрашивали и дополняли главную тему о пользе и необходимости изучения Европы, а особенно не отрекаясь от права и обязанности энергически противиться при случае выводам, которые они делали из истории, как русской, так и европейской вообще—московская западная партия признавала, однако же, важность их последнего profession de foi и поняла необходимость и законность уступок и с своей стороны. Уступки эти и были сделаны, как увидим. Но Белинский оставался вне всего этого движения.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ЛЕТО 1845 г. — СОКОЛОВО. — Н. А. ГЕРЦЕН И Е. Б. ГРАНОВСКАЯ.—ПРОГУЛКА.— Е.Ф. КОРШ.—СПОР.

Одновременно с раздвоением в лагере «славян», последовало точно такое же и у западников: «Москвитянин» вызвал много бурь в недрах этой партии, и на одной из таких бурь, летом 1845 г., я присутствовал. Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что я и теперь (1870 г.), по прошествии слишком 25-ти лет, как будто вижу перед собою каждого из тогдашних лиц московского кружка, и как будто слышу каждое их слово. Для меня это — не дальнее, наполовину позабытое прошлое, а как будто событие вчерашнего дня. Голоса, выражение физиономий и поза людей — стоят в памяти так живо, точно мы недавно разошлись по домам; постараюсь передать мои воспоминания с наивозможной верностью.

Грановский, Кетчер и Г[ерцен] известили своих приятелей, что на лето 1845 г. они поселяются в селе Соколове—в 25-ти или 30-ти верстах от Москвы. Село принадлежало помещику Д[иво]ву, который, на случай своих приездов в вотчину, оставил за собой большой дом, а боковые флигеля и домик позади предоставил



Соколово, бывшая усадьба Румянцевых. Церковь Благовещения. Начало XIX века.

наемщикам, вместе с великолепным липовым и березовым садом, который от дома сходил под гору, к реке. На противоположной стороне реки и горки, по общему характеру русского пейзажа, тянулся сплошной ряд крестьянских изб. В обоих флигелях разместились семейства Г[ерцена] и Грановского, а домик позади занял Кетчер. Помещик не беспокоил наемщиков. В редкие свои наезды он только *приказывал* крестьянам и крестьянкам свободно гулять по своему саду, проходя вереницами мимо окон большого дома. Как ни легка, повидимому, была эта барщина, но она возбуждала сильный ропот в людях, к ней приговоренных, чему наемщики были сами свидетелями не раз.

Вероятно, ни ранее, ни позже Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движения, как летом 1845 года. Приезд гостей к дачникам был невероятный, громадный. Обеды устраивались на лугу перед домом почти колоссальные, и обе хозяйки—Н. А. [1], жена Г[ерцена) и Е. Б. [2] Грановская, уже привыкшие к наплыву посетителей, справлялись с этою толпой неимоверно ловко. Сами они представляли из себя очень различные типы, хотя и связаны были тесной дружбой. Жена Г[ерцена], со своим мягким, едва слышным голоском, со своей ласковой и болезненной улыбкой, со всем своим детски-нежным, хрупким и страдающим видом, обладала еще страстностью характера, пламенным воображением и очень

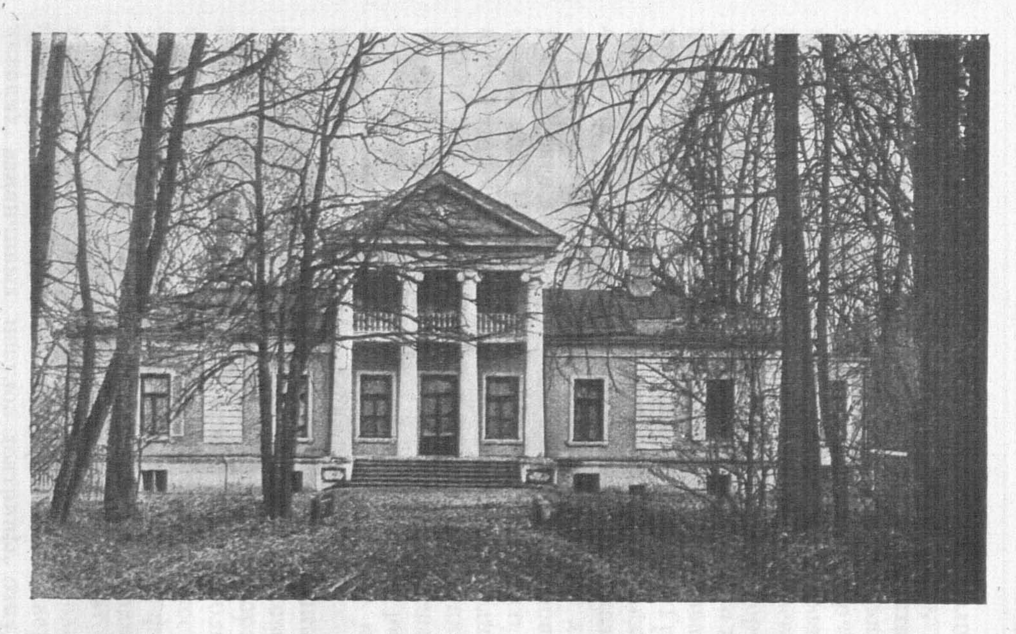
[1] Наталья Александровна.
[2] Елизавета Богдановна.

сильной волей, что и доказала на деле при начале своей жизни и при конце ее. Елизавета Богдановна Грановская была олицетворением спокойной, молчаливо-благодарной и втайне радостной покорности своей судьбе, устроившей ее положение как жены и как женщины. Обе они способны были, каждая по своему и с различными побуждениями, на очень значительные жертвы и подвиги, если бы то потребовалось. Всегда окруженные своими московскими приятельницами, они покамест служили в Соколове тем умеряющим, эстетическим началом, которое сдерживало пиры друзей, где на шампанское не скупились, в тоне веселой, но далеко не распущенной беседы [1].

Я появился среди этого персонала Соколова в конце июня месяца, был принят им с величайшим радушием, но с оттенком, который бросался в глаза. Как гость из Петербурга и из ближайшего кружка Белинского, я должен был почувствовать, в среде самых дружеских излияний, ту ноту разногласия, диссонанса, какая уже существовала между двумя отделами западной партии. Нота эта звучала и в иронических шутках Г[ерцена], и в нервном хохоте Кетчера, и в полусерьезной физиономии Грановского, которая попеременно разглаживалась и темнела. Всем необходимо было пропеть противную эту ноту поскорее вслух, чтобы войти опять в простые, откровенные отношения друг к другу. Это и не замедлило случиться.

---

1 Ср. характеристики Н. А. Герцен и Е. Б. Грановской в „Воспоминаниях“ А. Я. Панаевой (Лнгр. „Academia“, 1927 г.).



Соколово. Дом в парке. Начало XIX века.

В тот же самый день все общество собралось на прогулку в поля, окружавшие Соколово, на которых, по случаю раннего жнитва, царствовала теперь муравьиная деятельность. Крестьяне и крестьянки убирали поля в костюмах, почти примитивных, что и дало повод кому то сделать замечание, что изо всех женщин одна русская ни перед кем не стыдится и одна, перед которой также никто и ни за что не стыдится. Этого замечания достаточно было для того, чтобы вызвать ту освежающую бурю, которой все ожидали. Грановский остановился и необычайно серьезно возразил на шутку:—«Надо прибавить, сказал он,—что факт этот составляет позор не для русской женщины из народа, а для тех, кто довел ее до того, и для тех, кто привык относиться к ней цинически. Большой грех за последнее лежит на нашей русской литературе. Я никак не могу согласиться, чтобы она хорошо делала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространением презрительного взгляда на народность». С этого и начался спор.

Я не упомянул, что в числе постоянных гостей Соколова был еще влиятельный человек кружка—издатель «Моск. Вед.» Евг. Фед. Корш. По убеждениям своим он принадлежал вполне партии крайних западников, отыскивая вместе с ними основы для мысли и для жизни в философии, истории, следя за теориями социализма, и нисколько не ужасаясь никаких результатов, какие бы могли оказаться на конце этих розысканий; но вместе с тем он не принимал на веру никаких заманчивых посулов доктрины, откуда бы она ни исходила, если только мало-мальски

приближалась к утопии или обнаруживала поползновение на произвольный вывод. Он постоянно воевал с идеалами существования, которых тогда возникло множество. Вообще, это был критик убеждений и верований своего круга, с которыми разделял многие из его надежд и все основные положения. Он стоял постоянно с ногой, занесенной, так сказать, из своего лагеря в противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур сангвинические порывы своих друзей. Обширная начитанность и поистине замечательная доля меткого и ядовитого остроумия, эффект которого увеличивался еще от противоположности с недостатком в произношении—делали из Евг. Корша выдающееся лицо круга *. Он тотчас понял, что завязавшийся спор не есть какая либо решительная битва, изменяющая в конец положение сторон, а только простое объяснение между ними, поэтому он и ходил свободно между сторонами, не приставая ни к одной. Иначе принял дело Кетчер, которому казалось уже необходимостью произвесть себя в адвокаты отсутствующей петербургской стороны, как еще мало он сам ни разделял всех ее воззрений. Он поднял перчатку Грановского и повел с ним спор *о принципах* чрезвычайно горячо, как окажется, надеюсь, и из сокращенной моей передачи этого

* Из множества его цепких заметок я помню одну, обращенную к собеседнику, который, на основании Прудона, отыскивал в анархии спасительное средство для современных обществ.—„Это, вероятно, потому,—сказал Евг. Корш,—что анархия всегда ведет за собой монархию“. В другой раз он отвечал одному профессору, который с некорым провинциальным акцентом восклицал: —„*Я*, братцы, как вам известно, радикал“,—„*Я* и прежде думал, что ты ничего другого *родить* не можешь“, заметил Евг. Корш. *Прим. автора.*



Е. Б. Грановская.

любопытного препирательства. За точность и порядок мыслей и за приблизительную верность самого выражения их—ручаюсь *.

— Да помилуйте, как же можно,—восклицал Кетчер,—обобщать на этот манер каждое пустое замечание! Какой же человек удержит голову на своих плечах, если из каждого его слова, пущенного на ветер, станут вытягивать разные смыслы. Ведь это преображенский приказ. А если уж обобщать, Грановский, так ты бы лучше поставил себе вопрос: не участвовал ли сам народ в составлении наших дурных привычек, и не есть ли наши дурные привычки именно народные привычки?

— Постой, брат Кетчер,—возразил Грановский,—ты говоришь: не следует обобщать всякую случайную заметку; во первых, любезный друг, случайные заметки состоят в близком родстве с тайной нашей мыслью, а, во вторых, собрание таких заметок составляет иногда целое учение, как, например, у Белинского.— А я тебе должен сказать здесь прямо—добавил Грановский с особенным ударением на словах,—что во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопросам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому, «Отеч. Запискам» и западникам.

За этим категорическим объявлением последовала минута молчания. Гораздо позднее мысль, выраженная Грановским, повторялась много раз и самим Г[ерценом], от своего имени в его за-

* Заметки и цитаты, тогда же брошенные мною на бумагу для памяти, много помогли восстановлению всей этой сцены.

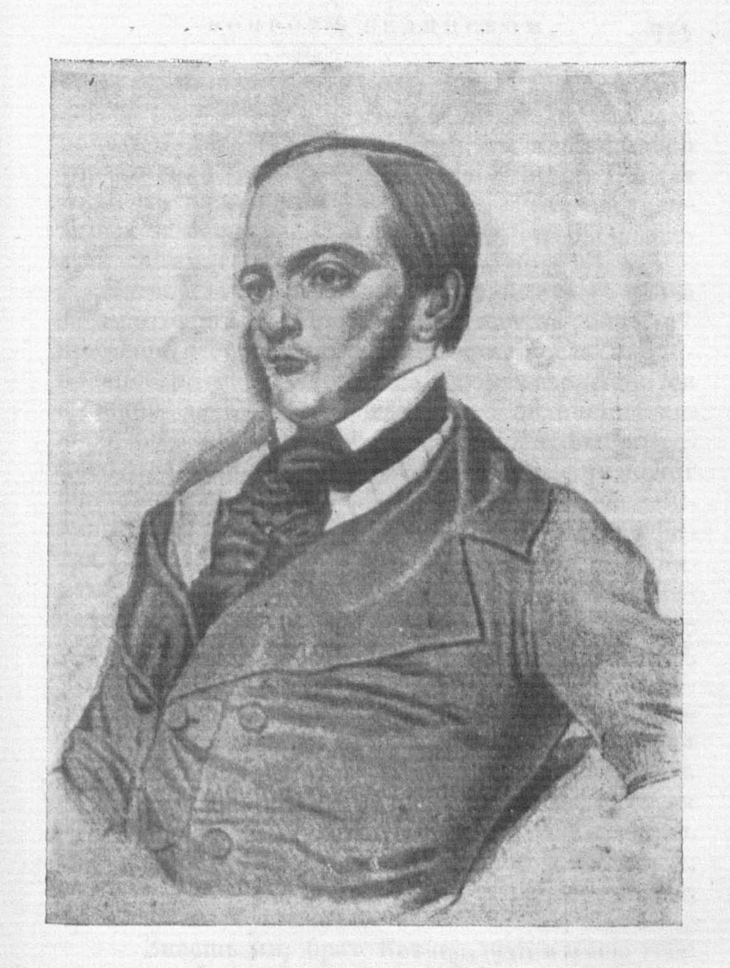
Прим. автора

граничных изданиях, но впервые она была сказана именно Грановским и в Соколове. Г[ерцен], конечно, принял участие в завязавшемся споре, нисколько не предчувствуя, разумеется, что не далее, как через год, он придет сам в столкновение с Грановским по вопросу, совершенно схожему с тем, который теперь разбирался *. Теперь он держал сторону Грановского, хотя не так решительно, как можно было думать, судя по внешним признакам сходства в их настроениях. Прямая, неуклонная, откровенная деятельность Белинского приходилась ему всегда по душе, несмотря на множество оговорок, какие он противопоставлял ей, да и предчувствие близости горьких расчетов с самим Грановским, вероятно, уже возникло в его уме и сдерживало его слово. Вмешательство его в разговор носило дружелюбный характер.

— Пойми же ты, братец,—говорил он,—обращаясь к Кетчеру,—что кроме общего народного вопроса, о котором можно судить и так, и иначе, между нами идет дело о нравственном вопросе. Мы должны вести себя прилично по отношению к низшим сословиям, которые работают, но не отвечают нам. Всякая выходка против них, вольная и невольная, похожа на оскорбление ребенка. Кто же будет за них говорить, если не мы же сами? Официальных адвокатов у них

* В „Записках“ Г[ерцена] рассказана подробно история его ссоры в 1846 г. с Грановским по поводу неосторожного бранного слова, произнесенного Огаревым в присутствии сожительницы, впоследствии жены К[етчера]. Тогда Г[ерцен] стоял за О[гарева], не вменял ему в вину случайного, непечатного выражения, а обиженным уже являлся К[етчер], так легко прощавший прежде мимолетные заметки. Грановский поддерживал К[етчера] и разделял его негодование.

Прим. автора.



А. И. Герцен в 1845 г.

(Литография с портрета К. А. Горбунова.)

нет,—понимаешь, что все тогда должны сделаться их адвокатами. Это особенно не мешает понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочем об упразднении всяких управ благочиния. Не для того же нужно нам увольнение в отставку видимых и невидимых исправников, чтобы развязать самим себе руки на всякую потеху.

Кетчер не любил оставлять последнего слова за противником. Он возопил против попытк примешать еще и нравственность, после национальности, к пустому случаю, разросшемуся в такой диспут, утверждал, что обличение какого либо несомненного факта, хотя бы и самого прискорбного характера—никогда не может быть безнравственно, а, наконец, после насмешливых отзывов о новых народившихся руссофилах (на этого рода пикантные приправы к спорам никто тогда не скупился) перешел к Белинскому, который собственно и составлял настоящий предмет всего разговора. Кетчер заметил, что вряд ли мы и имеем право судить о настоящих воззрениях Белинского на русскую народность, так как он их никогда не высказывал вполне, да и в виду цензуры и не мог передать всей своей мысли, как по этому предмету, так и по многим другим. Здесь Грановский опять остановил Кетчера и покончил спор замечанием, которое поразило всех своей неожиданностью; привожу его буквально.

— Знаешь ли, брат Кетчер, что я имею тебе сказать по поводу твоего замечания о цензуре. Об уме, таланте и честности Белинского не может быть между нами никакого спора, но вот что я скажу о цензуре. Если Белинский сде-

лался силой у нас, то этим он обязан, конечно, во первых, самому себе, а во вторых и нашей цензуре. Она ему не только не повредила, но оказала большую услугу. С его нервным, раздражительным характером, резким словом и увлечениями он никогда бы не справился без цензуры со своим собственным материалом. Она, цензура, заставила его обдумывать планы своих критик и способы выражения и сделала его тем, чем он есть. По моему глубокому убеждению, Белинский не имеет права жаловаться на цензуру, хотя и ее благодарить тут не за что: она, конечно, также не знала, что делает.

Спор был вполне истощен именно этим заявлением Грановского. Все было сказано, что Грановскому хотелось сказать. Когда затем кто то заметил, что все резкие, анти-национальные выходки Белинского происходят еще из горячего демократического чувства, возмущенного тем состоянием, до которого доведены народные массы, Грановский горячо пристал к этому мнению, находя в нем разгадку многих излишеств критика, которые все таки считал явлением ненормальным и печальным. Спор прекратился. Он сделал свое дело, очистив совесть и позволив всем возвратиться уже без всяких помех к простым, дружеским и искренним отношениям.

В моем понимании этот спор еще имел и другое значение. Это было первое крупное проявление мысли, давно уже таившейся в умах, о необходимости более разумных отношений к простому народу, чем те, которые существовали в литературе и в некоторых слоях мысля-

щего класса людей. Литература и образованные умы наши давно уже расстались с представлением народа, как личности, определенной существовать без всяких гражданских прав и служить только чужим интересам, но они не расстались с представлением народа, как дикой массы, не имеющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя. Спор выразил собою переворот, совершившийся в понятиях одного отдела западников относительно способов судить и оценять домашнюю культуру и нравственную физиономию толпы.

Года два-три перед тем никому из западной партии и в голову не приходило проверять самые смелые свои приговоры об обычаях, верованиях, моральных свойствах народа, или заботиться об основательности и справедливости своих воззрений на его быт, надежды и ожидания. Все это было делом личного вкуса и всякому предоставлено было думать об этих предметах что угодно, без малейшей ответственности за свои мнения и за свою точку зрения. Тон горделивого, полу-барского и полу-педантичного презрения к образу жизни и к измышлению темного, работающего царства водворился незаметно в среде образованных кругов. Особенно бросался он в глаза у горячих энтузиастов и поборников учения о личной энергии, личной инициативе, которых они не усматривали в русском мире. Почасту отзывы их об этом мире смахивали на чванство выходца или разбогатевшего откупщика перед менее счастливыми товарищами. *Кичливость образованностию* омрачала иногда самые солидные умы в то время и была

по преимуществу темной стороной нашего западничества. Оно же—западничество это—и положило предел подобному извращенному применению его начал к жизни. Спор, изложенный выше, был результатом давнишнего желания одного отдела наших западников заявить формальный протест против легкомысленного трактования вопросов народной жизни, каким погрешали некоторые ряды его собственной партии. Может быть, никто не принял так горячо к сердцу ново-возникшего вопроса о самобытном мышлении темных людей, как один из надежнейших и горячих друзей круга, именно К. Д. Кавелин [1], человек, вносивший обыкновенно страстное одушевление во все свои как научные, так и житейские убеждения. Привычка к высокомерному обращению с народом была так обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшиеся впоследствии самыми горячими адвокатами его интересов и прав. Уже гораздо позднее и в Петербурге, куда он переехал и где приходилось всего более расчищать дорогу благорасположенному отношению ко всем видам народного творчества,—пропаганда Кавелина не умолкала вплоть до конца 50-х годов. Здесь кстати сказать еще, что человек, тоже не мало содействовавший к изменению способа относиться к народу и представлять себе его умственную жизнь, был столь много осмеянный некогда славянофилами Тургенев. Первые его рассказы из «Записок Охотника», явившиеся в «Современнике» 1847 г., положили конец всякой возможности глумления

[1] См. в „Литературных воспоминаниях" И. И. Панаева.

над народными массами. Но почва для «Записок Охотника» была уже подготовлена, и Тургенев выразил ясно и художественно сущность настроения, которое уже носилось, так сказать, в воздухе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ЖИЗНЬ В СОКОЛОВЕ

Возвращаюсь к Соколову. В средине лета подмосковное село это образовало нечто в роде подвижного конгресса из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые видимо все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с другом. Хозяева жили в страшном многолюдстве и новидимому не имели времени сосредоточиться на каком либо своем собственном, специальном занятии. Гости калейдоскопически сменялись гостями: тут, кроме Панаева, оставившего и описание Соколовской жизни, промелькнули в моих глазах Н. А. Некрасов, давно уже мне знакомый и возбуждавший тогда общий симпатический интерес своей судьбою и своей поэзией, затем Ив. Вас. Павлов, здесь впервые мною и встреченный, и поражавший оригинальной грубостию своих приемов, под которыми таилось у пего много мысли, наблюдения, юмора и т. п.; Евг. Фед. Корш, старый Щепкин [1], молодой, рано умерший Засядко, начинающий живописец Горбунов, сделавший литографированную коллекцию портретов со всего

[1] Михаил Семенович Щепкин (1788—1863)—артист.

кружка *, были постоянными посетителями Соколова. Совсем не праздно жили и хозяева дачи в этом водовороте гостей и наезжих со всех сторон, как могло показаться сначала. Так, Г[ерцен] печатал и продолжал свои письма об изучении природы; Грановский приготовлялся к новой, второй серии публичных своих лекций; Кетчер переводил Шекспира упорно. Иногда он на целые дни пропадал из Соколова, в грязной, серой блузе, и захватив только с собой кусок хлеба. Он тогда бродил по лесам, окружавшим Москву, и однажды встретил там истощенного беглого солдата, с пораненной ногой, который не очень дружелюбно посмотрел на него. Кетчер вынул у него занозу из ноги, перевязал рану и отдал ему свой кусок хлеба. Когда ту-

* Я сохраняю его каррикатурный листок, сделанный карандашом и изображающий Г[ерцена], Грановского, Корша, Панаева, мою особу и др. в ночной беседе, какие тогда часто бывали на обрыве горы, в садовом павильоне соколовского парка. Кругу, собиравшемуся в Соколове, недоставало двух весьма крупных членов его, В. П. Боткина и О[гарева]. Оба жили заграницей, в Париже, и первый, по рассказам Панаева, тоже недавно возвратившегося оттуда, усиленно старался офранцузить себя в языке, образе жизни, нравах, и уже отличался ярой ненавистью к старому своему идолу—идеализму. Второй философски растрачивал остатки своего, некогда громадного, состояния и очень солидного здоровья. Впрочем, скандалезные анекдоты Панаева об обоих не вполне передавали их нравственное содержание, потому что первый, Боткин, съездив в Испанию, подарил русскую публику замечательно умным и картинным описанием страны, а второй, О[гарев], возвратясь на родину в 1846, производил такое сильное обаяние своей поэтической личностью, что сделался почти чем то в роде директора совести—directeur de conscience—в двух семьях—у Г[ерцена] и у А. Тучкова [1]. Дамы обеих семей упивались написанными им тогда поэтически-философскими и социально-скорбными стихотворениями „Монологи" — да и мужская половина семей, как оказалось впоследствии, поддала влиянию поэта не менее женской. Тайна этого обаяния заключалась в какой то апатической, ленивой нервозности характера, позволявшей О[гареву] постепенно достигать крайних границ, как в жизни, так и в мысли, и уживаться, страдая, со всеми самыми невозможными положениями, легко, как у себя дома. *Прим. автора.*

[1] Алексей Алексеевич Тучков—отец второй жены Огарева, Н. А. Тучковой.

земное и пришлое население Соколова собиралось в сходку, на каком либо из его форумов (кроме многолюдных обедов Соколова, таким форумом служила еще и круглая площадка в глубине парка, обнесенная великолепными липами), то разговоры, прения, рассказы, происходившие на этих форумах, отражая все многообразие характеров, умов и настроений, носили еще один общий тон, который и был господствующим тоном всех бесед этой эпохи.

Политических разговоров, в прямом смысле слова, на этих импровизированных академиях почти никогда не происходило. Тогдашняя публичная жизнь снабжала только людей юмористическими анекдотами и покамест ничего более не давала. Собственно же основные принципы, управлявшие обществом—вовсе не затрогивались. Рассуждать о них считалось делом праздным, и говорить о них начинали тогда, когда в применении своем они достигали или комического, или трагического абсурда. До тех пор это были явления, для всех, давно отпетые и похороненные. Вспоминали о них особенно, когда настояла надобность ускользнуть из когтей того или другого из мертвецов, ходивших по земле, и пускавшегося неожиданно преследовать живых людей. Взамен на первом плане стояли европейские дела, учения, открытия: они и составляли господствующую ноту в разговорах. Вместе с тем проходила еще другая красная нитка через всю многообразную сеть узоров свободной беседы в Соколове. Она то и давала предчувствие об общем происхождении и родстве всех мнений и мыслей, там высказывавшихся, не-



Н. Кетчер.

смотря на частую их противоположность. Прежде всего следует заметить, что в Соколове не позволялось только одного—быть ограниченным человеком. Не то, чтоб там требовались непременно эффектные речи и проблески блестящих способностей вообще, наоборот, труженики, поглощенные исключительно своими специальными занятиями, чествовались там очень высоко—но необходим был известный уровень мысли и некоторое достоинство характера. Воспитанию мысли и характера в людях и посвящены были все беседы круга, о чем бы они в сущности ни шли, что и давало им ту однообразную окраску, о которой говорено. Еще одна особенность: круг берег себя от соприкосновения с нечистыми элементами, лежавшими в стороне от него, и приходил в беспокойство при всяком даже случайном и отдаленном напоминовении о них. Он не удалялся от света, но стоял особняком от него—потому и обращал на себя внимание, но вследствие именно этого положения в среде его развилась особенная чуткость ко всему искусственному, фальшивому. Всякое проявление сомнительного чувства, лукавого слова, пустой фразы, лживого заверения угадывались им тотчас и везде, где появлялись, вызывали бурю насмешек, иронии, беспощадных обличений. Соколово не отставало в этом отношении от общего правила. Вообще говоря, круг этот, важнейшие представители которого на время собрались теперь в Соколове, походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу

пространной земли нашей, и который все таки стоял, по какому то соглашению, никем в сущности не возбужденному—поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

РАСКОЛ СРЕДИ ЗАПАДНИКОВ.—„РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ". — ЗАПАДНЫЙ „ВОИНСТВУЮЩИЙ" СОЦИАЛИЗМ.—РАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГРАНОВСКОГО, БЕЛИНСКОГО И ГЕРЦЕНА.

История последовавших вскоре внутренних разногласий «западной» партии достойна не менее внимания, чем и история ее возникновения и влияния в обществе. За протестом московских друзей против исключительного европеизма Белинского последовал раскол в самом московском отделе западников. Оба главнейшие его представителя, Г[ерцен] и Грановский, разошлись по вопросам, возникшим в конце концов на почве той самой западной цивилизации, явлениями которой они так занимались. Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма и связанный с ними переворот в способе относиться к метафизическим представлениям. Самые первые проблески этого разногласия между друзьями оказались опять в Соколове, хотя разгар спора, со всеми его последствиями, относится уже к следующему, 1846 году. Позволяю себе остановиться теперь же на этой подробности, которая, в различных видах и формах, повторялась и во многих других кружках и отделах нашего «западничества».

Кому не известно, что собственно *русский* социализм, или то, что можно назвать народными экономическими представлениями, заключался в очень ясных и узких границах, состоя из учения об общинном и артельном началах, т. е. из учения о владении и пользовании сообща орудиями производства. В этом скромном, ограниченном виде, данном всей нашей историей, *русский* социализм и был поставлен впервые на вид славянофилами, с прибавкой, однако ж, что он может служить не только образцом экономического устройства для всякой сельской и ремесленной промышленности, но и примером сочетания христианской идеи с потребностями внешнего, материального существования. На эту то прибавку именно западники наши и не согласились: они отвергали ее самым положительным образом, признавая, что русская община спасает интересы народа в настоящую минуту и дает ему средство бороться с несчастными обстоятельствами, его окружающими, но за общинным владением они не признавали никакого всесветного экономического принципа, который мог бы быть годен для всякого хозяйства. Временное значение артели и общины западники подтверждали примером точно таких же установлений, являвшихся у всех первобытных народов, и думали, что с развитием свободы и благосостояния русский народ и сам покинет эту форму труда и общежития. Убеждения эти принадлежали и современной им политико-экономической науке, которая, вместе с ними, признавала общинный порядок производства ценностей и равномерного распределения земли и орудий

труда не более как мероприятием против голода со стороны нищенствующего, младенчествующего народного быта, и не позволяла питать никаких надежд на приобретение им в будущем какого либо политического или экономического значения. В таком виде представлялся западникам «русский социализм». Совсем в другой форме явился перед ними новый «европейский социализм». Начать с того, что он открывал блестящие перспективы во все стороны и развертывал перед глазами лучезарную фантастически освещенную даль, которой и границ не было видно. Как уже было сказано, европейские социальные теории изучались тогда очень прилежно, но из самых теорий этих получались только более или менее хорошо связанные и размещенные коллекции неожиданных, изумляющих и подавляющих афоризмов. Европейский социализм того времени не стоял еще на практической и научной почве, а только разрабатывал покамест нечто в роде «видений» из будущего строя общественной жизни, которую он сам рисовал по своему произволу. Существенной частию его содержания была ожесточенная критика всех экономических уставов и действующих религиозных верований и убеждений, которая служила ему способом очистить самому себе место в умах: она и давала ему сильно намеченный, боевой характер. И в каких энергических словах выразился этот характер! Уже не говоря о пресловутом восклицании Прудона—la propriété c'est le vol [1],—о

[1] „Собственность—это воровство“.

не менее знаменитом изречении портного Вейтлинга [1] — «Нам предоставлен только один вид свободного труда—грабеж»,—сколько было еще других, тоже ослепляющих и оглушающих тезисов тогдашнего молодого социализма, над которыми приходилось работать его неофитам: «Торговля и сословие купцов, ею созданное, не что иное, как паразиты в экономической жизни народов»;—«результаты *коллективного* труда рабочих достаются даром патрону, который всегда оплачивает только единичный труд»;— «правильная ассоциация распределяет работу по силам каждого, а вознаграждение по нуждам его»; — «способности рабочего не дают ему права на большую долю вознаграждения, будучи сами даром случая»;—«искусство и талант суть уродливости нравственного мира, схожие с уродливостями физическими, и никакой оценки и оплаты не заслуживают»; — «рабочий имеет такое же право на произведенную им ценность, как и заказчик ее»;—«цивилизация Европы есть прямое порождение праздных ее сословий»—и так далее, и так далее. Я привел здесь только тезисы и положения нового социализма, какие попали под перо, но их было множество, и все они раздражали воображение гораздо более, чем целые системы этого же направления, в роде систем Сен-Симона или Фурье, так как у первого иерархический характер учения, а у второго искусственная гармония темпераментов и

---

[1] Вильгельм Вейтлинг—политический деятель, социалист, автор „Гарантий гармонии и свободы" (1842 г.) и „Евангелия бедного грешника" (1843 г.). О нем см. в книге В. Полонского—„Бакунин" (т. I, Гиз, 1922).

психических серий — возбуждали многими своими сторонами недоумение и юмор. При афоризмах же и тезисах «воюющего» социализма, наоборот, никто и не предъявлял требований на очевидность и убедительность доказательств. Сила этих громоносных положений заключалась не в их логической неотразимости, не во внутренней их правде, а в том, что они возвещали какой то новый порядок дела и как будто бросали полосы света в темную даль будущего, открывая там неизвестные, счастливые области труда и наслаждения, о которых всякий судил по впечатлению, полученному в короткое мгновение той или другой из подобных вспышек. Эти *прозрения* в будущее, однако ж, действовали чрезвычайно различно на людей самого круга. Грановский, например, нисколько не обольщался ими.

Признавая европейский социализм явлением, которое уже не может быть оставлено без внимания ни историком, ни вообще мыслящим человеком, он смотрел на него, как на болезнь века, тем более опасную, что она не ждет и не ищет помощи ни откуда. «Социализм, - говорил он, — чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает, а в стороне от нее, чем и себя, и ее подрывает». Иначе отнеслись к нему Герцен и Белинский.

Воинственные манифесты социализма, возвещавшие истребительный поход его на европейскую цивилизацию, не приводили их в ужас. Конечно, ни у того, ни у другого не было и

помина об усвоении всех его предписаний или о превращении всех его претензий в догматы собственной своей «веры» (это было бы и нелепо в их обстановке). Многие из нивеллирующих декретов социализма даже казались и им юношескими вспышками, но они смотрели гораздо бодрее, хладнокровнее и спокойнее, чем Грановский, на участь современной образованности, если бы она должна была потерпеть некоторый ущерб. А в том, что образованности этой предстоит не малое испытание—уже никто не сомневался: тогда во всей Европе думали, что с социализмом надвинется на нее свирепый ураган, долженствующий потрясти все так долго и так трудно нажитые ею верования, убеждения, привычки, мысли и исторические основы. Разница в способах относиться к этим предчувствиям переворота именно и образовала ту *рознь* в Московском кружке, о которой теперь говорим. Г[ерцен] был за-одно с Белинским, и они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе со стороны социализма, не призывая, но и не ужасаясь развалин, которые он должен произвести. Они думали, что из пепла старой цивилизации Европы возникнет феникс—новый порядок вещей, как венец и последнее слово ее тысячелетнего развития.

Все предчувствия переворота, напротив, тревожили Грановского в высшей степени, и самый переворот, как он представлялся его уму, не вызывал у него ни малейшей симпатии, никаких радужных надежд или ожиданий. Разногласие между друзьями было, как видим, совершенно

невинного характера, не имея в основании своем ничего, кроме предположений и гаданий, но оно сопровождалось еще ирониями и диспутами, обнаруживавшими взгляды сторон и на другие предметы нравственного характера. Раз затянувшись, спор уже поддерживался множеством горючих элементов, прибывавших к нему со стороны, из ученых и других явлений тогдашней жизни.

Одним из таких горючих материалов должно считать, между прочим, хорошо известную книгу Фейербаха, [1] которая находилась тогда во всех руках. Можно сказать, что нигде книга Фейербаха не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем «западном» круге, нигде так быстро не упраздняла остатки всех прежних предшествовавших ей созерцаний. Г[ерцен], разумеется, явился горячим истолкователем ее положений и заключений, связывая, между прочим, открытый ею переворот в области метафизических идей с политическим переворотом, который возвещали социалисты, в чем Г[ерцен] опять сходится с Белинским *. Но Грановский с горечью в душе, уже тронутый сомнениями, отбивался от того последнего слова, которое требовали у него друзья по поводу всех подобных явлений, и не говорил его, силясь сохранить

---

[1] L. Feuerbach — „Das Wesen des Christentums“ (1843).

* Кстати заметить еще факт. Для Белинского собственно был сделан в Петербурге, одним из приятелей, перевод нескольких глав и важнейших мест из книги Фейербаха — и он мог, так сказать, осязательно познакомиться с процессом критики, опрокидывавшей его старые мистические и философские идолы. Нужно ли прибавлять, что Белинский был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие либо вопросы от себя, чем всегда так отличался. *Прим. автора.*

иод собой историческую, конкретную основу существования, подмываемую со всех сторон. Он начинал расходиться с собственным кругом, с тем кругом, в котором, по собственным словам его, заложены были целиком его сердце и вся нравственная часть его существования. Охлаждение и разногласие между друзьями уже существовало втайне прежде, чем вышло наружу. Уже в Соколове Грановский сказал раз при мне, шутя отпрашиваясь у общества в Москву для свидания с другими приятелями, там оставшпмися, и преимущественно с домом Елагиных: «Мне это нужно, чтобы не совсем загрубеть между вами—вот вы ведь успели уже лишить меня бессмертия души». Слова эти, не смотря на шуточный их характер, поразили меня тогда же, как разоблачение. Через год, именно в 1846 г., решение Грановского было принято окончательно. Герцен рассказывает в своих «Записках», что Грановский однажды положительно объявил ему, после какого то горячего прения между ними, что он, Грановский, не может дальше итти с прежними своими товарищами в том направлении, какое все более и более усвояется ими и из которого он не видит никакого разумного выхода; что он принужден, с болью в душе, выделиться из дорогого ему круга, по многим религиозным, нравственным и историческим вопросам, и заявить это твердо и искренно. Г[ерцен] был поражеп: он терял друга—и какого друга!—своей молодости, да и видел еще, с какой глубокой печалью на лице и каким голосом Грановский представил свой ультиматум! Изумленный и растерянный, Г[ер-

цен] обратился тогда же за разъяснением дела, а если можно, то и за посредничеством, к Е. Ф. Коршу, но он встретил у него уклончивый ответ, который показывал, что не все члены круга расположены смотреть на заявление Грановского, как па минутную или капризную вспышку. Евг. Корш не одобрял крутой постановки вопроса, какую сделал Грановский, но из объяснений его можно было догадаться, что сам Корш признавал однако основательность поводов, которые понудили Грановского к его заявлению. Разрыв приобрел значение несомнённого факта и требовал, подобно перелому кости в организме, наложения на первых порах перевязки и предоставления затем живительному действию времени—произвесть сростание члена. Так и было сделано. Полного, совершенного исцеления однако же не последовало между надломленными членами кружка. А между тем, я был свидетелем, что до конца жизни ни Грановский, ни Г[ерцен], ни Белинский не могли говорить друг о друге без умиления и глубокого сердечного чувства.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

БЕЛИНСКИЙ И МОСКОВСКИЕ ЗАПАДНИКИ.—П. Н. КУДРЯВЦЕВ.—БЕЛИНСКИЙ И ГЕРЦЕН.—ПРИЗНАНИЕ «БЕЛЛЕТРИСТИКИ».—ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ СЛАВЯНОФИЛОВ И ЗАПАДНИКОВ.

Что же делал Белинский за все это время? В конце лета этого года (1845) Белинский жил на даче, на Парголовской дороге, против соснового леска, окружавшего озеро Парголовское. Мы туда и ушли с Белинским, когда по прибытии в Петербург, я приехал навестить его и переговорить о всем, что видел за лето. Я ему передал подробности впечатлений, вынесенных мною из пребывания в Соколове. Он выслушал внимательно мое сочувственное описание тамошних дел и слов, и промолвил: «Да, московский человек—превосходный человек, но кроме этого он, кажется, ничем более не сделается».

Белинский оставался теперь почти один со знаменем и девизом непримиримой вражды. Он считал своей обязанностью еще выше держать это знамя на показ с тех пор, как ряды его защитников стали расстроиваться. Не без огорчения смотрел Белинский на сближение враждебных партий в Москве,—сближение, которое сделалось возможным, как он думал, только потому, что одна партия не вполне договаривала свою мысль

и не вполне обнаруживала свои конечные цели, а другая—западническая, непомерно обрадовалась сочувственному слову и с закрытыми глазами предалась обычному своему наслаждению—кидаться на шею врагам и поскорее сажать их за один стол с собою. Причины разладицы увеличивались все более и более между друзьями: в борьбе с славянофилами Белинскому приходилось задевать и всех их союзников старых и новых. Недоразумения копились поэтому в лагере западников почти при всяком обмене мыслей между старыми друзьями. Сбереглась в целости только одна черта в их обычных сношениях. Друзья не скупились на взаимные обличения и жестокие упреки, когда стояли лицом друг к другу, и обращались тотчас же в прежних друзей и верных товарищей, когда замолкали или расходились по домам. Беречь свои симпатии, нажитые в течение долгого времени, становилось тогда для всех необходимостью, нисколько не мешавшей каждому настаивать на своих убеждениях и их проводить в свет.

Белинский приступил тотчас же, с обычной своей страстностью и искренностью, к определению и уяснению пунктов разногласия, образовавшихся между московскими и петербургскими западниками. Прежде всего, он отнесся скептически и насмешливо к серьезным минам, с которыми ученые в Москве разбирают вопросы русской жизни, перенося их на почву науки, философии, философствующей истории и проч. По его мнению, вопросы эти не нуждаются в такой пышной обстановке и могут разрешиться очень простыми, не хитрыми и не мудреными мерами

и принципами, доступными каждому, самому простому пониманию. Так же точно и по отношению литературы к образованным классам общества Белинский думал, что последние нуждаются скорее в правильном устройстве их образа мыслей, чем в знании последних результатов европейской науки. Первое наглядное приложение этой системы отрицания дальних разъяснений и глубокомысленных упражнений в сфере идей, Белинский сделал тотчас же на письмах Г[ерцена] об изучении природы, которые стали появляться тогда же в «Отечественных Записках». Он признавал, что как положения, так и цели этих чрезвычайно умных статей в высшей степени важны, но не признавал возможности извлечь из откровений естествознания моральных и воспитательных указаний, нужных особенно для русских читателей, большинство которых еще не обзавелось органом для понимания первых нравственных начал: «И каким отвлеченным, почти тарабарским языком написаны эти статьи,—говорил Белинский,—точно Г[ерцен] составил их для своего удовольствия. Если я мог понять в них что нибудь, так это потому, что имею за собой десяток несчастных лет колобродства по немецкой философии,—но не всякий обязан обладать таким преимуществом!»

Несомненно, что в таких и им подобных заявлениях Белинского сквозило желание иметь дело с общественной литературой, занимающейся насущными вопросами дня, с популярным изложением научных и моральных истин (он вздыхал по литературе этого рода и в одном из тог-

дашних своих годичных обозрений словесности), но все таки основания его приговора казались очень жесткими. Они лишали интеллигентных людей эпохи последнего убежища от пустоты жизни, какое они еще находили в науке и в отвлеченной постановке вопросов. Они отнимали единственную арену, на которой дозволялось проявление мысли. Способствовать уничтожению этой арены или умалению ее значения в публике, значило просто, по мнению противников Белинского, играть за одно и в руку с обскурантами. В Москве смотрели на эту оппозицию Белинского эрудиции и чистому мышлению, как на громадную ошибку увлекающегося критика и, вдобавок, как на плохой расчет. Нельзя вызвать, — говорили там, — популярную пропаганду науки, закрывая или подрывая настоящие источники самой науки, принуждая или отстраняя ее деятелей и замещая нынешние условия умственной жизни одними упреками, страстными призывами и пожеланиями лучшего, тщета которых должна быть ясна самому вспыльчивому критику еще более, чем кому либо иному. Так расходились московские западники все далее и далее от центра западничества, образованного Белинским в Петербурге.

Помню любопытную сцену, приходящуюся к этому же времени: я был случайным свидетелем ее. П. Н. Кудрявцев, проезжая в Берлин, куда посылался для окончания своего профессорского образования, посетил, разумеется, в Петербурге Белинского, этого приятеля молодых своих годов, который в авторе «Флейты» находил когда то идеал природного эстетического

вкуса и понимания [1]. Но встреча их теперь оказалась в высшей степени сдержанной, холодной и напряженной—и, конечно, по ней трудно было бы догадаться о родственных связях, некогда существовавших между этими людьми. Кудрявцев являлся точным представителем московского взгляда на теперешнюю деятельность петербургского критика, и весь ход разговора, завязавшегося между старыми друзьями, ясно показывал, что тут лежит, в скрытой форме, довольно сильно назревший раздор. Как теперь смотрю на высокую фигуру П. Н. Кудрявцева, в синем фраке с светлыми металлическими пуговицами: он опрокинулся на кресло в приемной-столовой Белинского и останавливал порывы своего собеседника отрывочными, холодными фразами, которые, будучи сказаны обычным глухим голосом его и при каменном выражении на его лице, падали, как судейские приговоры. Белинский выбрал опять статьи Г[ерцена] для того, чтобы через них переслать упреки московским людям за их абстрактные отношения и к жизни, и к науке. Кудрявцев отвечал коротко: «Без абстракций нельзя обойтись при многих научных вопросах—за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Белинский старался развить мысль о необходимости предпочтения тех научных положений, которые наиболее приложимы к современному быту, и о необходимости трактования этих положений наиболее понятным для

[1] Петр Николаевич Кудрявцев (1816—1858)—историк, профессор московского университета, ученик и друг Грановского, автор нескольких повестей—в том числе и „Флейты".



П. Н. Кудрявцев.

читателей образом, — Кудрявцев отвечал: «Что за иерархия такая в науках? Отвлеченные науки так же необходимы, как и политические, и друг другу помогают. Почему не заниматься теми, с которыми более знаком, и в форме, которая более сподручна?» В таком тоне шла беседа некоторое время. Весь пыл Белинского, однако, не мог долго выдержать этого решительного отвода всех его положений, — отвода, повидимому, очень спокойного, но в сущности весьма гневного и неприязненного. Беседа падала сама собой, и старые друзья хладнокровно расстались, обмениваясь самыми пошлыми вопросами на прощании, точно посторонние. Устами Кудрявцева говорила известная часть московского университета.

И тот же самый П. Н. Кудрявцев через год, когда я посетил его уже в Берлине, при мне очень сурово и решительно остановил некоего г. С[азоно]ва, ученика и поклонника Шеллинга, но только очень низкой пробы, когда тот вздумал, очертя голову, ругать Белинского огулом. Надо знать, что С[азоно]в предлогом для своих ругательств взял неблагоприятный отзыв о Шеллинге, где то высказанный Белинским (кажется, в статье о «Тарантасе» графа Соллогуба), а сам Кудрявцев в то время состоял под неотразимым влиянием Шеллинговой «Философии Откровения» и говорил о ней с упоением, что не помешало ему, как сказано, круто отнять слово у своего единомышленника. Но так почти всегда действовали противники Белинского, да и он сам, принадлежавшие к особому, теперь уже вымершему, роду противников.

Не более злобы и ожесточения сохранил и Г[ерцен], знавший отзыв критика о его статьях и упоминавший об этих отзывах потом не раз. «Чудак этот, — говорил он, — изволит находить, что трудно выказать более ума и дельного взгляда на предмет в более темных выражениях, но он забывает, что иначе никакого ума и взгляда на русском языке и показать нельзя». Впрочем, Г[ерцен] скоро был с избытком вознагражден за строгие приговоры критика. Вслед за письмами об изучении природы появились в «Отечеств. Записках» первые главы известного романа Г[ерцена] *, и автор имел тотчас же удовольствие видеть, как внезапно переменились все отношения Белинского к его авторской деятельности. Белинский пришел от начальных глав романа в положительный восторг, который возрастал по мере развития повести. Критик наш, конечно, не просмотрел романтического колорита, который положен был на главные действующие лица романа, но отношения самого автора повести к своим лицам, горькая правда, с которой он излагает их порывы и мечтания, не исключающая, впрочем, и глубокого сочувствия к ним, а наконец — картина поучительной житейской драмы, возникающая из фальшивых общественных их положений, — все это поразило критика, почти как неожиданность. Он много ожидал от лучезарного ума Г[ерцена], но такого мастерства «сочинения» не ожидал. «Вот где его сила, — говорил он, — вот где он на просторе, и вот какая арена ему открылась для

* „Кто виноват"? *Прим. автора.*

богатырских литературных упражнений, к которым он склонен». Г[ерцен] был тронут этим неожиданным успехом своего романа, переломившим сухое настроение критика. «Виссарион Григорьевич,—замечал он потом шутя, но очень довольный приговором, — гораздо более любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым буточником, а в сказке ходим гордо, и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные». Г[ерцен] подтвердил свое воззрение на «сказку», да оправдал и пророчество Белинского, напечатав в 1847 г. («Современник», 1847 года) так называемые «Записки» и т. д. (о душевных болезнях вообще, и проч.) [1]. Это была тоже сказка, но — сказка, захватывавшая глубокие психологические и социальные вопросы.

Была, однако ж, и еще причина для этих симпатических излияний Белинского, кроме той, которая порождалась самым литературным достоинством произведения Г[ерцена]: Белинский склонялся все более к признанию важного значения так называемой беллетристики, разнообразной, умной, цепкой беллетристики, какая существует во всех странах Европы, образуя в них такой же существенный элемент общественного развития, как и художественные произведения, и часто служа пособием для их по-

[1] „Доктор Крупов. Повесть о душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности. Сочинение доктора Крупова“.

нимания. Со стороны Белинского этот ввод нового деятеля в область искусства и это снабжение его патентом на право гражданства в ней не было изменой старым положениям критика 1840—1845 гг., а только дополнением их. «Великие, образцовые произведения искусства и на ки, — говорил он, — были и останутся единственными пояснителями всех вопросов жизни, знания и нравственности, но до появления таких произведений, заставляющих иногда ждать себя по-долгу, беллетристика—дело необходимое. В эти долгие промежутки она предназначена за имать, питать и поддерживать умы, которые без нее обречены были бы на праздность или на повторение старых образцов и преданий». Желать возникновения беллетристики, не придавая ей значения последнего судьи всех современных задач—значило для него только желать обмена идей и сбора необходимого материала для разрешения этих задач уже путем науки и творчества, когда наступит их время. Зачатки такой беллетристики Белинский усмотрел именно в вышеупомянутом романе Г[ерцена], что однажды и высказал публично в разборе его, не придавая ему художнического значения, но ставя его высоко, как произведение умного, наблюдательного и развитого человека. По тем же поводам и первые произведения другого писателя, Д. В. Григоровича, выступившего в 1846 с повестью «Деревня», за которой последовала другая «Антон Горемыка» — обе возбудившие множество толков — встречены были чрезвычайно сочувственно нашим критиком. Он увидал в них начало эры талантливых разобла-

чений и ловкой проверки жизненных явлений из сельского нашего быта, важность которых была теперь несомненна для него.

Какую скромную роль ни отводил еще Белинский беллетристике вообще в литературе, но ходатайство за нее и предъявление ею прав на внимание—показались еще многим ересью. Ново и дико было то, что критик признавал учителями общества уже не одни гениальные или очень крупные таланты, как прежде, а и всю безымянную массу литераторов и деятелей, разработывающих вопросы жизни и времени по мере сил своих и понимания. Первая, усмотревшая новое направление Белинского, была, конечно, очень чуткая к видоизменениям его мысли—славянофильская партия. Она объявляла все учение о беллетристике прославлением публичной «болтовни», принижением серьезных тружеников в пользу «горланов». Мне самому приходилось слышать от некоторых — и не безвестных — лиц этой партии замечание, что поставление беллетристики на одну доску с поэтическим трудом похоже на оскорбление «святого духа».

Московским умеренным западникам новая пропаганда Белинского не показалась ни очень новой, ни такой страшной для дела образования: они знали участие беллетристики в создании общего умственного строя современной Европы. Притом же, внутри круга жило убеждение, что нападки врагов Белинского порождены просто недоразумением, у многих даже и сознательным, ибо преследователем художественности, чистого творчества и серьезного труда нельзя было его

и представить себе. И они были правы, как доказал восторг Белинского при появлении в том же 1845 г., еще в рукописи, «Бедных людей» Достоевского, которых он считал, на первых порах, замечательным художническим произведением.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

БЕЛИНСКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ. — Н. КЕТЧЕР В ПЕТЕРБУРГЕ. — СПОРЫ О ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ. — БЕЛИНСКИЙ О «ТАРАНТАСЕ» В. А. СОЛЛОГУБА.

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной, с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость»... «Вот от этой самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: какой этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная при том так, как делают обыкновенно художники, т. е. не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, на-

ехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы! Да я забыл вам сказать, что художника зовут «Достоевский», а образцы его мотивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей. Так встретил он первое произведение нашего романиста *.

И этим еще не кончилось. Белинский хотел сделать для молодого автора то, что он делал уже для многих других, как, например, для Кольцова и Некрасова, т. е. высвободить его талант от резонерских наклонностей и сообщить ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладеть предметами прямо, сразу, не надрываясь в попытках, но тут критик встретил уже решительный отпор. В доме же Белинского прочитан был новым писателем и второй его рассказ: «Двойник»; это — сенсационное изображение лица, существование которого проходит между двумя мирами — реальным и фантастическим, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни к одному из них. Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально странной темы,

* Во время вторичного моего отсутствия из России в 1816 г., почти такое же настроение охватило Белинского, как рассказывали мне, и с рукописью „Обыкновенная история“ И. А. Гончарова — другим художественным романом. Он с первого же раза предсказал обоим авторам большую литературную будущность, что было не трудно, но он еще предсказал, что потребуется им много усилий и много времени, прежде чем они наживут себе творческие идеи, достойные их таланта.

Прим. автора.

но мне, присутствовавшему тоже на этом чтении, показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость *набить руку*, что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения. Белинский, видимо, не мог освоиться с тогдашней, еще расплывчатой манерой рассказчика, возвращавшегося поминутно на старые свои фразы, повторявшего и изменявшего их до бесконечности, и относил эту манеру к неопытности молодого писателя, еще не успевшего одолеть препятствий со стороны языка и формы. Но Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора, обладающего потому и закоренелыми привычками работы, несмотря на то, что он являлся, повидимому, с первым своим произведением. Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он еще принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии. Так, решаясь отдать роман свой в готовившийся тогда альманах, автор его совершенно спокойно, и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги

особенным типографским знаком, например — каймой [1].

Впоследствии из Достоевского вышел, как известно, изумительный искатель редких, поражающих феноменов человеческого мышления и сознания, который одинаково прославился верностию, ценностию, интересом своих психических открытий — и количеством обманных образов и выводов, полученных путем того же самого тончайшего хирургически острого, так сказать, психического анализа, какой помог ему создать и все наиболее яркие его типы. С Белинским он вскоре разошелся — жизнь развела их в разные стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцание их были одинаковы.

Я не успел еще сказать, что две зимы — 1844 и 1845 гг. — Петербург видел в стенах своих и постоянного своего антагониста Н. Кетчера. Н. Кетчер провел в Петербурге эти зимы по служебным делам и страшно скучал по родному своему городу, в который и возвратился окончательно летом 1845 г., где, как мы видели, я и застал его на даче в Соколове. В Петербурге он занимался переводом с немецкого какой то терапевтической или фармацевтической книги, долженствовавшей служить руководством для учебных заведений ведомства медицинского департамента, но поверх этой книги всегда лежали на письменном его столе томики Шекспира в оригинале и в немецком тексте, и он свободно пере-

[1] К этому см. фельетон И. И. Панаева „Литературные кумиры, дилеттанты и проч. (*Из моих воспоминаний*)“. — „*Полное собрание сочинений*“, т. 5 (1889) и повесть Некрасова с комментарием К. И. Чуковского в „Ниве“ 1917, № 37.

ходил от перевода учебной книги к переложению поэтических созданий британского драматурга. В промежутки между этими занятиями он посещал театр и общество петербургских актеров, которых довольно своеобразно воспитывал, ругая почти все, что им нравилось и на что они возлагали большие надежды. Он иногда и собирал их в своей квартире, на Владимирской. Тут я встретил однажды и В. А. Каратыгина, бывшего в апогее своей славы. Знаменитый трагик эпохи показался мне несколько нелепым со своим громадным ростом, густым и глухим басом, величавым видом и тупо сдержанным и значительным словом. По бешенству жестов, изысканности поз и утрировке выражений, он частенько бывал нелеп и на сцене, но тут он выкупал эти недостатки инстинктивной отгадкой главной черты изображаемого характера, проведением ее через всю роль и передачей ее в возможной яркости и рельефности, чем и достигал подчас замечательных эффектов.

Пребывание Кетчера ознаменовалось постоянными нескончаемыми толками о различии и противоположных качествах обеих наших столиц. Белинский, огорченный *сделками* партий в Москве, гремел против города, имеющего тлетворное влияние на самых здравомыслящих людей, а Кетчер исполнял теперь роль адвоката Москвы, что было согласно с обычаем, принятым в круге — всегда стоять за отсутствующих. Мы видели, что летом, возвратясь на свое родное пепелище, в Москву, он оказался, наоборот, горячим защитником петербургских взглядов. Впрочем, в спорах между друзьями не было ни-

чего нового, за исключением одной черты: тут препирались уже не представители двух враждебных партий, а представители одной и той же дружеской партии, что подтверждало ее распадение. Обе столицы, Москва и Петербург, опять употреблены были в дело, как прежде в борьбе с чистыми славянофилами, — для обозначения духа и содержания новых отделов раздвоившейся партии западничества. Москва и Петербург присуждены были, как и прежде, взимать на себя увлечение, страсти, гневные вспышки современников и служить им орудиями борьбы. Петербургское «западничество» выражалось устами Белинского: «Между питерцем и москвичем, — говорил Белинский, подразумевая уже одних западников (я сохраняю здесь смысл речей его, но не самую форму их), — никакой общности взглядов долго существовать не может: первый — *сухой* человек по натуре, а второй — *елейный* во всех своих словах и мыслях. У них различные роли, они только мешают и гадят друг другу, когда сойдутся». Этот афоризм я передал почти буквально, потому что часто слышал его от Белинского. Затем, по мнению Белинского, если позволительно мечтать о появлении у нас большой литературной и общественной партии когда либо, то ее следует ожидать только из Петербурга, потому что единственно в Петербурге люди знают истинную цену вещей, слов и поступков, а затем еще и потому, что единственно в Петербурге люди ничем не обольщаются, и принимают без благодарности и умиления всякие подарки и милости, как нечто им следующее; а наконец, и потому, что способны, без сердеч-

ных болей, отделываться от застарелых мыслей и от хороших людей, если они ни к чему ни ведут или мешают достижению раз поставленной цели. Как далеко ушел Белинский от своих еще не очень давних томлений по Москве и нежных воспоминаний о ней! Кетчер, от имени московских западников, выражал совсем другое мнение. По его толкованию, вся работа петербургского человека заключается в том, чтоб *прослыть* умным человеком, при чем всяческие воззрения, убеждения, тенденции считаются у него различными видами дурачеств, мешающими устройству карьеры, а затем уже, прослыв умным человеком, петербуржец спит и видит, как бы продать себя подороже со всем своим багажем.

В статейке «Петербург и Москва», написанной Белинским, в 1846 г., для альманаха Некрасова [1] и отражающей хорошо его споры с другом, критик сознается, что Москва больше и лучше читает, больше и лучше думает, но он прибавлял еще в разговорах своих к этому замечанию, что в Петербурге люди лучше держат себя и порядочнее себя ведут, точно приготовляясь к чему то серьезному: на этом основании истому и распущенному москвичу становится даже и жутко на берегах Невы. Кетчер имел ответ и на это положение. Он, приблизительно, выражал такую мысль: излишества, безобразие и всякие чудовищности москвича еще почтеннее приличия и сдержанности питерца. Там все уродливости наголо и ничем другим, как

[1] „Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова“. Часть I. СПБ 1845 г.

уродливостями, не слывут, а здесь в целый год не узнаешь, какой человек у тебя перед глазами, герой ли добродетели или отъявленный негодяй. Замечательно, что в таких противоположных терминах прения между друзьями могли держаться целые месяцы сряду, но это оттого, что в спор заплеталось множество личных вопросов и множество соображений, иорождаемых явлениями и событиями каждого дня в двух столицах. При том же спор этот был тогда повсеместный, общий, и происходил, так или иначе, в каждом доме, где только собирались люди, не чуждые литературе и вопросам культуры.

Какими бы странными, пустыми и праздными ни казались все споры подобного рода современным людям, но нельзя сказать, чтобы они лишены были вовсе дельных оснований и поводов для возникновения своего в эпоху, когда процветали: западная партия, например, в Москве и Петербурге усматривала в лицах, по сочувствию их к тому или другому городу, оттенки мнений, распознавать которые другим путем было очень трудно, видела сразу по одному расположению человека к тому или другому центру западнического направления настоящее знамя человека и его истинные взгляды на общее дело просвещения, угадывала, наконец, цвета и краски, в какие должны отливаться все его убеждения. Белинский даже по степени симпатических отношений к одной из столиц наклонен был узнавать своих единомышленников или своих тайных недоброжелателей. Все это, однако же, продолжалось недолго, как сейчас увидим, потому что характер самых предметов сравнения начал,

с переходом одних деятелей и представителей направления на другую почву, с исчезновением иных вовсе из среды партий,—меняться часто: мерило для расценки и определения величин, противопоставленных друг другу, — оказывалось беспрестанно неверным, неприложимым.

Гораздо долее этого спора держались толки и прения по поводу известной фикции, условного представления, по которому седалищем славянофильства признавалась Москва, а западнических тенденций Петербург. Препирательства, вызванные этой фикцией, возобновлялись несколько раз и впоследствии, но и они кажутся теперь занятием, придуманным для себя людьми, страдавшими обилием праздных сил. Глазу современного человека чрезвычайно трудно найти во всех этих спорах исторически верный факт, так как он видит теперь одни обломки явлений, не распознает связи их с психической жизнию эпохи и развлечен тем, что все эти остатки недавнего нашего прошлого стоят перед ним уже в новом, совершенно переработанном, почти неузнаваемом виде, какой сообщило им последующее развитие нашей мысли и печати, принявшееся за их восстановление в свою очередь.

Но толки и горячие беседы не составляли для Белинского никогда настоящего дела, а только были приготовлением к нему. Статьям его весьма часто предшествовал долгий обмен мыслей с окружающими людьми или предпосылалось изложение идей, его занимавших, в дружеских разговорах, чем он одинаково разъяснял самому себе свои темы и будущий порядок их развития. Так случилось и теперь.

Белинский воспользовался появлением романа гр. Соллогуба «Тарантас» [1], чтобы поговорить серьезно, подробно и уже печатно со своими московскими друзьями. Известно, что западники чрезвычайно откровенно относились друг к другу в своем интимном кружке, но чуть ли Белинский не первый перенес эту откровенность и в печать. Правда, пример подала славянская партия в «Москвитянине», как мы видели. Она принялась там за чистку домашнего белья и за сведение счетов между собой, но тотчас же и отказалась от этой попытки, находя, вероятно, что малочисленность ее семьи требует крайней осторожности и снисходительности в обращении членов между собой. Только на условии взаимной поддержки партия и могла сохранить свою целость и сберечь весь свой персонал, нужный для борьбы. Потребность держаться сплоченной, по возможности, перед врагами приводила ее затем уже постоянно не только к публичному, непрестанному выставлению на показ лучшей стороны своих деятелей, при чем тщательно покрывались молчанием все частные разногласия с ними, но и к отысканию блестящих сторон деятельности у таких людей своего круга, которые их вовсе не имели. Все соображения и расчеты подобного рода никогда не помещались в голове Белинского и никогда не могли остановить его. Он и теперь отдался вполне своему намерению, без всякого колебания. Статью Белинского о «Тарантасе» гр. Соллогуба можно назвать образцом мастерской полемики, говоря-

[1] „Тарантас. Путевые впечатления. С великолепными политипажами". СПБ. 1845.

щей гораздо более того, что в ней сказано формально. Она произвела сильное впечатление на людей, умевших различать за слышимой речью другой, потаенный голос, а кто тогда не умел этого? Белинский чрезвычайно искусно воспользовался двойным характером разбираемого произведения, изображавшего очень верно, иногда даже с истинным юмором, скудную умственную и житейскую арену, но которой двигались представители как нашей первобытной, так и поправленной, щеголеватой Руси, но в то же время дополнявшего еще свои картины фантазиями на счет будущего блестящего развития той самой печальной среды, которую рисовало. Выходило так, что грубость и бесплодие почвы именно и дают право надеяться на получение с нее обильной жатвы и ослепительных результатов. Белинский отдавал полную справедливость реальной живописи предметов и образов, какую находил в романе, и относился с презрением к фантастическим пророчествам и пояснениям его, которые, говорил он, ничего не доказывают, кроме бедности суждения и созерцания автора, если только не полагать у него *иронических* намерений. Белинский называл все эти детские *прозрения в будущее* России дон-кихотством, но прибавлял, что это дон-кихотство невинное и еще очень низкой, второстепенной пробы, а есть и другое, более опасное и лучше обдуманное, — и затем критик восходил к описанию этого дон-кихотства высшего сорта и порядка, начало которого Белинский усмотрел за границей в сфере науки истории и философии, стало быть — в сфере высоко-развитых людей и пре-

достерегал от появления его у нас *. Это дон-кихотство высшего полета, по мнению Белинского, верует в возможность примирения начал, диаметрально противоположных друг другу, убеждений и взглядов, взаимно исключающих друг друга, и занято отысканием какого нибудь уголка в области мысли, где бы мог спокойно совершиться устраиваемый им насильственный брак, противоестественный союз различных направлений. Как ни пышно с вида это псевдо научное дон-кихотство, располагающее однако же огромными средствами эрудиции, диалектики и философской находчивости, оно все таки, говорил Белинский, сродни пошловатому дон-кихотству Соллогубовского романа. Обоим им обще стремление искать спасения от жизненной правды, бьющей в глаза, в области лжи и фантазии. Все намерения и цели полемической статьи этой были достаточно ясны и прозрачны для всех, посвященных в дела литературы, но Белинскому хотелось досказать и последнее свое слово. Он вменил в заслугу автору и то обстоятельство, что он дал генерическое имя и отчество вздорному герою-мечтателю своего романа, назвав его «Иваном Васильевичем».—«Мы теперь будем знать, говорил Белинский, как называются у нас все фантазеры этого рода»,—а известно, что И. В. Киреевский, автор замечательных статей «Москвитянина», носил то же имя и отчество.

Как отразилась эта статья на московских друзьях Белинского,—видно из речей и мнений на даче в Соколове, о которых было уже говорено прежде.

---

* Он имел в виду преимущественно новую систему Шеллинга (философия откровения), а после нее учение Бюше (Buchez)—о католическом социализме, и другие. *Прим. автора.*

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

ПОЛЕМИКА «СЛАВЯН» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ».—ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СЛАВЯНОФИЛОВ.—ПОВОРОТ БЕЛИНСКОГО.— МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛИНСКОГО В «ОТЕЧ. ЗАПИСКАХ».—В. Н. МАЙКОВ.—ПРОЕКТ АЛЬМАНАХА.— ПОКУПКА «СОВРЕМЕННИКА».

Между тем приближалось время очень важного переворота в жизни Белинского.

Скорее, чем можно было ожидать, оказалось, что Белинский ошибался, когда, благодаря ослабевшей энергии наших партий, пророчил близкое воцарение равнодушных отношений к существенным вопросам русской жизни, или когда опасался, что партии окончательно сойдутся на каком либо фантастическом представлении из области истории, права и народного быта, которое не будет иметь ни малейшей связи с современным положением дел. Ничего подобного не случилось, да и не могло случиться. Какие бы шаги ни делали умеренные отделы наших партий на встречу друг другу — сойтись они все таки никак не могли, как показало – и очень скоро – последующее время. Между ними лежала пропасть—образовавшаяся из различного понимания роли русского народа в истории и различного суждения о всех других факторах и элементах той же истории. «Славяне», как известно, давали самое

ничтожное участие в развитии государства пришлым иноплеменным элементам, за исключением византийского, и во многих случаях смотрели на них, как на несчастие, помешавшее народу выразить вполне свою духовную сущность. «Европейцы», наоборот, приписывали вмешательству посторонних национальностей большое участие в образовании московского государства, в определении всего хода его истории, и даже думали, что этнографические элементы, внесенные этими чуждыми национальностями, — и устроили то, что называется теперь народной русской физиономией. Разногласие сводилось окончательно на вопрос о культурных способностях русского народа, и вопрос оказался настолько силен, что положил непроходимую грань между партиями.

«Славянская» партия не хотела, да и не могла удовольствоваться уступками своих врагов, — пониманием народа, например, как одного из многочисленных агентов, слагавших нашу историю,— а еще менее могла удовольствоваться признанием за народом некоторых симпатических, нравственно-привлекательных сторон характера, на что охотно соглашались ее возражатели. Она требовала для русского народа кое чего большего. Она требовала именно утверждения за ним громадной политической, творческой и моральной репутации, великой организаторской силы, обнаружившейся в создании московского государства и в открытии таких общественных, семейных и религиозных идеалов существования, каким ничего равносильного не могут противопоставить наши позднейшие и новые порядки жизни. На этом основании и не заботясь об исторических

фактах, противоречивших ее догмату, или толкуя их ловко в свою пользу, она принялась по частям за лепку колоссального образа русского народа, с целью создать из него тип, достойный поклонения. С первых же признаков этой работы по сооружению, в лице народа, апофеозы нравственным основам и идеалам старины, и еще не дожидаясь ее конца, московские западники, целым составом, усвоили себе задачу — неустанно объявлять русский народ славянофилов лже-народом, произведением ученой наглости, изобретающей исторические черты и материалы, ей нужные. Особенно укоряли они своих ученых противников в наклонности принимать под свою защиту, по необходимости, даже и очень позорные бытовые и исторические факты истории, если их нельзя уже пропустить молчанием или нельзя целиком отвергнуть, как выдумку врагов русской земли.

Полемика эта длилась долго и особенно разгорелась уже в 50-х годах, в эпоху замечательных славянофильских сборников (1852—1855 г.: «Московский Сборник», «Симбирский Сборник», «Беседа»). Душой этой полемики, после того, как уже не стало и Белинского, был тот же самый Грановский, заподозренный некогда петербургскими друзьями в послаблении врагам, хотя он сам редко выходил на арену. Правда, что это всегда был враг великодушный. Известно, что в разгаре спора много было сказано дельных положений с обеих сторон и много обнаружилось талантов, успевших приобрести себе впоследствии почетные имена. Ни один из них не прошел незамеченным Грановским спервоначала. Человек

этот обладал в высшей степени живучей совестливостию, понуждавшей его указывать на достоинство и заслугу везде, где он ни встречал их, не стесняясь никакими посторонними, кружковыми или тактическими соображениями. Нередко приходилось нам всем слышать от него такую оценку его личных врагов и врагов его направления, какую могли бы принять самые благорасположенные к ним биографы на свои страницы. Между прочим, он очень высоко ценил молодого Валуева [1], автора известной статьи о «Местничестве» в одном из славянофильских сборников, так рано умершего для отечества, и говорил о нем не иначе, как с умилением.

Освобожденный от страха видеть заключение спора, так много стоившего ему, каким нибудь простым компромиссом между партиями, Белинский уже спокойнее и объективнее отнесся к самому вопросу о доле, какую должны иметь и имеют народные элементы в культурном развитии страны. Теперь (1846), когда оказалось, что дело обличения заносчивой пропаганды и излишеств национальной партии может рассчитывать на старых сподвижников — спокойный ответ на вопрос значительно облегчался. Нельзя уже было не видеть, что учение о народности, как повод к изменению нынешних условий ее существования, имеет весьма серьезную сторону; только опираясь на это учение, открывалась возможность говорить об ошибках русского общества, повредивших чести и достоинству государства.

---

[1] Дмитрий Александрович Валуев (1820 — 1845) — славянофил, историк, друг С. П. Шевырева.

Пример был налицо. «Славянская» партия, несмотря на все возражения и опровержения, приобретала с каждым днем все более и более влияния и подчиняла себе умы, даже и не очень покорные по природе, и подчиняла одной своей проповедью о неузнанной, несправедливо оцененной и бесчестно-приниженной русской народности.

И действительно, как бы сомнительна ни казалась идеализация народа, производимая «славянами», какими бы шаткими ни объявлялись основы, на которых они строили свои народные идеалы — работа «славян» была все таки чуть ли не единственным делом эпохи, в котором общество наше принимало наибольшее участие, и которое победило даже холодность и подозрительность официальных кругов. Работа эта одинаково обольщала всех, позволяя праздновать открытие в недрах русского мира и посреди общей моральной скудости — богатого нравственного капитала, достающегося почти задаром. Все чувствовали себя счастливее. Ничего подобного «западники» предложить не могли, у них не было никакой цельной и обработанной политической теоремы, они занимались исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений, и не отваживались на составление чего либо похожего на идеал гражданского существования при тех материалах, какие им давала и русская, и европейская жизнь. Добросовестность «западников» оставляла их с пустыми руками, — и понятно, что положительный образ народной политической мудрости, найденный славянофилами, начинал поэтому играть в обществе нашем весьма видную роль.

Вольное обращение с историей, на которое им постоянно указывали, нисколько не останавливало роста этого идеала и его развития; напротив, свобода толкования фактов способствовала еще его процветанию, позволяя вводить в его физиономию черты и подробности, наиболее привлекательные для народного тщеславия и наиболее действующие на массы. Ошибки, неверности, нарушения свидетельств приходились тут еще на здоровье, так сказать, идеалу и на укрепление партии, его воспитавшей. Между тем — сознательно или бессознательно — все равно — партия достигала с помощью своего спорного идеала несомненно весьма важных целей. Тут случилось то, что не раз уже случалось на свете: рискованные и самовольные положения принесли гораздо более пользы обществу и людям, чем осторожные, обдуманные и потому робкие шаги беспристрастного исследования. Партия успела ввести в кругозор русской интеллигенции новый предмет, нового деятельного члена и агента для мысли — именно народ, и после ее проповеди ни науке вообще, ни науке управления в частности уже нельзя было обойтись без того, чтобы не иметь его в виду при разных политико-социальных решениях и не считаться с ним. Это была великая заслуга партии, чем бы она ни была куплена. Впоследствии, и уже за границей, Г[ерцен] очень хорошо понимал значение возведенной постройки славянофилов и не даром говорил: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами».

Но если это то было невозможно покамест, то по крайней мере уже наступало время понимать важность подобных тем. Не далее как в 1847 г. сам Белинский уже говорил о нелепости противопоставлять национальность общечеловеческому развитию, как будто эти явления непременно должны исключать друг друга, между тем как, в сущности, они постоянно совпадают. Общечеловеческое развитие не может выражаться иначе, как чрез посредство той или другой народности, оба термина даже и немыслимы один без другого. Мысль свою он подробно развил в статье «Обозрение литературы 1846 года». В ней особенно любопытно одно место. К этому месту Белинский подходит предварительным и очень обстоятельным изложением мнения, что как отдельное лицо, не наложившее печати собственного своего духа и своего содержания на полученные им идеи и представления—никогда не будет влиятельным лицом, так и народ, не сообщивший особенного, своеобразного штемпеля и выражения нравственным основам человеческого существования, всегда останется мертвой массой, пригодной для производства над нею всяких экспериментов. Пространное развитие этого положения Белинский заключает словами, почти буквально повторяющими точно такие же слова Грановского, сказанные в Соколове по поводу сочувствия, какое вынуждают к себе почасту основные убеждения «славян», хотя собственно критик наш этих слов Грановского сам не слыхал. Вот это место: «Что *личность* в отношении к идее человека, то — *народность* в отношении к идее человечества. Без националь-

постей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. *В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитиков,* потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину то говорят как такое то издание такой то логики. Но, к счастию, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому»... Молодая редакция нового «Современника» 1847 г., для которого статья писалась и где она была помещена, думала однако же иначе об этом предмете. Так как борьба с славянофильской партией, да интерес более или менее художественной литературы обличения составляли пока всю программу нового журнала, то понятно, что движение его критика навстречу к обычным врагам петербургской журналистики затемняло одну и важную часть самой программы журнала. Впоследствии я слышал, что редакция много роптала на статью с такой странной, небывалой тенденцией в петербургско - западнической печати, и которой она должна была открыть свой новый орган гласности.

Таким образом разрешалась долгая полемика Белинского с лютейшими своими врагами.

Основание «Современника», 1847 г., положило предел участию Белинского в «Отечественных Записках», которым он так усердно послужил в течение шести лет, что создал почетное имя и положение журналу и потерял свое здоровье. С половины 1845 г. мысль покинуть «От. Записки» не оставляла Белинского, в чем его особенно

поддерживал Н. А. Некрасов с практической точки зрения. Действительно, материальное положение Белинского год от году становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни с какой стороны. Силы его слабели, семья требовала увеличенных средств существования, а в случае катастрофы, которую он уже предвидел, оставалась без куска хлеба. Может быть, никто из наших писателей не находился в положении более схожем с положением тогдашнего работника и пролетария в Европе. Подобно им, он никого лично не мог обвинять в устройстве гнетущих обстоятельств своей жизни — все исполняли по отношению к нему добросовестно свои обязательства, никаких притеснений он не испытывал, никаких чрезмерных требований не предъявлялось, и никто не делал попыток увернуться от условий, принятых по взаимному соглашению — все обстояло, таким образом, чинно, благопристойно, *респектабельно*, по английскому выражению, вокруг него. Но труд его все таки приобретал свою ценность только тогда, когда уходил из его рук, приносил всю пользу, какой от него ожидать можно было, изданию, а не тому, кто его произвел. Не было и возможности поправить дело, не изменяя обычных экономический условий, утвержденных раз навсегда. С каждым днем Белинский все более и более убеждался, что чем сильнее станет он напрягать свою деятельность и чем блестящее будут оказываться ее результаты в литературном и общественном смысле, тем хуже будет становиться его положение в виду неизбежного истощения творческого материала и уничтожения самой

способности к труду, вследствие его удвоенной энергии. Будущность представлялась ему, таким образом, в очень мрачных красках, и с половины 1845 г. мы слышали горькие жалобы его на свою судьбу, жалобы, в которых он не щадил и самого себя: «Да что же и делать судьбе этой,— говорил он в заключение — с глупым человеком, которому ничего в прок не пошло, что она ему ни давала» *.

И действительно, с концом 1845 г. Белинский покидает на время журнальную работу и расстается с «Отечественными Записками». Событие это произвело некоторого рода переполох в маленьком литературном мире того времени. С удалением Белинского пророчили падение журнала, но журнал устоял, как всякое предприятие, уже добывшее себе прочные основы и открывшее притом готовую арену для литературной деятельности новоприходящим талантам. Таков был молодой Майков, принявший в свои руки наследство Белинского — критический отдел журнала: отдел этот обретал в нем новую свежую силу, вместо атрофии и расслабления, которыми ему грозили.

* Привожу анекдот из этих проявлений самоосуждения и самообличения, к которым он был склонен, но в которых был также всегда и искренен. Один из журнальных редакторов того времени, напечатав в своем издании переводный роман и заплатив за него условленную сумму переводчику, почел себя в праве выпустить перевод отдельной книжкой и в свою пользу. Но он напал на энергичного человека, который, после бесплодных протестаций, решился повести дело серьезно, и, пожалуй, дойти до судебных инстанций, какие тогда существовали. Редактор, принужден был уступить и возвратить переводчику его собственность. Выслушав рассказ, Белинский молча принялся шарить по углам комнаты, добыл там свою палку, и, подавая ее рассказчику, прибавил: „Учите меня, авось и я пойму, как должно беречь свое добро". Но выучиться этому он не мог, не переставая быть Белинским. *Прим. автора.*

В. Н. Майков отложил в сторону весь эстетический, нравственный и полемический багаж Белинского, и за норму оценки произведений искусства принял количество и важность бытовых и общественных вопросов, ими поднимаемых, и способы, с какими авторы указывают и разрешают их. Преждевременная смерть помешала ему развить вполне свое созерцание *.

С разрывом старых связей не все еще кончилось для Белинского; надо было отыскать средства существования. Белинский предвидел это и обратился, еще до разрыва, за советом и помощью к друзьям, излагая им свой план — издать уже прямо от своего имени большой альманах из совокупных их трудов, если они согласятся войти в его виды и намерения. Ответ не замедлил явиться. Со всех сторон знаменитые и незнаменитые писатели наши поспешили препроводить к нему все, что имели у себя наготове, и уже к началу 1846 г. в руках Белинского образовалась значительная масса рукописного и частию очень ценного материала, как показало позднейшее его опубликование. Не могла скрыться от глаз самого Белинского и внимания его ближайших советников во всем этом деле, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, важность собранного материала. Последние уже давно искали самостоятельной издательской деятельности и пробовали ее не раз — выпуском альманахов и сборников, но тут представлялся случай к осно-

---

* Вместе с В. Н. Майковым был еще и другой замечательный молодой человек, В. А. Милютин, тоже рано погибший. Они оба могут считаться последними отпрысками замечательного десятилетия и составляют уже переход к литературному периоду 1850—60 г.
Прим. автора.

ванию уже большого предприятия — нового периодического издания. Материал Белинского мог бы служить ему, на первых порах, готовой поддержкой. Тогда и возникла мысль о приобретении старого, Пушкинского «Современника», скромно, почти безвестно существовавшего под руководством П. А. Плетнева, мысль, которая и приведена была в исполнение Некрасовым и Панаевым. Они купили вместе с тем и весь «материал» Белинского (Панаев был главным вкладчиком при всех этих операциях), что и помогло Белинскому расплатиться с долгами и впервые почувствовать себя свободным человеком [1]. При этом новые редакторы «Современника» 1847 г. открывали ему еще и перспективу в будущем, которая особенно должна была цениться Белинским. Они включали его в число неофициальных соиздателей журнала (официальным выставлялся, в виде поруки перед цензурой, проф. А. В. Никитенко) и предоставляли ему, кроме платы за статьи, еще и долю в выгодах издания, какие окажутся. Без популярного имени Белинского действительно трудно было обойтись предприятию, но к этому примешивалась еще и надежда, разделяемая и Белинским, что все лучшие деятели Москвы последуют за ним в новое издание и разорвут связи с «Отечественными Записками». Надежде этой, однако же, не суждено было исполниться. Московские литераторы, да и некоторые из литераторов в Петербурге, желая полного успеха «Современнику», находили, что два ли-

---

[1] Ср. рассказ о покупке старого „Современника" в „Воспоминаниях" А. Я. Панаевой.

беральных органа в России лучше одного, что раздвоение направления на два представителя еще более гарантирует участь и свободу журнальных тружеников, и что, наконец, по коммерческому характеру всякого журнального предприятия вряд ли и новое будет в состоянии итти по какой либо иной дороге, в своих расчетах с людьми, как не по той же самой, по которой шло и старое. Все это происходило в то время, когда я, уже с февраля 1846 г. находился за границей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ГЕРЦЕН В ПАРИЖЕ.—ПАРИЖ ПРИ ЛУДОВИКЕ-ФИЛИППЕ.— РУССКАЯ КОЛОНИЯ.—Г. М. ТОЛСТОЙ.—КАРЛ МАРКС.— СОВЕЩАНИЕ С ВЕЙТЛИНГОМ.—ПИСЬМО МАРКСА.—ГЕРЦЕН.—ПИСЬМО В. БОТКИНА

В одно прекрасное утро, по осени[1] 1847 г., в крошечном салоне парижской моей квартиры, улице Caumartin, 41, явился господин, хорошо выбритый, по русскому обычаю, с волосами, зачесанными на затылок, и в долгополом сюртуке, который странно мешал его порывистым движениям. Это был Г[ерцен], носивший еще на всей своей внешности резкий отпечаток московского жителя, но скоро преобразившийся благодаря парижским портным и другим артистам, в полного джентльмена западной расы - с подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей все необходимые очертания, и пиджаком, ловко и свободно державшимся на плечах. Я обрадовался ему несказанно и выслушал юмористическую повесть об усилиях и домогательствах, какие потребовались ему для выезда, и потом о долгом вояже его, еще на *почтовых*,

---

[1] Весной — как видно из письма Анненкова к Белинскому от 25 марта 1847 г. („Письма“ Белинского, III, 368)

через всю Германию. Он прибыл в Париж со всем семейством, остановился на Place Vendôme и расспрашивал меня, как парижского старожила (я уже прожил целый год в столице Франции) об условиях, образе жизни и привычках новой своей резиденции, к которым, тоже по русскому обычаю, и применился весьма скоро. И не он один подчинился этого рода превращению и изменению своей оболочки, а с нею и самого образа жизни, но и семья его — и притом с свободой и развязностию, которые могли бы считаться изумительными, если бы не были всеобщим, всем известным свойством нашей природы. Жена Г[ерцена], после первой недели своего пребывания в Париже, представляла уже из себя совсем другой тип, чем тот, который олицетворяла собою в Москве. Впрочем, внутренняя переработка, изменившая ее нравственную физиономию, началась еще там, — как буду говорить, — и только завершилась в Париже. Из тихой, задумчивой, романтической дамы дружеского кружка, стремившейся к идеальному воспитанию своей души и не делавшей никаких запросов и никаких уступок внешнему миру, она вдруг превратилась в блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное место в большом, всесветном городе, куда прибыла, хотя никакой претензии на такое место и не заявляла. Новые формы и условия существования вскоре вытеснили у нее и последнюю память о Москве. Быстрота всех подобных внешних и внутренних метаморфоз, испытываемых русскими людьми, зависела, кроме их предрасположения к ней, еще и от многих других причин.

Париж, например, знаменитого буржуазного короля Лудовика-Филиппа обаятельно действовал различными сторонами своей политической жизни на русских, пробиравшихся туда всегда более или менее секретным, воровским образом, так как в наших паспортах заграничных того времени поименование Франции официально воспрещалось. Впечатление, производимое Парижем на пришельцев с севера, походило на то, которое является вслед за неожиданной находкой: они припадали к городу со страстию и увлечением путника, вышедшего из голой степи к давно ожидаемому источнику. Первое, что бросалось в глаза при этой встрече с столицей Франции, было, конечно, ее социальное движение. Везде по протяжению Европы уже существовали партии, подвергавшие разбору условия и порядки европейской жизни, везде уже слагались общества, рассуждавшие о способах остановить, изменить и направить течение современной жизни в другую сторону, но только в Париже критическое движение это вошло, так сказать, в колею обычных дневных явлений и притом освещалось чрезвычайно эффектно лучами французского народного духа, который умеет располагать в живописные группы людей, учения и идеи, и делать из них картины и зрелища для публики, прежде чем они сделаются руководителями и преобразователями общества. Не было возможности удержаться от участия к этому движению, которое слагалось из метких, остроумных статей журнального мира, из пропаганды на театре, из периодических лекций и конференций профессоров и не-профессоров. Так, три воскресенья

сряду я слышал в зале одного пассажа самого О. Конта, излагавшего основные черты своей теории перед толпой, которая и не предчувствовала, чем сделается эта теория впоследствии. Движение дополнялось еще массой социальных книг, начавших известную войну против официальной политической экономии, и фамильными собраниями честных, начитанных и развитых работников, уже принявших к сведению новые положения социализма и обработывавших их по своему, как впоследствии депутат Корбон, часовщик по ремеслу, которого мне тоже удалось видеть в его мастерской, служившей ему и редакцией для его журнала «L'Atelier». Все это были огоньки, которые предшествовали знаменитой революции 48-го года, никем, впрочем, еще тогда не предчувствуемой, и которая, сказать между прочим, своим внезапным приходом их всех и потушила. Когда я прибыл в Париж по весне 1846 г., я уже застал там целую русскую колонию, с главными и выдающимися ее членами, Б[акуниным] и С[азоно]вым [1], занятую непрерывным исканием и обсуждением бытовых, исторических, философских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральном короле Лудовике-Филиппе.

Однако, иначе нельзя было назвать покамест того образа занятий европейскими вопросами, который существовал тогда между русскими, как — забавой.

[1] Н. И. Сазонов (1815—1862), политический эмигрант — см. о нем в „Былом и Думах“ Герцена (часть пятая) и в книге Д. Рязанова „Карл Маркс и русские люди сороковых годов“ (П. 1918).

Дело шло тут преимущественно об удовлетворении любопытства, раздражаемого безустанно явлениями каждого текущего дня, об исполнении обязанности стоять настороже относительно всего, что происходит важного и ничтожного в городе, о добыче живого материала для разбора его, для упражнения критических своих способностей, а затем и более всего для развития бесконечной, пестрой, золотошвейной ткани разговоров, споров, выводов, положений и контрположений. Никакой ответственности перед собственной совестию, никакого обязательного начала для устройства собственной жизни и поведения при этом еще не представлялось никому. Необходимости подобного распорядка с собой не предвиделось и в будущем. О русской политической эмиграции не было еще и помина: она явилась только тогда, когда прокатился гром революции 1848 г. и заставил многих обратиться к своему прошлому, подвести ему итоги и поставить себя самого в ясное, определенное положение, как к грозному явлению, неожиданно разразившемуся над Европой, так и к правительствам, которые были им испуганы. Правда, от времени до времени падали в среду наших людей, потешавшихся Парижем, напоминовения о требованиях другого строя жизни, чем тот, которым они наслаждались. Так случилось с известным Г[оло]виным [1], которого официально вызывали в Россию за пустейшую книжонку, напечатанную им по французски в Париже, без *доз-*

[1] Иван Гаврилович Головин — русский эмигрант. О нем — в книге Мих. Лемке „Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.“, изд. 2-е, Спб. 1909.

воления. Это был опыт политической экономии, представлявшей менее, чем учебник, простую выписку из школьных тетрадок, да и то не совсем толковую, но во всяком случае уже совершенно невинную. Я, кажется, и не встречал на веку моем писателя, менее заслуживавшего внимания, как этот Головин, в одно время игравший на бирже в *оппозицию*, пробиравшийся в жокей-клуб, в мир лореток, и в демократические консилиабулы — наглый и ребячески-трусливый, но он остался в Париже, несмотря на вызов, и сделался прежде всех русским «политическим» эмигрантом и притом из особенного начала, из страха: ему мерещились всевозможные ужасы, которые, по отношению к нему, просто были немыслимы*. После *напоминовений* в роде того, какое получил Головин, круг дилетантствующих политиков и социалистов наших некоторое время обсуждал этот факт с разных точек зрения, и потом снова отдавался увлекающему потоку своих занятий и страстного, но безответного вмешательства в интимные дела французской национальности.

Не должно думать, чтоб эта азартная игра со всем содержанием Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: к ней примешивались часто и такие особы, которые имели совсем иные цели в жизни, — не

---

* Всего забавнее, что он и сам считал себя важным преступником, боялся выдачи своей персоны дипломатическим путем, и побежал объясняться с министром Дюшателем, который, выслушав его опасения, засмеялся и заметил „Какой вздор. Живите спокойно, делайте что хотите, да уж если вам нужен непременно совет, — то вот мой — не очень вмешивайтесь в *польские дела*“ (рассказ Головина). *Прим. автора.*

культурные. Так, по дороге в Европу я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника [1]. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассаля и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка в Европе, он едет обратно в Россию, с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции [2]. Далее этого увлечение итти не могло, но я убежден, что когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен. Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвеневших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но все еще пылким холостяком в Москве. Немудрено, однако же, что после подобных проделок, как у самого Маркса, так и у многих других сложилось и долгое время длилось убеждение, что на всякого русского, к ним приходящего, прежде всего должно смотреть, как на подосланного

---

[1] Как разъяснил К. И. Чуковский в предисловии к „Воспоминаниям“ А. Панаевой (Лнгр., „Academia“, изд. 2-е, 1928, стр. 13) это — не агент Яков Толстой, как полагал Д. Рязанов („Карл Маркс и люди сороковых годов“), а казанский помещик Григорий Михайлович Толстой.

[2] К этой фразе К. Маркс на своем экземпляре „Воспоминаний“ сделал следующее примечание (на французском языке): „Это ложь. Он ничего подобного не говорил. Он, напротив, сказал мне, что вернется к себе для наибольшего блага своих собственных крестьян!“ (С. Анский. К характеристике Маркса. „Русск. Мысль“ 1903, № 8, стр. 63).

шпиона, или как на бессовестного обманщика. А дело между тем гораздо проще объясняется, хотя от этого и не становится невиннее.

Я воспользовался однако же письмом моего пылкого помещика, который, отдавая мне его, находился еще в энтузиастическом настроении,— и был принят Марксом в Брюсселе очень дружелюбно. Маркс находился под влиянием своих воспоминаний об образце широкой русской натуры, на которую так случайно наткнулся, и говорил о ней с участием, усматривая в этом новом для него явлении, как мне показалось, признаки неподдельной мощи русского народного элемента вообще. Сам Маркс представлял из себя тип человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения—тип, крайне замечательный и по внешности. С густой черной шапкой волос на голове, с волосистыми руками, в пальто, застегнутом наискось — он имел однако же вид человека, имеющего право и власть требовать уважения, каким бы ни являлся перед вами и что бы ни делал. Все его движения были угловаты, но смелы и самонадеянны, все приемы шли наперекор с принятыми обрядами в людских сношениях, но были горды и как то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые произносил. Маркс уже и не говорил иначе, как такими безапеляционными приговорами, над которыми, впрочем, еще царствовала одна, до боли резкая нота, покрывавшая все, что он говорил. Нота выражала твердое убеждение в своем призвании управлять умами, законодательствовать над ними

и вести их за собой. Предо мной стояла олицетворенная фигура демократического диктатора, как она могла рисоваться воображению в часы фантазии. Контраст с недавно покинутыми мною типами на Руси был наирешительный.

С первого же свидания Маркс пригласил меня на совещание, которое должно было состояться у него на другой день вечером с портным Вейтлингом, оставившим за собой в Германии довольно большую партию работников. Совещание назначалось для того, чтобы определить, по возможности, общий образ действий между руководителями рабочего движения. Я не замедлил явиться по приглашению.

Портной-агитатор Вейтлинг оказался белокурым, красивым молодым человеком, в сюртучке щеголеватого покроя, с бородкой, кокетливо подстриженной, и скорее походил на путешествующего *комми*, чем на сурового и озлобленного труженика, какого я предполагал в нем встретить. Отрекомендовавшись наскоро друг другу и притом с оттенком изысканной учтивости со стороны Вейтлинга, мы сели за небольшой зеленый столик, на одном узком конце которого поместился Маркс, взяв карандаш в руки и склонив свою львиную голову на лист бумаги, между тем как неразлучный его спутник и сотоварищ по пропаганде, высокий, прямой, по-английски важный и серьезный, Энгельс открывал заседание речью. Он говорил в ней о необходимости между людьми, посвятившими себя делу преобразования труда, объяснить взаимные свои воззрения и установить одну общую доктрину, которая могла бы служить знаменем

для всех последователей, не имеющих времени или возможности заниматься теоретическими вопросами. Энгельс еще не кончил речи, когда Маркс, подняв голову, обратился прямо к Вейтлингу с вопросом: «Скажите же нам, Вейтлинг, вы, которые так много наделали шума в Германии своими коммунистическими проповедями и привлекли к себе стольких работников, лишив их мест и куска хлеба, какими основаниями оправдываете вы свою революционную и социальную деятельность, и на чем думаете утвердить ее в будущем?» Я очень хорошо помню самую форму резкого вопроса, потому что с него начались горячие прения в кружке, продолжавшиеся, впрочем, как сейчас окажется, очень недолго. Вейтлинг, видимо, хотел удержать совещание на общих местах либерального разглагольствования. С каким то серьезным, озабоченным выражением на лице он стал объяснять, что целию его было не созидать новые экономические теории, а принять те, которые всего способнее, как показал опыт во Франции, открыть рабочим глаза на ужас их положения, на все несправедливости, которые, по отношению к ним, сделались лозунгом правителей и обществ, научить их не верить уже никаким обещаниям со стороны последних и надеяться только на себя, устраиваясь в демократические и коммунистические общины. Он говорил долго, но, к удивлению моему и в противоположность с речью Энгельса, сбивчиво, не совсем литературно, возвращаясь на свои слова, часто поправляя их и с трудом приходя к выводам, которые у него или запаздывали, или появлялись ранее поло-

жений. Он имел теперь совсем других слушателей, чем те, которые обыкновенно окружали его станок, или читали его газету и печатные памфлеты на современные экономические порядки, и утерял при этом свободу мысли и языка. Вейтлинг, вероятно, говорил бы и еще долее, если бы Маркс, с гневно стиснутыми бровями, не прервал его и не начал своего возражения. Сущность саркастической его речи заключалась в том, что возбуждать население, не давая ему никаких твердых, продуманных оснований для деятельности, значило просто обманывать его. Возбуждение фантастических надежд, о котором говорилось сейчас,—замечал далее Маркс,—ведет только к конечной гибели, а не к спасению страдающих. Особенно в Германии обращаться к работнику без строго научной идеи и положительного учения равносильно с пустой и бесчестной игрой в проповедники, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой—допускаются только ослы, слушающие его, разинув рот. «Вот, — прибавил он, вдруг указывая на меня резким жестом, — между нами есть один русский. В его стране, Вейтлинг, ваша роль могла бы быть у места: там, действительно, только и могут удачно составляться и работать союзы между нелепыми пророками и нелепыми последователями» [1]. В цивилизованной земле, как Германия, продолжал развивать свою мысль Маркс, люди без положительной доктрины ничего не могут сделать, да и ничего не сде-

[1] Об этой речи см. у Д. Рязанова (перепечатано в его книге „Очерки по истории марксизма". М. 1923, стр. 414—15).

лали до сих пор, кроме шума, вредных вспышек и гибели самого дела, за которое принялись. Краска выступила на бледных щеках Вейтлинга, и он обрел живую, свободную речь. Дрожащим от волнения голосом стал он доказывать, что человек, собравший сотни людей во имя идеи справедливости, солидарности и братской друг другу помощи под одно знамя, не может назваться совсем пустым и праздным человеком, что он, Вейтлинг, утешается от сегодняшних нападков воспоминанием о тех сотнях писем и заявлений благодарности, которые получил со всех сторон своего отечества, и что, может быть, скромная подготовительная его работа важнее для общего дела, чем критика и кабинетные анализы доктрин, вдали от страдающего света и бедствий народа. При последних словах взбешенный окончательно Маркс ударил кулаком по столу так сильно, что зазвенела и зашаталась лампа на столе, и вскочил с места, проговаривая: «Никогда еще невежество никому не помогло». Мы последовали его примеру и тоже вышли из за стола. Заседание кончилось, и покуда Маркс ходил взад и вперед в необычайном гневном раздражении по комнате, я наскоро распрощался с нпм и с его собеседниками и ушел домой, пораженный всем мною виденным и слышанным.

Сношения мои с Марксом не прекратились и после выезда моего из Брюсселя. Я встретил его еще, вместе с Энгельсом, в 1848 г. в Париже, куда они оба приехали тотчас после февральской революции, намереваясь изучать движение французского социализма, очутившегося

теперь на просторе. Они скоро оставили свое намерение [1], потому что над социализмом этим господствовали всецело чисто местные политические вопросы, и у него была уже программа, от которой он не хотел развлекаться—программа добиваться с оружием в руках господствующего положения в государстве для работника. Но и до этой эпохи были минуты заочной беседы с Марксом, весьма любопытные для меня: одна такая выпала на мою долю в 1846 году, когда по поводу известной книги Прудона: «Système des contradictions économiques», Маркс написал мне по французски пространное письмо, где излагал свой взгляд на теорию Прудона [2]. Письмо это крайне замечательно: оно опередило время, в которое было писано, двумя своими чертами — критикой положений Прудона, предугадавшей целиком все возражения, какие были предъявлены на них впоследствии, а потому новостью взгляда на значение *экономической* истории народов. Маркс один из первых сказал, что государственные формы, а также и вся общественная жизнь народов с их моралью, философией, искусством и наукой — суть только прямые результаты экономических отношений между людьми, и с переменой этих отношений сами

---

[1] Д. Рязанов находит здесь ошибки: Маркс попал в Париж „вынужденным образом“; Маркс и Энгельс не „оставили свое намерение“, а уехали из Парижа, „чтобы принять участие в германской революции“. („Очерки по истории марксизма“, стр. 415).

[2] Полный французский текст этого письма, написанного Марксом 28-го декабря 1846 года, напечатан в III т. издания „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“ (под ред. М. К. Лемке, СПБ. 1912, стр. 454–465), с переводом и примечаниями Н. С. Русанова (Кудрина). Письма Анненкова к Марксу (1846 г.) см. в книге Д. Рязанова „Очерки по истории марксизма“ (М. 1923), стр. 416—19.

меняются или даже и вовсе упраздняются. Все дело состоит в том, чтобы узнать и определить законы, которые вызывают перемены в экономических отношениях людей, имеющие такие громадные последствия. В антиномиях же Прудона, в его противопоставлении одних экономических явлений другим, произвольно сведенным друг с другом и, по *свидетельству истории*, нисколько не вытекавшим одно из другого, Маркс усматривал только тенденцию автора облегчить совесть буржуазии, возводя неприятные ей факты современных экономических порядков в безобидные абстракции à la Гегель и в законы, будто бы, присущие самой природе вещей. На этом основании он и обзывает Прудона *теологом* социализма и мелким *буржуа* с головы до ног. Окончание этого письма передаю в дословном переводе, так как оно может служить хорошим комментарием к сцене, рассказанной выше, и дает ключ для понимания ее:

«В одном только я схожусь с господином Прудоном (NB. Маркс везде пишет: «monsieur Pr»), именно — в его отвращении к плаксивому социализму (sensiblerie sociale). Ранее его я уже нажил себе множество врагов моими насмешками над чувствительным, утопическим, *бараньим* социализмом (socialisme moutonier). Но г. Прудон странно ошибается, заменяя один вид сантиментализма другим, именно сантиментализмом мелкого буржуа, и своими декламациями о святости домашнего очага, супружеской любви и других тому подобных вещах,—той сантиментальностью, которая, вдобавок, еще и глубже была выра-

жена у Фурье [1], чем во всех самодовольных пошлостях нашего доброго г. Прудона. Да он и сам хорошо чувствует свою неспособность трактовать об этих предметах, потому что по поводу их отдается невыразимому бешенству, возгласам, всем гневам честной души — irae hominis probi: он пенится, клянет, доносит, кричит о позоре и чуме, бьет себя в грудь и призывает бога и людей в свидетели того, что не причастен гнусностям социалистов. Он занимается не критикой их сантиментализма, а — как настоящий святой или папа — отлучением несчастных грешников, причем воспевает хвалу маленькой буржуазии и ее пошленьким патриархальным доблестям, ее любовным упражнениям. И это не спроста. Сам г. Прудон с головы до ног есть философ и экономист маленькой буржуазии. Что такое маленький буржуа? В развитом обществе он, вследствие своего положения, неизбежно делается с одной стороны экономистом, а с другой — социалистом: он в одно время и ослеплен великолепиями знатной буржуазии, и сочувствует страданиям народа. Он мещанин и вместе — народ. В глубине своей совести он похваляет себя за беспристрастие, за то, что нашел тайну равновесия, которое, будто бы, не походит на «juste milieu», золотую середину. Такой буржуа верует в противоречия, потому что он сам есть не что иное, как социальное противоречие в действии. Он представляет на

---

[1] Слова „*той сантиментальностью... Фурье*“ Маркс подчеркнул и написал сбоку (по французски): „Я писал совершенно обратное тому, что он мне приписывает относительно Фурье. Именно Фурье первый осмеял идеализацию мелкой буржуазии“. („Русск. Мысль“ 1903, № 8).

практике то, что говорит теория, и г. Прудон достоин чести быть научным представителем маленькой французской буржуазии. Это его положительная заслуга, потому что мелкая буржуазия войдет непременно значительной составной частью в будущие социальные перевороты. Мне очень хотелось, вместе с этим письмом, послать вам и мою книгу «О политической экономии», но до сих пор я не мог отыскать кого нибудь, кто бы взялся напечатать мой труд и мою критику немецких философов и социалистов, о чем я говорил вам в Брюсселе. Вы не поверите, какие затруднения встречает такая публикация в Германии со стороны полиции, во первых, и со стороны самих книгопродавцев— во вторых, которые являются корыстными представителями тенденций, мною преследуемых. А что касается до собственной нашей партии, то она, прежде всего, крайне бедна, а затем добрая часть ее еще крайне озлоблена на меня за мое сопротивление ее декламациям и утопиям».

Книга «О политической экономии», упоминаемая Марксом в письме, есть, как полагаю, последний его труд: «Капитал», увидевший свет только недавно. Признаюсь, я не поверил тогда, как и многие со мной, разоблачающему письму Маркса, будучи увлечен, вместе с большинством публики, пафосом и диалектическими качествами Прудоновского творения. С возвращением моим в Россию, в октябре 1848 года, прекратились и мои сношения с Марксом и уже не возобновлялись более. Время надежд, гаданий и всяческих *аспираций* тогда уже прошло, а практическая деятельность, выбранная затем Марксом,

так далеко убегала от русской жизни вообще, что, оставаясь на почве последней, нельзя было следить за первой иначе, как издали, посредственно и неполно, путем газет и журналов.

Рассказанный здесь эпизод с Марксом, может быть, не покажется лишним в картине Парижа, если прибавить, что точно такие же сцены и по тем же вопросам происходили во всех больших городах Европы и, конечно, чаще всего именно в Париже: менялись люди, менялась драматическая обстановка, согласно другому развитию и образованию характеров: сущность прений и столкновений в демократических кружках оставалась та же. Везде искали *цельных* доктрин социализма, научных изъяснений и оправданий для *чувства* недовольства, из которого социализм вышел, планов для общины, где труд и наслаждение шли бы рука об руку. Потребность упразднить массу нелепых, незрелых, бесплодных опытов, предпринимаемых для осуществления этого идеала непосвященными, мало подготовленными и фантастическими умами — чувствовалась повсюду. Этим и объясняются совокупные усилия лучших деятелей социализма — найти такой тип рабочей общины, который бы дал возможность доказать несомненно, что каждая нравственная и материальная потребность человека обретут в ней удобное и комфортабельное помещение для себя. Движение умов как в области теорий, так и в пробах почвы для практического разрешения экономических трудностей было всеобщее до тех пор, пока оно не уперлось в «национальные мастерские», где и было подавлено для того, чтобы возродиться уже на других началах...

С первых же шагов своих в Париже Г[ерцен], переехавший на постоянную квартиру в Avenue Marigny, откуда он писал в «Современник» 1847 г., — Г[ерцен], говорю, по складу своего ума и наклонности к энергическому вчинанию при всякой данной задаче, очутился как бы в своем родном элементе. Он бросился тотчас же в это сверкающее море отважных предположений, беспощадной полемики, всевозможных страстей и вышел оттуда новым и крайне нервным человеком. Мысль, чувство, воображение приобрели у него болезненную раздражительность, которая сказывалась, прежде всего, в негодовании на господствующий политический режим, который занимался обессиливанием одних учений другими. Затем, не менее гнева и злобы возбуждала в нем и ясность реформаторских проектов, фальшиво обещающих положить конец всем прениям и уже торжествующих победу, прежде самого сражения. То и другое явление одинаково казались ему признаками несостоятельности общества, и в одну из минут задушевного анализа ощущений, полученных им при первом знакомстве с европейским социализмом, он написал одну из тех своих статей, которая может назваться самым пессимистским созерцанием западного развития, какое только высказывалось по русски; но зато она и была им писана уже *с другого берега* — он видел теперь во-очию то, что до сих пор было ему известно издалека. Несмотря на эту исповедь, Г[ерцен] подчинился почти безусловно тому самому движению, которое считал безысходным. Долгое обращение с предметом исследования втянуло его в его интересы, в его задачи и на-

мерения, что часто бывает со страстными натурами, встречающими на пути слепые, но непоколебимые верования. Не было человека, который бы беспощаднее отзывался о несостоятельности европейского строя жизни и который бы вместе с тем столь решительно пристроивался к нему, поверяя им свою деятельность, материальные и умственные привычки. Письма Г[ерцена] из Avenue Marigny уже носили на себе ясный, хотя еще и осторожно наложенный штемпель гуманных идей, с намеками на вопросы нового рода, так что они должны считаться первыми пробами приложения к русской литературе социологического способа понимать и обсуждать явления. Начиная с разбора драмы Феликса Пиа̀ и до подробностей парижского быта — все в них отражало настроение, почерпнутое из других источников, а не из тех, которыми питались наши философские, замаскированно-либеральные и филантропические тенденции. Друзья Г[ерцена] в Москве и Петербурге любовались этим оригинальным, всегда блестящим, но вместе и новым поворотом его таланта, и не предчувствовали, что тут начинается дело, которое далеко уведет от них автора писем в сторону, да и сам автор еще и не помышлял о том, где очутится, по логическому развитию принципов и их последствий.

Впрочем, московские друзья Г[ерцена], любуясь сатирической меткостью писем, восхищаясь остроумием их заметок и обличений, часто останавливаясь подолгу на проблесках глубокой мысли в определении текущих явлений тогдашнего французского общества, — друзья все таки

не вполне верили в объективную правду писем, и считали их отчасти произведением обычного фрондерства, свойственного всем путешественникам, которым стыдно с первого же раза покориться чужой стране и не сделать оговорок, вступая в близкие с ней связи. Отголосок этого мнения сказался всего сильнее у В. П. Боткина, что и заставляет меня сделать выписку из московского его письма ко мне, от 12 октября 1847 года:

«Кстати, прочел в 10 № «Современника» три письма Г. из Avenue Marigny и прочел их с самым живым удовольствием. Первое письмо хуже прочих: в нем даже заметно некоторое усилие сострить: разумеется, не везде, но кое где острота не вяжется сама собою к перу, к фразе. Что касается до его взгляда на театры и город, то при всем его превосходстве, при всем блеске и глубокомыслии, по моему мнению, это все таки *первое наглядное* впечатление. Je ne cherche pas chicane á sa maniére de voir [1] — и вполне признавая за ним право смотреть на вещи под своим углом, я все таки остаюсь при своем прежнем мнении и не стану подражать славянской нетерпимости Г[ерцена], который меня разбранил за то, что я осмелился быть не одного с ним мнения. Во вторых, я прочел его письма с наслаждением: это так увлекательно, так игриво, это—арабеск, в котором шутка свивается с глубокой мыслью, сердечный порыв с летучей остротой; что мне за дело, что я о многом думаю совершенно иначе: всякий имеет право смотреть

[1] „Я не придираюсь к его манере смотреть на вещи“.

на вещи по своему, и Г[ерцен] смотрит на них так живо, так увлекательно, что я вовсе теряю желание спорить: наслаждение пересиливает всякое другое чувство. Но, по моему мнению, главный недостаток их в неопределенности точки зрения; да, мне кажется, Г[ерцен] не дал себе ясного отчета ни в значении старого дворянства, которым он так восхищается, ни в значении bourgeoisie, которую он так презирает. Что же за этим у него остается? Работник. А земледелец? Неужели Г[ерцен] думает, что уменьшение избирательного ценза изменит положение буржуазии? Я не думаю. Я не поклонник буржуазии, и меня не менее всякого другого возмущает и грубость ее нравов, и ее сильный прозаизм, но в настоящем случае для меня важен факт. Я скептик; видя в спорящих сторонах в каждой столько же дельного, сколько и пустого, я не в состоянии пристать ни к одной, хотя в качестве угнетенного — класс рабочий, без сомнения, имеет все мои симпатии, а вместе с тем не могу не прибавить: дай бог, чтоб у нас была буржуазия! Cet air de matador, с которым Г[ерцен] все решает во Франции — очень мил, увлекателен, я его, мочи нет, как люблю в нем, именно потому, что знаю мягкое, голубиное сердце этого матадора, но ведь решение Г[ерцена] ровно ничего не уясняет: оно только скользит по вещам. Все эти вопросы до такой степени сложны, что невозможно поднять ни один, не поднявши вместе с ним нескольких»...

Итак, даже оставляя в стороне личные счеты В. П. Боткина с Г[ерценом], который высказывал ему часто горькую правду по поводу его бесхарак-

терной поблажки всем внешним приманкам парижской жизни, — приведенный отрывок все таки выражал мнение и других друзей Г[ерцена], хорошо понимающих причины и поводы демократических возгласов о буржуазии в ее отечестве, но считавших такие возгласы непригодными для русского общества, которое еще лишено образовательных элементов, принесенных некогда этой самой буржуазией в историю. Притом же, друзья и не знали, куда еще заведет Г[ерцена] его огульное осуждение Европы, и боялись, что авторитетное слово его отразится в извращенном виде на умах и представлениях русских читателей. Того же самого боялись они и от исповеди Белинского, когда он попал за границу и обнаружил воззрения на западную культуру, близко подходившие к воззрениям Г[ерцена], о чем еще будем говорить. Может быть, в числе причин, побудивших Г[ерцена] написать позднее вышеупомянутую свою статью, было и желание разъяснить друзьям свои истинные отношения к европейскому миру, и место, которое он намерен в нем занять. Известно, что в статье противополагалось безвыходному положению европейского общества появление народа, одно присутствие которого в Европе тревожит умы, который известен только с мрачных сторон своих, но который несет с собой народную культуру, качества мысли и сердца, имеющие, повидимому, большую будущность. К этой ноте, впервые раздавшейся у Г[ерцена] в упомянутой статье, Г[ерцен] потом часто возвращался и пробовал брать эту ноту на множество ладов, но она не у всех друзей вызвала сочувствие, а некоторые

долго находили ее напряженной и фальшивой, несмотря ни на какие варьяции и смягчения, которыми сопровождал ее почасту автор...

Между тем, жизнь Г[ерцена] шла поирежнему шумно и весело, несмотря на внезапные остановки его посреди рассеяний и развлечений Парижа и наступавшие за ними заботливые ощупывания почвы под своими ногами; но перерывы эти были не долги, круг знакомых его все более и более увеличивался, беседы разрастались, говор усиливался *. Ни он, да и никто из русских друзей его вовсе и не думали о том, что может наступить минута, когда жить амфибией посреди двух миров — западного и русского — не станет возможности, и придется выбирать между порядками, одинаково сильно и ревниво, хотя и на различных основаниях, предъявляющими права на обладание всем человеком. Минута была не за горами (всего один год разделял ее от людей), но когда она пришла, наступили горькие расчеты, болезненные пожертвования, вынужденные, противоестественные отречения, испортившие окончательно жизнь Г[ерцена], да и многих других еще вместе с ним.

* Увлечение потоком развернувшейся перед ним жизни отражалось и на планах писательской его деятельности. Он начал повесть из французской революции 89 года с русским деятелем посреди ее, и не усомнился послать рассказ в „Современник". Позднее Панаев говорил мне в Петербурге: Герцен с ума сошел, посылает нам картины французской революции, точно она у нас дело признанное и позабытое. Повесть, разумеется, не попала в печать, а явилась за границей в особом сборнике [1]. *Прим. автора.*

[1] Повесть эта не найдена — см. Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. V, стр. 184.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПОЛЬСКИЕ ЭМИГРАНТЫ В ПАРИЖЕ. — БАКУНИН В ПАРИЖЕ. — СОЮЗ С ПОЛЯКАМИ. — ГОДОВЩИНА ВАРШАВСКОГО ВОССТАНИЯ. — ЛЕЛЕВЕЛЬ. — ОТНОШЕНИЯ РУССКИХ И ПОЛЬСКИХ ЭМИГРАНТОВ.—ПИСЬМО БАКУНИНА.— ВЛИЯНИЕ ГЕРЦЕНА И БАКУНИНА. — ДОМ ГЕРЦЕНА.

Начав говорить о зачатках будущей русской эмиграции, я не могу обойти молчанием нового элемента движения, которым обогатился Париж к тому времени, именно — польского. Элемент этот существовал, конечно, и прежде, но теперь он совершенно преобразился.

Он сбросил с себя мистический оттенок, который сообщили ему Товянский и Мицкевич, пять лет перед тем, не проповедывал более учения о мессианизме, разрешающем народные и всякие другие вопросы посредством нарочно посылаемых для того, предъизбранных от вечности людей, и не говорил уже о братстве всех славянских племен, как о последней цели их исторического развития. Вместо этого, в Париже заседал тогда так называемый центральный революционный комитет из поляков, объявивший себя единственным уполномоченным от польского народа, для управления делом восстановления павшего королевства в старых его границах, требовавший для своих безапелляционых

декретов слепого повиновения от каждого, кто только говорит польским наречием, и достигавший своей цели вполне. Комитет совсем не думал о примирении между славянами на каких либо общих им основаниях, а предписывал им просто войну против правительств, под которыми живут. С помощью своих агентов, прокламаций, администраторов и генералов, посылаемых на различные и самые опасные пункты в славянских землях, он держал все нити обширного республиканского заговора в своих руках и только что произвел галицийское движение 1846 г., кончившееся резней землевладельцев и падением Кракова, после которого комитет и замолк на время, соображая новые планы восстаний и движений. Так как энергия действий была единственным правом комитета на существование и единственной инвеститурой, какую он предъявлял своим недоброжелателям, в роде аристократической партии Чарторыского, то и все члены этой ассоциации отличались, или старались отличаться, точно такой же энергией. Она, между прочим, очищала и место в самом комитете для честолюбцев, да имела и множество других выгод. Прежде всего она освобождала людей от излишне требовательных запросов со стороны иностранцев: от героев чего требовать? Одна эта доказанная революционная энергия отвечала за все, замещая удобно все другие качества, какие могли недоставать людям, она закрывала все их недостатки по образованию и умственному развитию, шла в обмен даже за нравственные свойства их и за моральный характер, когда их не оказывалось налицо,—

словом, персонал польских эмигрантов жил в Париже каким то особенным, привиллегированным сословием. К нему именно и пристроился один из русских искателей политического дела— Б[акунин], знакомый уже нам.

Уже с 1842 года Б[акунин] предвещал то, чем сделался впоследствии. В этом году он поместил в известном журнале А. Руге свою статью под псевдонимом: «Elyzard», [1] которая возбудила внимание ученых немецких бюргеров своими *искусно построенными* обвинениями немецкого гения в бесплодной способности его переводить все требования времени и развития на почву схоластики, и затем, увидав их в облачении и пышных орнаментах философской теории, успокоиваться и приниматься опять за новые упражнения в том же роде. Будучи сам одним из жарких адептов германской философии, он разорвал с нею все связи, а чтоб положить между собой и ею достаточное физическое и нравственное пространство — переехал из Берлина в Париж и принялся искать политического занятия по редакциям журналов, мастерским работников, демократическим кафе-ресторанам— и, наконец, успел обресть в польской пропаганде нечто похожее на специальность и призвание. После некоторого колебания, вызванного самой ее односторонностью, о которой часто упоминал в беседах с друзьями, он кончил тем, что принял ее вполне и отдался ей уже безоглядно, открыто и решительно, сжигая за собой корабли,

[1] Jules Elysard — Die Reaction in Deutschland. Ein Fragment v. einem Franzosen" (Deutsche Jahrbücher, 1842 г., №№ 247—251).

не оставляя ни малейшей тропинки позади себя, на случай отступления. Никто еще из русских до него так смело не отрывался от домашних пенатов своих, прежнего строя мыслей, старых воспоминаний и созерцаний в пользу запрещенной религии польского дела. Обаяние этой религии заключалось для него преимущественно в революционном характере, за который ей отпускались многие узкие стремления, многие темные инстинкты. Это было что то похожее на революционный романтизм своего рода, где призраки и фантомы шли впереди логики, указаний истории, соображений рассудка и опыта. Под покровом такого романтизма можно было сожалеть о существовании в человечестве различных национальностей, враждебных друг другу, — и в то же время служить самому исключительному национальному делу из всех, когда либо бывших на свете; можно было отказываться от патриотических предрассудков вообще, — и развить в себе взгляды и чувства польского ультра-патриота; можно было, наконец, считаться свободным от всех религиозных и сословных определений, — и жить душа в душу с воюющим католичеством и шляхетством. Такой широкой дороги для радикального дилеттантизма не представлял даже и социализм, требовавший все таки от человека в каждом своем подразделении (а их было тогда не мало) отречения от других соперничествующих с ним отделов.

В это же время возникло и учение о необходимости привить польскую оппозиционную энергию к русской национальности, лишенной ее от природы: развитие этого учения Б[акунин]

принял на себя, и не мало способствовал тому, что через посредство газет, брошюр, речей и трактатов учение вошло на некоторое время в сознание Европы. Ему казалось, что он делает при этом двойное дело—возбуждает сочувствие к одному славянскому народу, оскорбленному исторической несправедливостью, и воспитывает основы независимого суждения в другом славянском народе, именно—у соотечественников. Так как от количества единомышленников в русском мире зависела большая или меньшая важность его собственного положения и в эмиграции, то Б[акунин] производил набор приверженцев не очень строго и разборчиво, зачисляя в ряды их, вместе с умами, наклонными заниматься политическими проблемами, и просто любопытствующих людей, или таких, которые искали более или менее интересных и пикантных знакомств в Париже. Сам он, однако же, подавал пример открытого исповедывания своих убеждений, которое ищет случаев довести свои положения до общего сведения и при нужде не отступит для этого перед уличной манифестацией или политическим скандалом. Таков был проходимый им тогда фазис жизни, предшествовавший последнему ее периоду, когда Б[акунин] выработал из себя полнейший тип космополита, до того полный, что казался *отвлеченностью* и становился почти непонятным с точки зрения реальных условий человеческого существования,—тип, не признававший силы никаких исторических, географических, бытовых условий для определения судьбы и деятельности народов, упразднявший расы, племена, сложившиеся государства и об-

щества—для постройки на их обломках одного общего образца рабочей жизни.

Б[акунин] скоро достиг апогея нивеллирующего философского и экономического романтизма, но это было еще впереди, а теперь, в качестве только польского агитатора, он ждал случая торжественно и оффициально, так сказать, заявить свой выбор партии. Случай представился почти накануне революции 1848 года, при праздновании польской колонией годовщины варшавского восстания 1830 года [1]. Б[акунин] произнес на юбилее перед многочисленным собранием и в публичной зале свою известную речь, в которой остерегал поляков от попыток примирения с врагами, какие были уже деланы некоторыми из их соотечественников, и, напротив, возбуждал их к вражде насмерть за свою национальную идею, при чем, конечно, не был скуп на мрачную характеристику главных противников идеи. Министерство Гизо, так боявшееся вообще народных страстей и всякого предлога к ним (а особенно польского), не оставило речь без ответа, и на третий день после ее произнесения выслало оратора из Парижа, при чем сам Гизо, отвечая на запрос по этому случаю в палате депутатов, сказал, что нельзя же дозволить всякой свирепой личности (une personalité violente), в роде Б[акунина], нарушать общественный порядок и международные приличия. Тогда Б[акунин] уехал в Брюссель, написав предварительно письмо к министру внутренних дел, графу Дюша-

[1] 29 ноября 1847 г.

телю [1], в котором, упрекая его за превышение власти, замечал, что будущность принадлежит не ему, и его партии, а тем, кого он гонит и преследует теперь.

Несмотря на силу привлекательности, какою обладал Б[акунин], и благодаря своей чуткости ко всем вопросам совести, возникающим в сознании человека, благодаря еще ежеминутной готовности заниматься разрешением нравственных и умственных затруднений, которыми страдают люди, ищущие выхода из противоречий своей мысли со своим воспитанием и природными наклонностями, — Б[акунин], все таки не мог устроить откровенных сношений между русской колонией и польской эмиграцией, как часто ни сводил их, и как искусно ни направлял их беседы. Очень тонкой струей, почти незаметной для постороннего глаза, но внутренно ощущаемой всеми участниками дела, пробегала какая то *фальшь* в сношениях между двумя сторонами, и Г[ерцен] открыл ее тотчас же, как очутился между ними. С обеих сторон существовало множество мысленных ограничений того, что в доктрине иезуитов называлось «restrictions mentales», и всего обильнее такими приемами и уловками были именно те патетические минуты, когда стороны сходились на каких либо общих началах и дружелюбно подавали друг другу руки, радуясь единству и согласию своих либеральных идей. Каждая из сторон еще подразумевала нечто такое, чего не высказывала, а это невы-

[1] Это открытое письмо было напечатано в газете „La Réforme“ 10-го февраля 1848 г.

сказываемое и было самое существенное. Надо вспомнить, что тогдашняя польская эмиграция, вслед за своими передовыми людьми, и при явном и тайном одобрении Европы жила мыслию о необходимости польского верховенства, польской гегемонии в будущем федеративном союзе славянских племен, стояла за право Польши требовать от близких и дальних своих соплеменников, во имя своей высшей цивилизации, и давней принадлежности к европейской культуре, добровольной покорности и нужных жертв для осуществления этого протектората. Понимая неудобство излагать перед русскими друзьями свою руководящую национальную идею, польская эмиграция не ставила ее на вид, когда речь заходила о роли и призвании различных национальностей славянского мира, а такая речь заходила поминутно.

Много других любопытных соображений, а подчас и откровений племенного духа и характера, высказывалось в этих разговорах, но сообщать их здесь, по размерам и целям нашей статьи, не предстоит возможности. Между прочим, маститый Лелевель [1], живший в Брюсселе в крайней и почетной бедности, изумил меня однажды правдой и откровенностию своих воззрений, сберегаемых другими его соотечественниками только про себя. Впрочем, он и последних изумлял тем же не раз, как, например, в известной своей польской истории, где высказал столько горькой правды своему народу. Проездом

[1] Иоахим Лелевель (1786—1861)— польский историк и политический деятель, эмигрировавший в Брюссель в 1831 г.

через Брюссель я встретил Лелевеля в излюбленном им кафе, на антресолях которого он и жил, пользуясь трубой из его печи, проведенной мимо его комнаты и согревавшей ее зимою. Регулярно каждый вечер он сходил в кафе выпивать свою чашку кофе, при чем расплачивался парой су, тщательно завернутых в бумажку. После непродолжительной беседы с этим ветераном польского дела, я думал, что не услышу более его голоса, но на другой день он зашел ко мне и, не застав дома, оставил небольшую записку по французски. К великому моему удивлению, я нашел в ней коротенький трактатец о том, что в русском языке, будто бы, не существует слов для выражения понятий о личной чести и добродетели—honneur, vertu. Существующее слово *честь* в русском языке выражает, будто бы, одно понятие о родовом или служебном отличии, и в этом смысле оно только и понималось у нас искони, а добродетель есть составное слово, придуманное нами по нужде, для обозначения *психического* качества, которого оно, однако же, нисколько не передает. Таким образом, старик выходил на соглашение с поднятым забралом и не скрывал своего настоящего мнения о контрагенте, с которым намеревался вступить в сделку.

Скрыть, впрочем, правду от глаз русских, минутных своих доброжелателей, эмиграция все таки не могла, и вызывала у них подобную же затаенную национальную думу. Русские выказывали перед политическими врагами своими образцовое великодушие, делали всевозможные уступки польскому патриотическому чувству,

верили их обвинениям и укорам, и вместе с тем держали в сохранности заднюю мысль свою, подсказывавшую, что право на какое либо главенство в славянском мире, если о нем позволительно еще думать, может принадлежать только крепкому политическому телу, как их отечество, которое и есть настоящий представитель этого мира. Много надо было принимать предосторожностей, чтобы помешать этим тайным, невыговариваемым мыслям, вытти наружу и разорвать международный мираж, который успел образоваться в Париже, благодаря Б[акунину]. По инстинктивному чувству опасности потерять возможность сходок, которые если ничего не разрешали, то, по крайней мере, приучали людей друг к другу (и это уже было тогда немаловажным делом), явилось обоюдное, не подготовленное заранее соглашение держать в стороне все жгучие народные вопросы, полные ссор и препирательств, предоставляя их разрешение будущему времени, и ограничиться покамест упражнениями в гуманных и благородных чувствах, которые так легко, удобно и эффектно выставлять на показ. На этих основаниях, и в Париже становилось одним праздником больше. Так зачинался польский вопрос в русском мире, и я представляю здесь только факт, не разбирая его ни с политической, ни с нравственной точки зрения, и не упоминая о его последствиях.

Кстати заметить, Б[акунин] сам сознавался, что польский вопрос дорог ему особенно тем, что дал возможность поместить куда нибудь жизненные цели, пристроиться к какой либо деятельности. По высылке из Парижа, он,

в октябре 1847, написал к друзьям, там остававшимся, письмо из Брюсселя, из которого извлекаю следующие строки: «Я, вероятно, скоро должен буду снова ораторствовать; покамест не говорите об этом, кроме Тургенева—дело еще не совсем решено. Может статься, что меня и отсюда также прогонят—пусть себе гоняют, а я буду тем смелее, лучше и легче говорить. Вся жизнь моя определялась до сих пор почти невольными изгибами, независимыми от моих собственных предположений; куда она меня поведет? Бог знает! Чувствую только, что возвратиться назад я не могу и что никогда не изменю своим убеждениям. В этом вся моя сила и все мое достоинство, в этом также вся действительность и вся истина моей жизни, в этом моя вера и мой долг; а до остального мне дела нет: будет, как будет. Вот вам моя исповедь. Во всем этом много мистицизма, скажете вы,—да кто же не мистик? Может ли быть капля жизни без мистицизма? Жизнь только там, где есть широкий, безграничный и потому и несколько неопределенный, мистический горизонт; право, мы все почти ничего не знаем, живем в живой сфере, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шаг наш может их вызвать наружу без нашего ведома и часто даже независимо от нашей воли... Прием, сделанный мне поляками, наложил на меня огромную обязанность, но вместе *показал и дал мне возможность действовать*. Я знаю, что вы относитесь ко всему этому несколько скептически, и вы с своей стороны правы, и я тоже переношусь иногда на вашу точку зрения, но что ж делать—природы не из-

менить. Вы—скептик, я—верующий—у каждого из нас свое дело. Но довольно об этом. G. вам кланяется. Маркс treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher [1] портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствие и т. д.» Письмо это, кроме свидетельства о том, что не сущность польской пропаганды привлекала Б[акунина] (о ней он отзывался очень свободно), а открываемая ею арена политической и агитаторской деятельности—письмо это, говорю, любопытно еще и в другом отношении. Оно показывает автора в настоящем его свете, как романтического, мистического анархиста, чем он всегда был, и чем объясняется его ненависть к авторитетному, положительному и законодательствующему Марксу,—ненависть, которая продолжалась 25 лет и завершилась между ними скандалом и полным разрывом. Впрочем, вскоре открылся для Б[акунина] и еще новый путь деятельности. Не прошло и 6-ти месяцев, как переворот 1848 г. открыл ему опять двери Парижа, куда он и прибыл, поселившись в казарме с работниками, составлявшими охрану и свиту революционного префекта полиции, известного Косидьера. До того, Б[акунин] прислушивался к социализму и знакомился с руководителями его только как с новым элементом, на который могут опереться будущие, замышляемые политические перевороты. Теперь он убедился, что работники и социализм—самостоятельные силы,

---

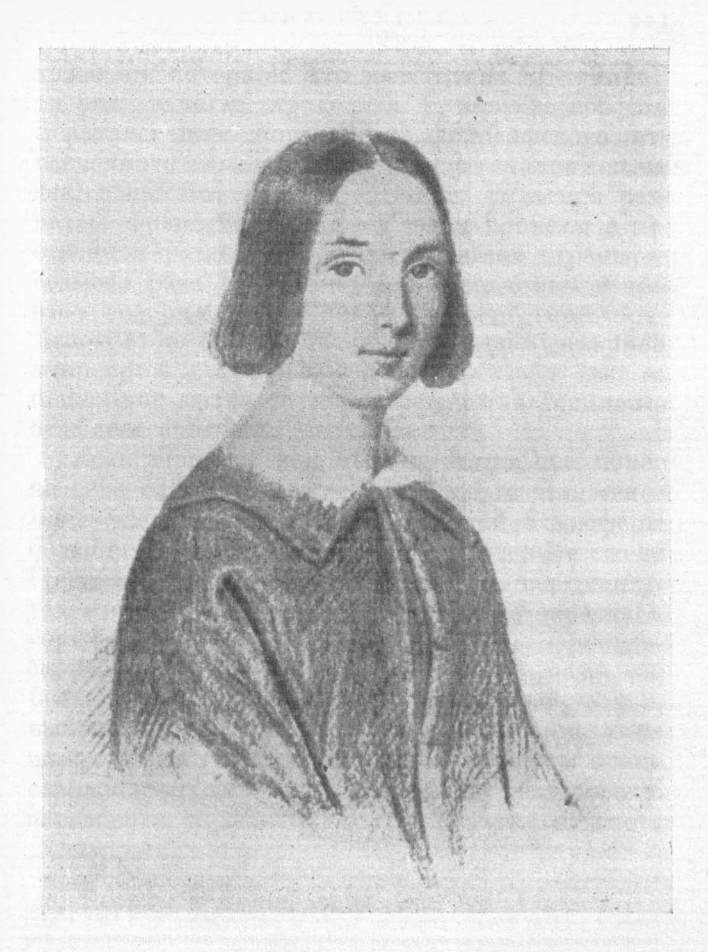
[1] „Маркс занимается здесь тем же суетным делом, что и раньше.

способные и сами вынести наверх, на своих плечах, человека с даром слова, критическим талантом и природной изобретательностью на почве теорий, отвлеченных построений и пышных иллюзий. Он отдался фантастическому социализму с тем же увлечением и с тою же готовностию на жертвы, как и фантастическому полонизму, ему предшествовавшему.

Между тем, как русско-польские вдохновенные праздники торжествовали водворение вечного мира на севере Европы, такие же торжества происходили, по разным поводам и в разных формах, во всех углах Парижа. Образованные иностранцы собственно для таких праздников, с великолепными спектаклями и апофеозами будущего, и съезжались, почерпая в них сведения о состоянии и направлении умов в отечестве всяческих реформаторских попыток. Русская колония не отставала ни от кого при этом, а Г[ерцен] был часто сам душой и героем подобных праздников. Он очень скоро сделался, как и Б[акунин], из зрителя и *галереи* участником и *солистом* в парижских демократических и социальных хорах. Под электрическим действием всех возбуждающих элементов города, живая природа Г[ерцена] мгновенно пустила в сторону ростки необычайной силы и роскоши, в которые вся и ушла, надрывая свое нормальное существование. Многосторонняя образованность Г[ерцена] начинала служить ему всю ту службу, к какой была способна, — он понимал источники идей лучше тех, которые их провозглашали, находил к ним дополнения и очень часто поправки и ограничения, ускользавшие от специалистов по данным

вопросам. Он начинал *удивлять* людей, и немного прошло времени с его приезда, как около него стал образовываться круг более чем поклонников, а, так сказать, *любовников* его, со всеми признаками страстной привязанности. В числе последних находился и известный эмигрант, поэт Г[ерве]г, который потом внес столько горя и страдания в его личное и семейное существование. Не раз при разгаре этого интеллектуального пира в Париже мне вспоминались московские пиры села Соколова, сопровождавшиеся таким же нервным возбуждением умственных и физических сил, но уже какая была разница в содержании и настроении!

Относительно изумления, возбуждаемого в иностранцах обширностью понимания некоторых русских людей, способом их ставить вопросы и признаками вообще необычайных способностей можно было бы привести много любопытных подробностей. Г[ерцен] и Б[акунин] собирали дань этого изумления, смешанного почти со страхом, едва не на каждом шагу. Они постоянно, после встречи с знакомыми и незнакомыми лицами, оставляли их в раздумьи на счет загадочных натур такой силы мысли, такой смелости воззрений и языка, остающихся одинокими экземплярами развития посреди своих земляков. Известная заметка Мишле, пришедшего даже в смущение от пафоса, остроумия и широких размахов одной прочитанной им книги Г[ерцена], показывает, что автор «Истории Франции» довольно тщательно искал объяснения этому новому для него явлению и думал найти его в швабско-русском, а не чисто славянском проис-



Н. А. Герцен.

(Снимок карандашем с акварельного портрета, сделанного в Италии в 1848 году.)

хождении автора [1]. Что касается до Б[акунина], то уже и тогда приходили к нему за советом и разъяснением по вопросам философского, отвлеченного мышления, и притом такие люди, как, например, Прудон. Один из умных и развитых французов, который видел пробелы в умственном развитии своей собственной страны,— созывал ради Б[акунина] своих знакомых и при этом говорил: «я вам покажу чудище (une monstruosité) по сжатой диалектике и по лучезарной концепции сущности всяческих идей» (par sa dialectique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur essence).

Если Г[ерцен], как мы заметили выше, понес на себе следы парижской жизни, то тем менее могла избежать заразы опьяняющей атмосферы большого города тихая, сосредоточенная жена Г[ерцена]. Она преобразилась в истую парижанку, усвоила себе яркую демократическую окраску и горячо принимала к сердцу интересы французской жизни, восторгаясь и любуясь разными, более или менее, бедными и страдающими людьми, выброшенными ею на улицу, и особенно теми полу-буржуа и полу-работниками, которые, кроме размышлений о форме будущего, неизбежного переворота, никакого другого занятия на свете

---

[1] Эта книга Герцена — „Du développement des idées révolutionnaires en Russie“ (О развитии революционных идей в России), вышедшая в 1851 г. В примечании к одной из своих статей 1851 г., в которой предсказывается духовная гибель русского народа, Мишле говорит по поводу своих слов об искре под гробовой плитой: „Эта искра — не в той ли она чудесной брошюре, которая только что появилась? Автор, русский по рождению, но отчасти и с благороднейшей рейнской кровью в жилах, пишет на нашем языке с поразительной силой, которая разоблачает его аноним и обнаруживает всюду пламенного патриота... пока в Европе есть такие люди, еще нельзя отчаиваться“. (См. книгу М. Гершензона — „Образы прошлого“, М. 1912 г.).

не имели. Дом Г[ерцена] сделался подобием Дионисиева уха, где ясно отражался весь шум Парижа, малейшие движения и волнения, пробегавшие на поверхности его уличной и интеллектуальной жизни. И только одна М. Ф. К. [1], сопровождавшая Г[ерценов] в их путешествии, не захвачена была водоворотом и служила живым напоминанием о недавно покинутой ими и уже позабываемой Москве. Больная, редко выходившая из дома, посвятившая себя уходу за детьми и только издали прислушивавшаяся к гулу, который несся от всемирного города, она становилась каким то анахронизмом в семье, впрочем очень любившей и уважавшей ее. Как ни интересна была по своему содержанию и разнообразию новая обстановка, в которую попала теперь эта умная и многосторонне образованная женщина, но мысль ее постоянно жила в кругу далеких друзей, оставленных в Москве и занятых своим не блестящим и не шумным делом — спасать умы и нравственное чувство людей от загрубения, наступающего со всех сторон. Одним своим присутствием в доме Г[ерцена] она говорила хозяевам и некоторым из русских гостей их о другой культуре, о недавних, уже пренебрегаемых друзьях, занятых у себя дома невзрачной, подготовительной черновой работой просвещения. До них ли было теперь при таком блеске, при таких очаровательных дорогах, открытых на все стороны каждому умственному и нравственному побуждению и даже всякому капризу мысли! В образе М. Ф. К. стояла перед

---

[1] Марья Федоровна Корш, сестра Е. Ф. Корша

Г[ерценом] олицетворенная *элегия* с горячими симпатиями к прошлому, а кто из тех, которые неслись теперь в вихре всяческих наслаждений европейским миром и добытой свободой, имел время останавливаться перед элегиями или прислушиваться к ним?!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕРЕМЕНА В ГЕРЦЕНЕ.—ПЕРЕМЕНА В ЖЕНЕ ГЕРЦЕНА.—ГЕРВЕГ.—ГЕРЦЕН И МОСКВА—СУДЬБА В. П. БОТКИНА.

Вскоре мне уяснилось, что были и другие причины к холодности между друзьями, переехавшими за границу, и теми, которые остались дома,—посущественнее рассеяний Парижа. После нескольких искренних и доверчивых бесед, происходивших у нас обыкновенно по ночам в Париже, я не мог сомневаться более, к великому моему изумлению, что в глазах Г[ерцена] и его семьи Москва совершенно поблекла, лишилась своих красок, утеряла магическое слово, отворяющее сердца. Вся старая жизнь в ней казалась уже Г[ерцену] и его жене сухой степью; на ней уже не росло более трогательных воспоминаний, да и те, которые оставались от давнего времени, видимо завяли, не поддерживаемые тщательными уходом, который так же необходим для воспоминаний, как для детей и цветов.

Переворот этот объяснить не совсем легко, потому что он вышел из довольно сложного психического процесса и воспитался массой очень тонких нервных раздражений, — но несомненно, что начался переворот еще в Москве и только довершился за границей. Обстоятель-

ство это пролило для меня большой свет на все приемы Г[ерцена] в Париже, на всю его судорожную торопливость поставить себя в центре новой жизни: другая, старая, которая могла бы служить ей противовесом, уже скрылась для него в тумане и более не существовала. Никто еще не возбуждал во мне так полно предчувствия, при первых же шагах Г[ерцена] на почве европеизма, что он прирастет к ней навсегда, что почва эта окончательно овладеет им и уже не уступит его никакой другой, хотя фактических поводов для такого пророчества пока еще и не представлялось ни откуда. Но я тогда не знал, что Г[ерцен] просто старается нажить себе второе, духовное отечество, так как первое уже лишилось своей притягательной силы и существовало только как повод к сожалению, дружескому участию и великодушному предложению посильных услуг, если потребуются.

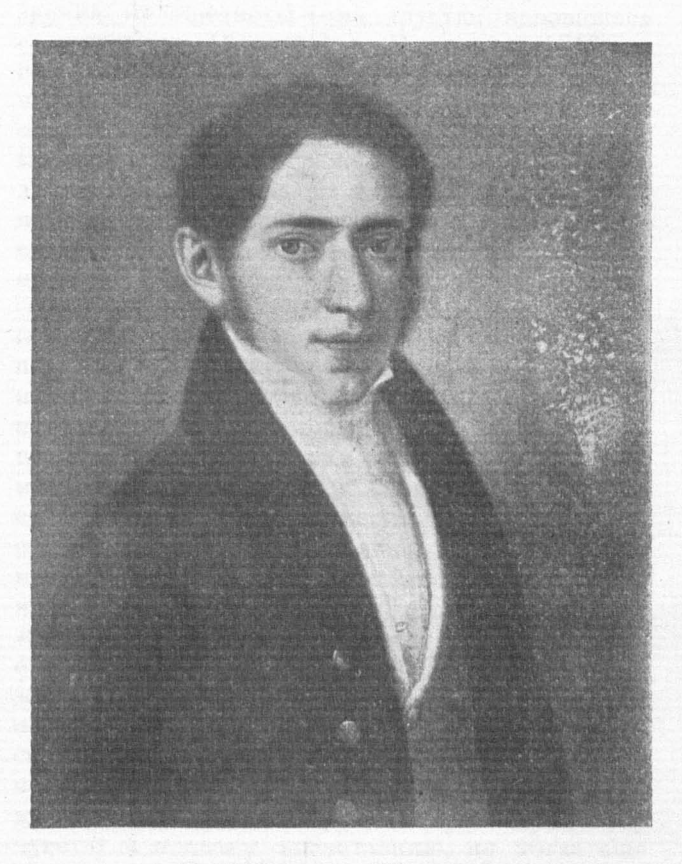
Известно, что незадолго до отъезда за границу Г[ерцен] потерял отца и получил довольно значительное наследство, сделавшее его сравнительно богатым человеком. Рамки, в которых заключено было до того его московское существование, раздвинулись, но показались ему еще теснее, стеснительнее, чем прежде; с увеличением материальных средств поднялись и окрылились желания, а желания и стремления у этого в высшей степени сангвинического характера находились в уровень с его образованием и мыслию. При том же для Г[ерцена] наступила та пора жизни, когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности (ему шел 35-й год); но

простора для деятельности в той форме и тех размерах, какие ему были нужны, он, конечно, найти не мог. Оставалось убивать весь избыток накопившейся энергии в пустом мозговом одушевлении, в шуме дружеских собраний, в поддержании или опровержении более или менее дельных тезисов на вечерах и по обедам; но, во первых, это не могло продолжаться долго, а во вторых, скоро оказалось, что и по этой тропинке уже нельзя было двигаться. Центры прежних собраний распались, дружеские интимные сходки не удавались более. Последним особенно повредил переворот в материальном быте Г[ерцена] и сравнительно богатая обстановка его дома, явившаяся, конечно, без всякого преднамерения у новых хозяев. Не было увлечения, составлявшего букет подобных сходок в прежнее время, когда они возникали на общих издержках, требовали некоторого пожертвования, вызывали хлопоты и хозяйские соображения. Г[ерцен] рассказывал, что появление какого нибудь серебряного подноса или канделябра в его новом хозяйстве поражало как бы немотой его друзей: искренность и веселие пропало, как только повстречались с готовым комфортом. Он относил это явление к той капле демократической зависти, которая живет в сердцах даже самых лучших людей; но такое изъяснение мне казалось всегда несправедливостию: тут было сожаление об утерянных условиях прежнего скромного образа жизни. Когда уже оказалось почти невозможным собрать под одну кровлю близких людей без того, чтобы не увидать признаков измененных отношений с ними, и когда скоро

оказалось (о чем сейчас будем говорить), что они уже расходятся и в понимании предметов — что оставалось делать? Умственные интересы московской и вообще русской среды были исследованы до нитки, вопросы, казавшиеся особенно важными, переворочены на все лады. Серьезной работы, в которую можно было бы уйти и запереться от мира — не обреталось вовсе, а потому оставалось, конечно, только тушить поедающий огонь деятельности чем ни попало. А между тем, почти о-бок существовала, в форме западного мира, просторная арена для бесконтрольного удовлетворения всех умственных потребностей, но доступ к ней был невозможен, по особенному положению Г[ерцена] в отечестве. Много усилий употребил он, чтоб разорвать эту цепь, связывающую его движения, и вероятно не успел бы, если бы В. А. Жуковский не принял участия в его судьбе и не помог ему достигнуть цели.

Не менее любопытна и душевная история, пережитая в эту же пору женою Г[ерцена]. И ей, как и мужу ее, страшно надоела дисциплина, которую ввел и неуклонно поддерживал тогдашний идеализм между друзьями. Наблюдение за собой, отметание в сторону, как опасного элемента, некоторых побуждений сердца и натуры, неустанное хождение по одному ритуалу долга, обязанностей, возвышенных мыслей, — все это походило на строгий монашеский искус. Как всякий искус, он имел свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимым при продолжительности. Любопытно, что первым, поднявшим знамя бунта против пропо-

веди о нравственной выдержке и об ограничении свободы отдаваться личным физическим и умственным поползновениям был О[гарев]. Он и привил к обоим своим друзьям, Г[ерцену и его жене (особенно к последней), воззрение на право каждого располагать собой, не придерживаясь никакому кодексу установленных правил, столь же условных и стеснительных в оффициальной морали, как и в приватной, какую заводят иногда дружеские кружки для своего обихода. Нет сомнения, что воззрение О[гарева] имело аристократическую подкладку, давая развитым людям с обеспеченным состоянием возможность спокойно и сознательно пренебрегать теми нравственными стеснениями, какие проповедываются людьми, незнавшими от роду обаяний и наслаждений полной материальной и умственной независимости. В основе его лежало еще и уважение к физиологическим требованиям лица, которые всего менее признавались демократическими умами, искавшими установить общие правила и начала даже и для органических и психических отличий человека. Оно пришло по вкусу тогдашнему Г[ерцену], выбитому из обыденной колеи московского дружеского существования, и это обстоятельство, вместе с сохранившейся нежностию к товарищу своего детства, объясняет то высокое мнение об О[гареве], которое не раз выражал Г[ерцен], называя его свободнейшим человеком и умнейшей головой в России. То достоверно, что влияние О[гарева] имело неисчислимые последствия для самого Г[ерцена], а также и для жены его.



Н. П. Огарев в 1830-х годах.

(Портрет работы крепостного художника.)

Вся эта работа передвижения с одной точки зрения на предметы — на другую, начавшаяся с появления О[гарева] в Москве, в 1846 г., шла, однако же, гораздо медленнее у Г[ерцена], чем у его жены. Г[ерцен] не скоро отделался от первоначальной философской своей закваски. Несмотря на свое отречение от статутов идеалистического ордена, к которому принадлежал, несмотря на попытки *секуляризовать*, так сказать, свою жизнь, Г[ерцен] долго и потом сохранял на себе печать, приемы и сословные отличия своего прежнего звания. Тип строгого учителя и нравственного проповедника остался с ним и после того, как он сошел, так сказать, с кафедры и поселился на публичном рынке, разделяя его волнения, ропот и жалобы. От некоторых основных начал исповедуемой им некогда философско-моральной доктрины он никогда уже и не отказывался. Впоследствии он даже казался, на основании именно этого первородного греха, многим умам и характерам, позднее народившимся и уже не знавшим никаких стеснений, — полулибералом и нерешительным человеком. По наружности никакой перемены в способе пользоваться своей жизнию и молодостью с ним не произошло с тех пор, как он стоял на европейской почве. Он и прежде, не стесняясь началами и правилами, отдавался свободно влечению мимолетной фантазии, всякому затронутому чувству и первому впечатлению, но тогда еще у него сохранялось в целости сознание, что он остается тем же человеком, просветленным благодатию высшего понимания жизни, каким воспитала его среда, что он не потерял способ-

ности судить правильно о собственных увлечениях своих, и для сохранения их не продавал своей души и многих годов ее научного воспитания. Так же свободно распоряжался он и теперь своею парижской жизнию, но с вторжением в нее политических и социальных страстей успокоительной фикции для совести не существовало более: все эти явления имели свои уставы, никем не проверенные, очень требовательные, а подчас и возмущавшие непривычное к ним ухо и чувство; вдобавок они еще выдавали себя за догматы, без принятия которых к ним и подступать не следует. Запас старых и никогда вполне не растраченных моральных убеждений составлял у Г[ерцена] уже ненужный к ним придаток, потерял значение *регулятора* мыслей и существовал без цели, мешая уверовать в нравственную сторону предметов окончательно, и не имея силы совсем упразднить их в глубине совести, как ложные и не подтвержденные продукты одного общественного, болезненного недуга. Положение могло вытти трагическим — и впоследствии таким и вышло.

Наоборот, разложение старых теорий и представлений отразилось полнее и решительнее на душе бедной, восприимчивой, изящной по характеру и природе жене Г[ерцена] — и переработало ее окончательно. Реакция против условий московского существования началась у нее с того мгновения, когда она почувствовала непреодолимое отвращение к *буржуазным* добродетелям, которые составляли основу всего быта, окружавшего ее, но она внесла еще страсть в свою критику. Ей уже сделались не только скучны, но

и подозрительны доблести при домашнем очаге, семейный героизм, всегда довольный и гордый самим собой, и вечное прославление тех пожертвований, трудов и добровольных лишений, которые сносились перед ее глазами на алтари разных более или менее почтенных молохов, величаемых, по ее мнению, идеями. С пробудившейся жаждой к расширению своего существования она возненавидела нескончаемое хождение все в одну сторону, по̀-солонь, — и объясняла устройство этой невыносимой церемонии, походившей в ее глазах на раскольничье радение, частию тем, что она необходима жрецам кружка для прикрытия их слабой, апатической, ограниченной природы, а частию тем, что она доставляет вообще бедным инстинктам и побуждениям потеху гордого самоуслаждения. Никогда так радикально не относился сам Г[ерцен] к старому кружку друзей, никогда не выказывал столько жестокости и несправедливости в приговорах над ним, никогда не отзывался о нем с такой ненавистью, ценя однако даже и в спорах с старым кружком немаловажные усилия его членов выносить жизненные тяготы времени наиболее мужественно, благоразумно и независимо. Но все это пропало из вида его жены, заменилось какой то наивной, незлобивой диффамацией прежних друзей, как только приходилось вспоминать о них. Жена Г[ерцена] возлагала еще на ответственность старых знакомых и долгую скуку прежней своей жизни, между тем как настоящей причиной этой скуки был, как скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и бесплодный романтизм. Несмотря на постоянное

чтение серьезных иностранных писателей, несмотря на философский говор, раздававшийся постоянно около жены Г[ерцена] и, конечно, не щадивший никаких иллюзий и фальшивых решений вопросов, — душа ее имела еще свои секреты, сберегала про себя тайные задачи и питалась, в самом шуме скептических излияний, скрытными романтическими стремлениями и чаяниями. Но куда ни обращала она свои глаза — ничего похожего на порядочный романтизм нигде не оказывалось налицо вокруг нее. Она была счастлива в муже, в семье, в друзьях — и страдала отсутствием поэзии, которая не сопровождала все эти благодатные явления, в той мере, как бы ей хотелось. Она предпочла бы поэтические беды, глубокие несчастья, окруженные симпатией и удивлением посторонних, и минутные упоения — тому простому безмятежному благополучию, которым наслаждалась. Задачей ее жизни сделалось, таким образом, обретение романтизма, в том виде, как он существовал в ее фантазии: за ним она и погналась со страстию и неутомимостью искателя волшебных кладов, надеясь когда нибудь напасть на его след и вкусить от той непробованной немногими смертными амврозии возвышенных чувств, какую он готовит для своих верных слуг, — узнать отраду небесных ощущений, им доставляемых. Под конец жизни ей показалось, что она держит эту чашу с волшебным напитком в своих руках, но при первом же прикосновении губ — глубочайшее отвращение и жгучее раскаяние во всем, что было сделано для обладания драгоценным сосудом, овладело всем

ее существом и свело преждевременно в могилу.

Я не намерен рассказывать здесь печальные подробности более головной, чем сердечной страсти, как она развилась на реальной почве у этой все таки замечательной женщины, но некоторые черты истории важны и для определения отношений между разнородными эмиграциями.

Дело в том, что поэтическая мечтательница ознакомилась с жизнию по *романтизму*, которую наконец обрела в Париже через посредство в высшей степени развитой, изящной и вместе холодной и эгоистически-сластолюбивой личности, какою и был вышеупомянутый Г[ерве]г. Личность эта, вдобавок, была еще двойной германской знаменитостию, — она прославилась лирическими песнями, призывавшими народы к оружию, и радикализмом взглядов на правительство вообще, и на прусское в особенности. Под мягкой, вкрадчивой наружностию, прикрываясь очень многосторонним, прозорливым умом, который всегда был настороже, так сказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малейшие душевные движения человека и к ним подделываться, — чудная личность эта таила в себе сокровища эгоизма, эпикурейских склонностей и потребности лелеять и удовлетворять свои страсти, чего бы то ни стоило, не заботясь об участи жертв, которые будут падать под ножем ее свирепого эгоизма. Все средства своего образования, развития, действительно не совсем обыкновенных, даже и в кругу передовых людей Европы, а также и своего нервного темперамента, часто разрешавшегося

лирическими, вдохновенными вспышками и порывами, — все эти средства, говорю, перепробовала замечательная личность, здесь описываемая, для дела обольщения заезжей мечтательницы, для доставления себе победы над всеми запросами многотребовательной ее фантазии. Долго отыскиваемый романтизм являлся теперь перед женой Г[ерцена] в великолепном, ослепительном виде! Лоэнгрин со сказочных высот был перед нею на лицо, и только подойдя к нему ближе, она вдруг увидала, какой страшный образ скрывается за ангельской маской, им усвоенной, —и в ужасе, последним сверхестественным движением воли, она вырвалась из его рук, измученная и оскорбленная. Может быть, обольститель и действительно чувствовал некоторого рода любовь и привязанность к обреченной им жертве, как это бывает у иных преследователей; но когда жертва ускользнула от него, любовь и привязанность пропали бесследно, а место их заняли бешенство неудачи, жажда мести за помятое тщеславие и за оскорбление, нанесенное его гордости и самолюбию. Он принялся публично бросать грязью в женщину и семью, благополучие которых разрушил, употребляя при этом средства, возмущавшие даже и друзей его...

И вот чем кончался романтизм для бедной женщины, предавшейся ему и поплатившейся за него жизнию, и вот как разрешались столкновения наивной натуры с человеком, принадлежащим к типу людей, встречающихся на Западе, и вооруженным с головы до ног как для доблестных, так и для всяких других подвигов.

Всего печальнее и поучительнее в этой истории то, что Г[ерцен] сам ввел человека подобного закала в свой дом и сам водворил его у себя. Позднее Г[ерцен] говорил, что обращение его с этим человеком было более *фамильярное*, чем дружественное. Может быть, это и так в смысле психической верности, но мы все видели его непрестанные ухаживания за нашим эмигрантом, его усилия выказаться перед ним блестящими сторонами ума, купить его внимание. Так было, впрочем, на первых порах у Г[ерцена] и с другими эмигрантами и знаменитостями радикального мира — гораздо менее развитыми, чем тот, о котором мы говорим. Он и им открывал сокровища своего ума, сердца, расточал перед ними блестки остроумия и начитанности, не спрашивая, способны ли они еще понимать то, что им показывают так нерасчетисто.

Да куда же, спросят, девалась способность Г[ерцена] к тонкому анализу характеров, о которой я говорил прежде, его сатирическая и полемическая *жилка*, которая так сильно билась в Москве и помогала ему создавать такие меткие, часто беспощадные и уничтожающие портреты знакомых людей. Куда пропал признанный мастер разительно схожих каррикатур и горячих эпиграмм, имевших все подобие биографических данных? Они не пропали, как оказалось впоследствии, Г[ерцен] не утерял, не лишился ни одной из прежних своих сил, но, в поисках за новой духовной отчизной, он их сдерживал искусственно, старался затоптать, запрятать подалее в глубь души для того, чтобы добыть себе искус-

ственную слепоту, делавшуюся теперь уже необходимостью для оправдания себя. Он принимал меры против своей прозорливости и склонности к комическим разоблачениям; на этом условии только и мог сохраниться в уме его весь окружающий его мир в качестве действительного, не призрачного существования, но мир этот не хотел знать об усилиях Г[ерцена] понять его с наилучшей стороны, а потребовал разделения с ним его предрассудков, предвзятых идей, необдуманных решений и планов. Г[ерцен] склонился и в эту сторону, и только когда чаша была переполнена, действительность сделалась нестерпима, нагло ясна в своей несостоятельности, возвратились к Г[ерцену] прежние качества ума, вся мощь глубокого психолога-мыслителя, и он отдал на суд будущих русских людей, в известных своих «Записках» — как самого себя, так и типы деятелей, ведших за собой политические фаланги того времени.— Многое и другое, еще возвратилось к нему тогда...

При отъезде Г[ерцена] за границу из Москвы, в последний раз собрались около него все друзья и сопровождали его до первой станции петербургской дороги. Г[ерцен] ехал на Петербург и в омнибусе — железного пути еще не было. Прощальный обед, устроенный на станции, закончился, несмотря на шумное начало его, в грустном настроении друзей — многие из них плакали. Чего бы, кажись, плакать по случаю отъезда за границу, на более или менее продолжительное время, молодой, исполненной сил и надежд, семьи? Но вместе с ней ехал еще человек, который, на зло всем недоумениям, соста-

влял еще такую необходимость в жизни своих друзей, что утрата его, даже и на короткий срок, поразила их, когда наступила минута расставания. Что бы заговорили они, если бы могли предчувствовать, что для всех их это была уже утрата вечная. Сопровождаемый горячими напутствиями, почти страстными выражениями любви и дружбы, Г[ерцен] тронулся в дальнейший путь под трогательным впечатлением этой разлуки. Он довез впечатление свое всецело и до Парижа, да и в последующем развитии его жизни оно не раз восставало в его памяти, хотя уже не могло примирить его с покинутым и далеко оставленным позади миром. Только в минуты полного нравственного одиночества, испытанного им особенно перед основанием своего журнала, да в минуты горьких раздумий о своем деле, которое, чем бы он ни жертвовал для него, все таки не давало ему полной натурализации в сонме европейских деятелей, только тогда воспоминания о Москве — теплой, обильной струей приливали к его сердцу и извлекали вопль страдающей души, доходивший и до друзей в Белокаменной. Он препоручал им своих детей, препоручал им защиту собственного имени и взывал к их участию, поощрению, нравственной поддержке. Оказалось, что жить без старых связей с Россией становилось невыносимым сиротством. Толпы людей, привлеченных к нему журнальным полем, открытым им для искренних и для корыстных обличений, для нужд общественной важности и для нужд личной мести и задетого самолюбия, не могли их заменить...

Так носила бурная, кипучая волна европейской жизни этот драгоценный самородок, брошенный в нее из какой то далекой, неизвестной планеты, — носила из стороны в сторону, разбивая его и, конечно, не заботясь о том, куда его сложить и пристроить.

Иначе выразилось действие той же европейской среды на другого и тоже замечательного русского человека, Василия Петровича Боткина. Г[ерцен] уже не застал его в Париже, но я еще успел, до отъезда его обратно в Россию, прожить с ним целый год и съездить с ним еще летом 1846 г. в Тироль и Ломбардию, при чем путешествие наше совершалось довольно оригинальным способом. Минуя публичные кареты и дилижансы, насколько было возможно, а также и чересчур гостеприимные дворцы с отелями и ресторанами, мы ехали в телегах и колясочках местных промышленников извоза, и три месяца жили между крестьянами, лодочниками, работниками, по народным австериям, рынкам и темным закоулкам городов и селений. Я сожалею, что не вел дневника этой поездки, который мог бы быть любопытен теперь, после переворотов, обновивших Австрию и Италию...

Известно, что В. П. Боткин женился на француженке, приехавшей *отыскивать фортуну* в Россию и не думавшей никогда о формальном браке, как и сама заявляла. Когда друзья Боткина заметили ему, что проект женитьбы на девушке, которая ничего другого не желает, как весело прожить с любимым человеком более или менее долгое время, представляет некоторого рода странность, — Боткин пришел в великое негодо-

ванне. «Так вот чем кончается, говорил он, ваша гуманность и искание идеалов! — эксплуатировать женщину, натешиться ею и потом бросить, когда надоела — хорошие основы!» — Брак был совершен по всем обрядам, в Казанском соборе, но через месяц Боткин увидал свою ошибку, и бросил тотчас же несчастную женщину на произвол судьбы, не желая уже более и слышать о ней. Как всегда бывает, он возненавидел в ней свой собственный промах и наказывал в ней свой собственный грех. Вместе с тем вся одежда крайнего идеалиста, какую он носил постоянно, вопреки всем новым модам — вдруг соскочила с него, как в театральном превращении у многоумного Фауста, обратившегося мгновенно в бешеного юношу. Он предался весь сенсуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в котором кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений, что было видоизменением того же культа сенсуализму, которому он предался. Он отрывался от него, по временам, чтоб освежить голову от хмеля одуряющих наслаждений, и возвращался к ним еще с большей энергией. Плодом таких *гигиенических* перерывов была его поездка в Испанию и прекрасная книга его, за ней последовавшая: «Письма из Испании». Из того же источника проистекали и его занятия социальными и политическими вопросами, в которых он с изумительной прозорливостию открывал и потом преследовал малейшие черты скрытого идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сделавшиеся теперь

предметами его ожесточенной ненависти. В таком настроении застал его уже в Москве серьезный поворот дел, начавшийся повсеместно в Европе, с 1848 года. Никто более его не испугался этого поворота, да поворот еще и укрепил в нем зародившееся настроение, так как оно могло служить некоторым образом щитом и охраной против подозрений в моральной склонности к утопиям. На склоне жизни, с ослаблением сил, и уже тогда, когда он сам сделался значительным капиталистом, В. П. Боткин занял почетное и видное место в рядах нашей ультра-консервативной партии. Но он превратился в ультра-консерватора на свой собственный манер, который ставил его неизмеримо выше большинства его собратов по убеждениям. В основу своего последнего созерцания он положил, кроме чувства сохранения своего общественного положения, которое у него всегда было очень живо, еще и доктрины двух великих современных мыслителей — Карлейля и Шопенгауера. Он почерпнул у первого его ненависть ко вседневной болтовне журналистики и литературных репортеров, вместе с учением о спасительной силе повиновения великим авторитетам, просветителям народов и двигателям истории, где бы они ни встретились. От второго он усвоил его глубочайшее презрение к толпе и народным массам и его энергические проклятия беспредметному философствованию умников, разлагающих только без конца и цели одну собственную мысль. Таким образом, замечательный человек этот перешел множество стадий развития, и только смерть помешала ему видеть, во что слагается и чем кончает наш русский консерватизм.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

БЕЛИНСКИЙ И ТУРГЕНЕВ В ЗАЛЬЦБРУННЕ. — ХАРАКТЕР МОЛОДОГО ТУРГЕНЕВА. — ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРГЕНЕВА. — ТУРГЕНЕВ ЗА ГРАНИЦЕЙ. — ИДЕЯ ИСКУССТВА. — ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИТЕРАТОРЕ. — СТАТЬЯ О СМЕРТИ ГОГОЛЯ.

К числу особенностей тогдашнего Парижа принадлежало еще и важное качество его — представлять для людей, ищущих почему либо уединения, самое тихое место во всей континентальной Европе. В нем можно было притаиться, скрыться и заслониться от людей, не переставая жить общей жизнию большого, всесветного города.

Не надо было употреблять и особенных усилий для того, чтобы найти в Париже замиренный, так сказать, уголок, из которого легко и спокойно могло быть наблюдаемо одно ежедневное творчество города и народного французского духа вообще, что представляло еще занятие, достаточное для наполнения целых дней и месяцев. Такие уголки добывались во всех частях города — и притом за сравнительно небольшие пожертвования [1]. От одного из таких уголков

---

[1] В таких уголках жило много немецких ученых, приезжавших в Париж доканчивать свои работы, а из русских в это время там находился Н. Г. Фролов, переводивший „Космос“ Гумбольдта, и П. Н. Кудрявцев, дописывавший диссертацию „Судьбы Италии“. *Прим. автора.*

я был неожиданно оторван очень печальным известием из России. В. П. Боткин писал мне, что Белинский становится плох и приговорен докторами к поездке за границу, именно на воды Зальцбрунна, в Силезии, начинавшие славиться своими целебными качествами против болезней легких. Друзья составили между собой подписку для отправления туда больного; к участию в подписке приглашал меня и Боткин. Я отвечал, что приеду сам в Зальцбрунн и надеюсь быть полезнее Белинскому этим способом, чем каким либо другим. Точно такое же решение принял и И. С. Тургенев, находившийся тогда в Берлине. Он немедленно отправился навстречу неопытного вояжера, мало разумевшего по немецки и никогда еще не покидавшего своей родины, в Штеттин, где и принял его под свое покровительство. Оба они и прибыли через Берлин в Обер-Зальцбрунн, поселясь в чистом деревянном домике с уютным двориком на главной, но далеко не блестящей улице бедного еще городка.

Итак, оторвавшись от всех связей в Париже и отложив на будущее время планы разных путешествий, я направился в июне 1847 г. в Зальцбрунн. Переночевав в Бреславле, я на другой день рано очутился в неизвестном мне местечке, и на первых же шагах по какой то длинной улице встретил Тургенева и Белинского, возвращавшихся с вод домой...

Я едва узнал Белинского. В длинном сюртуке, в картузе с прямым козырьком и с толстой палкой в руке — передо мной стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлял себя, стараясь

придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли: он представлял из себя очевидно организм, разрушенный наполовину. Лицо его сделалось бело и гладко, как фарфор, и ни одной здоровой морщины на нем, которая бы говорила об упорной борьбе, выдерживаемой человеком с наплывающими на него годами. Страшная худоба и глухой звук голоса довершали впечатление, которое я старался скрыть, сколько мог, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный вид нашей встрече. Белинский, кажется, заметил подлог. «Перенесли ли ваши вещи к нам в дом?» — проговорил он торопливо и как то сконфуженно, направляясь к дому.

Вещи были перенесены—я поселился во втором этажике квартиры и начался длинный, томительный месяц безнадежного лечения, о котором старый широколицый, призиемистый доктор Зальцбрунна уже составил себе, кажется, понятие с первого же дня. На все мои расспросы о состоянии больного, о надеждах на улучшение его здоровья он постоянно отвечал одной и той же фразой: «Да, ваш приятель очень болен». Более новой или объясняющей мысли я так от него и не добился.

Каждое утро Белинский рано уходил на воды и, возвратясь домой, поднимался во второй этаж и будил меня всегда одними и теми же словами — «проснися, сибарит». У него были любимые слова и поговорки, к которым привыкал и которых долго не менял, пока не обретались новые, обязанные тоже прослужить порядочный

срок. Так, все свои довольно частые споры с Тургеневым он обыкновенно начинал словами: «Мальчик, берегитесь — я вас в угол поставлю». Было что то добродушное в этих прибаутках, походивших на детскую ласку. «Мальчик-Тургенев» однако же высказывал ему подчас очень жесткие истины, особенно по отношению к неумению Белинского обращаться с жизнию и к его непониманию первых реальных ее основ. Белинский становился тогда серьезен и начинал разбирать психические и бытовые условия, мешающие иногда полному развитию людей, хотя бы они и имели все необходимые качества для развития; однако же многие слова Тургенева, как я заметил после, западали ему в душу, и он обсуждал их еще и про себя некоторое время. Как ни оживленны были, по временам, беседы наши, особенно когда дело касалось личностей и физиономий, оставленных по ту сторону немецкой границы, но они все таки не могли наполнить целого летнего монотонного дня, и притом в городке, лишенном всякого интеллектуального интереса. Напрасно друзья перебирали свои воспоминания за утренним кофе, который всемерно длили, сидя под навесом барака, игравшего на дворике нашего домика роль курьезной беседки без сада и зелени; напрасно потом долгий «table d'hôte» в каком то ресторане наполнялся анекдотами, передачей журнальных новостей и заметок о прочитанных книгах и статьях — времени оставалось еще нестерпимо много. Притом же скоро оказалась необходимость понизить и тон всех разговоров. Случалось, что смех, вызванный каким либо забавным анекдотом, — переходил у

Белинского в пароксизм кашля, страшно и долго колебавшего его грудь и живот, а с другой стороны — какая либо заметка, принятая им к сердцу, мгновенно выгоняла краску на его лице и вызывала оживленное слово, за которым, однако ж, следовало почти тотчас физическое изнеможение. Чисто растительная, животная жизнь вперемежку с чтением и обменом нескольких мыслей становилась необходимостью; но Тургенев не мог выдерживать этого режима. Он сперва нашел выход из него, принявшись за продолжение «Записок Охотника», начало которых появилось несколькими месяцами ранее и впервые познакомило его со вкусом полного, литературного и популярного успеха. Он написал в Зальцбрунне своего замечательного «Бурмистра», который понравился и Белинскому, выслушавшему весь рассказ с вниманием и сказавшему только о Пеночкине: «что за мерзавец — с тонкими вкусами!» Но затем Тургенев уже не мог долее насиловать свою подвижную природу, и однажды, после получения почты, объявил нам, что уезжает на короткое время в Берлин — проститься с знакомыми, отъезжающими в Англию, но что, проводив их, снова вернется в Зальцбрунн. Он оставил даже часть вещей на квартире. В Зальцбрунн он не возвратился, вещи его мы перевезли с собой в Париж, сам он чуть ли не побывал за это время в Лондоне.

Молодые годы Тургенева были наполнены примерами таких неожиданных поворотов в сторону от предпринятого дела, имевших силу всегда удивлять и бесить его друзей, но надо сказать, что уклонения эти выходили у него постоянно

из одного источника. Тургенев тогда еще не мог останавливаться долго на одном решении и на одном чувстве — из опасения замешкаться и упустить самую жизнь, которая бежит мимо и никого не ждет. Им овладевал род нервного беспокойства, когда приходилось только издали прислушиваться к ее шуму. Он постоянно рвался к разным центрам, где она наиболее кипит, и сгорал жаждой ощупать возможно большее количество характеров и типов, ею порождаемых, каковы бы они ни были. Не мало жертв принес он этому влечению своей природы, становясь иногда рядом с довольно ничтожными личностями по своим стремлениям, и продолжая с ними подолгу одинаковый путь, точно он был его собственный или особенно излюбленный им. Он никогда не разделял брезгливости большей части людей его круга, которая мешала им приближаться к характерам и личностям известного круга идей и строя жизни — и тем лишала их значительной доли поучительных наблюдений и выводов. К тому же, сознание разнообразных средств успеха, данных ему образованием и природой, затемняло еще тогда для Тургенева и жизненные цели. В эти годы молодости и ее увлечений ему казалось еще, что он может испробовать все возможные существования и соединить в себе солидные качества писателя и художника с качествами, нужными для приобретения репутации победителя на всех рынках, ристалищах и аренах света, какие всякое несколько развитое общество открывает своим праздным силам и тщеславию. Все эти стремления скоро улеглись под влиянием столько же годов, сколько

и труда над самим собой, особенно под отрезвляющим влиянием сознанного им, наконец, литературного своего призвания; но их еще помнят его прежние сотоварищи, а некоторые из них помнят еще и с целью сделать из этих давно угасших стремлений основную черту его биографии. Вот почему я и решился дать здесь место моим воспоминаниям о сущности самого явления — в надежде, что они, воспоминания эти, может быть, помогут судить о нем с мерой и осторожностию, которые не всегда сохраняются современниками нашего поэта-романиста.

При небольшом внимании уже и тогда постоянно сказывалось, что истинные сочувствия Тургенева совершенно ясны и определенны, несмотря на его равномерно-ласковое отношение к самым разнокачественным элементам общества; что истинные привязанности и предпочтения его не только имеют обдуманные основания, но и способны к продолжительной выдержке. Впоследствии все это обнаружилось ясно, но круги наши, привыкшие вообще строго держаться в своих границах, пугливо и подозрительно смотреть на все, что лежит за ними и о бок с ними, долго не могли помириться с упомянутой расточительностью Тургенева на связи и знакомства. Независимость всех движений Тургенева, свободные переходы его от одного стана к другому, противоположному, от одного круга идей к другому, ему враждебному, а также и радикальные перемены в образе жизни, в выборе занятий и интересов, поочередно приковавших к себе его внимание, были загадкой для строгих друзей его, и составили ему, в среде их, не-

заслуженную репутацию легкомыслия и слабохарактерности, но никто еще у нас так часто не обманывал пророчеств и определений своих критиков; никто так успешно не переделывал общественных приговоров в свою пользу, как именно Тургенев. Пока масса эксцентрических анекдотов о нем ходила по литературному миру, в виде свидетельства о расположении его полагаться, для приобретения себе почетного места в свете, более на эффектные слова и поступки, чем на содержание и достоинство их, Тургенев ни о чем другом не думал, как о разборе явлений, полученных им путем опыта и наблюдений, как о превращении их в свое умственное добро — и при этом разборе обнаружил качества мыслителя, поэта и психолога, поразившие его преждевременных биографов. Так, между прочим, из близких и дружелюбных сношений с разнородными слоями общества, не исключая и тех, которые стояли у наших кругов на index, считались слоями отверженными и недостойными внимания, возникла у Тургенева та, смею выразиться, *нужда справедливости* по отношению к людям и — как необходимая ее окраска — то благорасположение к ним, которые составили ему другую и уже более верную репутацию — чрезвычайно симпатического, доброжелательного и *много понимающего* человека в нашем русском мире.

Очень скоро Тургенев сделался на целый литературный период излюбленным человеком этого многосложного русского мира, который признал в нем свое доверенное лицо и поручил ему ходатайство по всем своим делам. А дела эти все

были невещественного свойства и состояли преимущественно в отыскивании прав на сочувствие к нравственным и умственным представлениям русского мира. Тургенев оказался не ниже задачи. Почти с самого начала литературного поприща он успел открыть в простом народе целый строй замечательных представлений и своеобычной морали, что особенно было ценно, так как дело тут шло о робком и застенчивом классе общества, который не умеет, да и вообще не любит говорить о себе и про себя. Перенося ту же пытливость анализа на другие классы общества, Тургенев сделался в России летописцем и историком умственных и душевных томлений всего своего времени по разрешению настоятельных запросов пробужденной мысли, очнувшегося ума и сердца, которые не знали покамест, как найти для себя выход и что с собой делать. В сущности, вся литературная деятельность Тургенева может быть определена как длинный, подробный и поэтически-объясиенный реестр идеалов, какие ходили по русской земле, между разнородными слоями ее образованного и полу-образованного населения, в течение 30 лет и посреди обычной обстановки жизни и суровых условий существования, в которых она вращалась. Тургенев открыл особенное творчество на Руси, творчество в области идеалов, и как бы мечтательны, молоды, печальны ни были на вид эти идеалы, какой бы характер частного домашнего дела, единичных, разрозненных стремлений мысли и чувства ни носили они на себе,—поучительная сторона их заключалась в разновидности с тем, чем русская жизнь тогда особенно

кичилась и что обыкновенно производила. Но внутренний смысл всяких идеалов, даже и самых скромных, так привлекателен и обладает такой силой возбуждать внимание и сочувствие, что на нем останавливаются подчас и умы, далеко ушедшие по лестнице научного и гражданского развития. Идеалы вообще есть семейное добро всего образованного человечества, а при этом часто случается, что и незначительная вещь становится дорогой по воспоминаниям и мыслям, с нею связанным. Вот почему единогласное, почти восторженное одобрение, каким были встречены на Западе рассказы Тургенева, объясняется, — кроме мастерства изложения, ему свойственного и удивившего искушенный художнический вкус Европы, кроме любопытства, возбужденного картинами неизвестной, своеобычной культуры,—еще и тем, что рассказы эти поднимали край завесы, за которой можно было усмотреть тайну духовной и общечеловеческой производительности у новых, чуждых людей, работу их сознания и страдающей мысли. Мы слышали в последнее время, что старый Гизо, прочитав «Гамлета Щигровского уезда» Тургенева, увидал в этом рассказе такой глубокий психический анализ обще-человеческого явления, что пожелал познакомиться и лично поговорить о предмете с его автором. Мнения философа и критика Тэна, а также и Ж. Занда, о рассказе «Живые мощи» известны. Последняя писала автору: «Nous tous, nous devons aller à l'école chez vous» [1]. Уже не говорю о рецензенте и историке

[1] „Мы все должны пойти в ученье к вам“.

беллетристических произведений Германии, Юлиане Шмидте, который провозгласил Тургенева — королем современной новеллы. Трудно и пересчитать все симпатические отзывы иностранцев о деятельности нашего романиста.

Тургенев не изменил качествам своего творчества и тогда, когда позднее вывел перед публикой типы и образы смелого отрицательного характера: и на этих холодных физиономиях лежат еще огненные следы какого то давнего прохода по ним тех же волнений, катастроф и падений, какие вызывались идеальными стремлениями у людей предшествовавшей эпохи вообще. По всей справедливости, Тургенева можно бы было назвать искателем душевных *кладов*, таящихся в недрах русского мира, и притом искателем, обладающим необманчивыми приметами для добывания их: он разрыл многое множество существований с целью получить вещественное свидетельство о той идее, idée fixe, которая их питает и служит путеводной звездой в жизни, и никогда не удалялся с пустыми руками от работы, вынося, если не цельные дорогие, психические откровения, то в крайнем случае зачатки и пробы идеальных созерцаний. Все это и сделало его толкователем своей эпохи, а вместе с тем и первоклассным писателем в отечестве и за границей. Полное развитие однако же всех творческих приемов Тургенева, не пренебрегавших и раздражающими красками, жесткими словами, ядовитыми намеками для определения грубой, пошлой, обычной русской действительности, и открывавших в то же время теплые, целительные струи, какие просачиваются в этой же са-

мой действительности—все это творчество, говорю, тогда лежало еще впереди. Тургенев еще только собирал для него материалы.

И. С. Тургенев остался за границей во Франции и по отъезде Белинского во-свояси. Он жил почему то довольно долго в провинции (в Brie, и чуть ли не замке Ноган, поместьи Ж. Занд)[1], а когда наезжал в Париж, то довольно рассеянно прислушивался к толкам соотечественников, интересуясь не столько предметами, которые их занимали, сколько проявлением их характеров, психическими основами их мнений, причинами, которые определили у них тот или другой выбор доктрин и созерцаний. Изучение лица стояло у него всегда на первом плане; убеждения ценились не столько по своему содержанию, сколько по свету, какой они бросают на внутреннюю жизнь человека. Черту эту он разделял с большинством художников и вообще с психологами по природе. Художником и психологом был он и по отношению к самому себе. Двойной анализ—эстетический и моральный, какому стал он рано подвергать самого себя, под конец переработал всю его нравственную физиономию, потушив суету пустых исканий, погоню за напускными чувствами и волнениями, необходимыми для эфемерных триумфов. Европейская жизнь много помогла ему в этом труде над собой. Вообще говоря, Европа была для него землей обновления: корни всех его стремлений, основы для воспитания воли и характера, а также и развития самой мысли заложены были в ее почве—и там глубоко развет-

[1] В замке Ноган Тургенев побывал впервые только в 1872 г.

вились и пустили отпрыски. Понятно становится, почему он предпочитал смолода держаться на этой почве, пока совсем не утвердился на ней. Не мало упреков от соотечественников вынес он на веку своем за это предпочитание, казавшееся им обидным; некоторые из них видели тут даже отсутствие национальных убеждений, космополитизм обеспеченного человека, готового променять гражданские обязанности свои на комфорт и легкие потехи заграничного существования и проч., и проч. Ни в одном из взводимых на него преступлений Тургенев, конечно, не провинился, да ими и не мог провиниться человек, литературная деятельность которого — то есть, другими словами, вся задача жизни — ничего иного никогда и не высказывала, кроме постоянной, пламенной думы о своем отечестве, и который жил ежедневной мыслию о нем, где бы ни находился, что хорошо известно и старым и новым его знакомым. Не отсутствие народных симпатий в душе и не надменное пренебрежение к строю русской жизни сделали Европу необходимостию для его существования, а то, что здесь обильнее текла умственная жизнь, поглощающая пустые стремления, что в Европе он чувствовал себя более простым, дельным, верным самому себе и более свободным от вздорных искушений, чем когда становился лицом к лицу с русской действительностию.

Особенно важно заметить, что и в то время, и позднее, никакого разрыва с отечеством не могло существовать у Тургенева — уже и потому, что он всегда оставлял там часть своего существования, куда бы ни уходил, предмет стра-

сти, так сказать, именно русскую литературу,— понимая иод этим словом художническую, критическую и публицистическую деятельность. Другая—ученая литература жила тогда в замкнутых кругах и с обществом сношений не вела. На той, первой, популярной литературе и сосредоточились все помыслы Тургенева. Известно, что в то время русская литература считалась ступенью к изучению законов и условий искусства. Люди той эпохи видели в занятии искусством единственную, оставшуюся им тропинку к некоторого рода общественному делу: искусство составляло почти спасение людей, так как позволяло им думать о себе, как о свободно-мыслящих людях. Никогда уже после того *идея* искусства не понималась у нас так обширно и в таком универсальном, политико-социальном значении, как именно в эти годы затишья. Искусством дорожили: это была единственная ценность, которая находилась в обращении, и какой люди могли располагать. Каждая теория искусства, присвоивавшая, добывавшая ему новые умственные области, каждое расширение его ведомства принимались с великой благодарностию. Чем просторнее становилось в своих владениях искусство, чем далее отодвигались его границы,—тем сильнее увеличивалось число предметов, подлежащих публичному обсуждению. Вся работа общественной мысли возложена была на одного только агента ее, и такое понимание искусства жило почти во всех умах, но, разумеется, сильнее проявлялось у присяжных деятелей его. Так и у Тургенева—привязанность к русской литературе и искусству составляла органическое чувство,

одолеть которое уже были не в силах никакие посторонние соблазны и влечения. Белинский высоко ценил это качество своего друга. Для Тургенева и многих его современников, после народа, ничего более важного и более достойного внимания и изучения, чем русская литература, вовсе и не существовало в России: ее одну они там и видели, и на нее возлагали все свои надежды. Другие голоса, которые рядом с нею неслись оттуда и подчас настойчиво требовали внимания и уважения к себе, проходили без отзвука в их мысли. Для Тургенева—да, повторяю, и для многих других еще за ним—следить за русской литературой значило—следить за первенствующим (если не единственным) воспитывающим и цивилизующим элементом в России.

Убеждение это связывалось еще с представлением дельного литератора как неизбежно высоко-нравственного лица; занятие литературой, казалось всем, требует прежде всего чистых рук и возвышенного характера. Можно было бы привести много примеров, где это мнение высказывалось от имени публики. Гоголь, которого нельзя упрекнуть в потворстве литераторам, разсказал в своей известной «Переписке» случай, когда одного какого то писателя, провинившегося неблаговидным поступком в провинции, неизвестный член общества остановил строгим выговором, который кончался замечанием: «а еще литератор!» Тургенев подтверждал свое страстное чувство к литературе и свои заботы о ней—на самом деле. Многие из его товарищей, видевшие возникновение «Современника» 1847 г.,

должны еще помнить, как хлопотал Тургенев об основании этого органа, сколько потратил он труда, помощи советом и делом на его распространение и укрепление. Первые №№ «Современника» содержат, кроме начала «Записок Охотника», еще несколько исторических и критических заметок Тургенева, не попадавших в полное собрание его «Сочинений». Кстати сказать: эстетические и полемические заметки Тургенева носили всегда какой то характер *междуделья*, отличались умом, но никогда не обладали той полнотой содержания, которая необходима для того, чтобы сказанное слово осталось в памяти людей. То же самое суждение может быть приложено и к его позднейшим объяснениям с критиками и недоброжелателями, к его исповедям своих мнений (profession de foi), поправкам и дополнениям его созерцаний и проч. Они не удовлетворяли ни тех, к кому относились, ни публику, которая следила за его мнениями. Тургенев овладевал вполне своими темами и становился убедительным только тогда, когда разъяснял предметы и самого себя на арене художественного творчества. Русская литература, прикрепленная тогда исключительно к этой арене и к разным обширным и мелким ее отделам, становилась таким важным жизненным явлением, что за нею в глазах Тургенева должно было пропасть и пропало все, что делалось другого на родине. Настоящее дело было в одних ее руках — и так думал о русской журналистике, публицистике и русской художественной деятельности вообще не он один, как мы уже сказали.

Вот почему, между прочим, Тургенев хладнокровно обошел и все идеи и доктрины тогдашней русско-парижской колонии: они истекали из других источников, чем те, в которых он полагал настоящую, целебную силу. Русский «политический» человек представлялся ему пока в типе первоклассного русского писателя, создающего вокруг себя публику и заставляющего слушать себя поневоле.

Очень характеристично для этого отдаленного времени то обстоятельство, что исключительная любовь Тургенева к литературе могла еще казаться подозрительной и навлечь ему неприятности. По возвращении в Россию в 1851 г. Тургенев был потрясен известием о смерти Гоголя (1852 г.), и послал в одну московскую газету несколько горячих строк сочувствия к погибшему деятелю, уже после того как в Петербурге состоялось распоряжение о недопущении надгробных панегириков автору «Мертвых Душ». Никто не осведомился, знал ли или не знал Тургенев о состоявшемся распоряжении и можно ли было даже, предполагая, что распоряжение было ему известно, поставить ему в вину желание провести свою статейку в свет, так как для достижения своего желания он не нарушал никаких положительных законов и подверг статью обыкновенному цензурному ходу, только на расстоянии нескольких сот верст от Петербурга—в Москве. Тогдашний председатель цензурного комитета в Петербурге (Мусин-Пушкин) однако же усмотрел в бегстве статейки из-под его ведомства и появлении ее в Москве *ослушание начальству*, и последствием был месячный

арест Тургенева при одной из съезжих и затем высылка в деревню на жительство [1]. Благодаря этой мере, съезжая, где он содержался (у Большого театра, между Екатерининским каналом и Офицерской улицей), попала в русскую литературу и сделалась *исторической* съезжей. Там, посреди разных домашних расправ полиции, бывших тогда еще в полном цвету, но в квартире самого частного пристава, куда был переведен по повелению государя наследника (ныне царствующего императора), Тургенев написал тот маленький chef d'oeuvre, который не утерял и доселе способности возбуждать умиление читателя, именно рассказ «Муму». На другой день своего освобождения и перед выездом в ссылку он нам и прочел его. Истинно трогательное впечатление произвел этот рассказ, вынесенный им из съезжего дома, и по своему содержанию, и по спокойному, хотя и грустному тону изложения. Так отвечал Тургенев на постигшую его кару, продолжая без устали начатую им деятельную *художническую* пропаганду по важнейшему политическому вопросу того времени.

После этого отступления, которое, в виду разноречивых толков о замечательном человеке, порожденном той же эпохой 40-х годов, казалось мне совершенно необходимым, — возвращаюсь назад. Итак, после отъезда Тургенева мы остались с Белинским вдвоем, с глазу на глаз, в Зальцбрунне.

---

[1]) Это было следствием не столько статьи о Гоголе, сколько появления „Записок Охотника“ в отдельном издании (1852 г.).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

СОСТОЯНИЕ БЕЛИНСКОГО. — НОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ. — КНИГА МАКСА ШТИРНЕРА.—БЕЛИНСКИЙ ОБ ЭГОИЗМЕ И АЛЬТРУИЗМЕ.—СТАТЬЯ «ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 Г.».—КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС.—ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛИНСКОГО.—ПОЛОЖЕНИЕ ИСКУССТВА.—МИРОСОЗЕРЦАНИЕ БЕЛИНСКОГО.—ПИСЬМО ГОГОЛЯ И ОТВЕТ БЕЛИНСКОГО.

Белинский явился мне в эти дни долгих бесед и каждочасного обмена мыслей совершенно в новом свете. Страстная его натура, как ни была уже надорвана мучительным недугом, еще далеко не походила на потухший вулкан. Огонь все тлился у Белинского под корой наружного спокойствия и пробегал иногда по всему организму его. Правда, Белинский начинал уже бояться самого себя, бояться тех еще не порабощенных сил, которые в нем жили, и могли при случае, вырвавшись наружу, уничтожить зараз все плоды прилежного лечения. Он принимал меры против своей впечатлительности. Сколько раз случалось мне видеть, как Белинский, молча и с болезненным выражением на лице, опрокидывался на спинку дивана или

кресла, когда полученное им ощущение сильно въедалось в его душу, а он считал нужным оторваться или освободиться от него. Минуты эти походили на особый вид душевного страдания, присоединенного к физическому, и не скоро проходили: мучительное выражение довольно долго не покидало его лица после них. Можно было ожидать, что, несмотря на все предосторожности, наступит такое мгновение, когда он не справится с собой,—и, действительно, такое мгновение наступило для него в конце нашего пребывания в Зальцбрунне.

Надо знать, чем был за полгода до своей смерти Белинский, чтобы понять весь пафос этого мгновения, имевшего весьма важные последствия, и от дальнейших и окончательных результатов которого освободила его только смерть. Я подразумеваю здесь известное его письмо к Гоголю, много потерявшее теперь из первоначальных своих красок, но в свое время раздавшееся по интеллектуальной России, как трубный глас. Кто поверит, что, когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиренный и потерявший веру в пользу литературных ошибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации.

Мысль его уже обращалась в кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися определениями прав и обязанностей человека, новой *правдой*, провозглашаемой экономическими учениями, которая упраздняла все

представления старой, отменяемой правды о нравственном, добром и благородном на земле, и ставила на их место формулы и тезисы рассудочного характера. Белинский давно уже интересовался, как мы видели прежде, этими проявлениями пытливого духа современности, но о каком либо приложении их к русскому миру, где еще не существовало и азбуки для разбора и разумения их языка,—никогда не помышлял. Он пришел только к заключению, что дело развития каждой отдельной личности, ищущей некоторой высоты и свободы для своей мысли, должно сопровождаться посильным участием в исследовании свойств и элементов того потока политических и социальных идей, в который брошены теперь цивилизация и культура Европы. Для облегчения этой работы, необходимой для каждой мало-мальски мыслящей и *совестливой* личности, Белинский и начинал думать, что следовало бы и в русской литературе установить коренные точки зрения на европейские дела, с которых и могла бы начинаться независимая работа критики у нас и свободное исследование всего их содержания.

Одного только не мог он переносить: спокойствие и хладнокровное размышление покидало его тотчас, как он встречался с суждением, которое, под предлогом неопределенности или неубедительности европейских теорий, обнаруживало поползновение позорить труды и начинания эпохи, не признавать честности ее стремлений, подвергать огулом насмешке всю ее работу, на основании тех самых отживших традиций, которые именно и привели всех к ны-

нешнему положению дел. При встрече с ораторством или диффамацией такого рода Белинский выходил из себя, а книга Гоголя «Переписка с друзьями» была вся, как известно, проникнута духом недоверчивости и наглого презрения к современному движению умов, которое еще и плохо понимала. Вдобавок, она могла служить и тормазом для возникавших тогда в России планов крестьянской реформы, о чем скажу ниже. Негодование, возбужденное ею у Белинского, долго жило в скрытом виде в его сердце, так как он не мог излить его вполне в печатной оценке произведения по условиям тогдашней цензуры, а потому, лишь представился ему случай к свободному слову,—оно потекло огненной лавой гнева, упреков и обличений...

Понятно, однако же, что с новым настроением Белинского волнения и схватки русских литературных кругов, в которых он еще недавно принимал такое живое участие, отошли на задний план. Он даже начинал смотреть и на всю собственную деятельность свою в прошлом, на всю изжитую им самим борьбу с литературными противниками, где так много потрачено было сил и здоровья на приобретение кажущихся побед и очень реальных страданий, как на эпизод, о котором не стоит вспоминать. Так выходило, по крайней мере, из его суровой, несправедливой оценки самого себя, которую в последние месяцы его существования не один я слышал от него. Белинский становился одиноким посреди собственной партии, несмотря на журнал, основанный во имя его, и первым симптомом выхода из ее рядов явилась у него утрата всех

старых антипатий, за которые еще крепко держались его последователи, как за средство сообщать вид стойкости и энергии своим убеждениям. Он до того удалился от кружкового настроения, что получил возможность быть справедливым и, наконец, упразднил в себе все закоренелые, почти обязательные ненависти, которые считались прежде и литературным, и политическим долгом. Немногие из его окружающих поняли причины, побуждавшие его рассчитаться со своим прошлым, не оставляя позади себя никакого предмета злобы,—а причина была ясна. В уме его созревали цели и планы для литературы, которые должны были изменить ее направление, оторвать от почвы, где она укоренилась, и вызвать врагов другой окраски и, конечно, другого, более решительного и опасного характера, чем все прежние враги, хотя и горячие, но уже обессиленные наполовину и безвредные...

Я уже упомянул, какое странное впечатление произвело па ближайших его сотрудников по журналу заявленное им сочувствие к той части славянофильских воззрений на народ, которая может быть принята каждым размышляющим человеком, к какой бы партии он ни принадлежал. Хуже еще было, когда Белинскому вздумалось похвалить, со всеми надлежащими оговорками, «Воспоминания Булгарина», тогда вышедшие, и заметить, что они любопытны по характеристике русских нравов в начале нынешнего столетия, системы тогдашнего публичного воспитания и вообще заведенных порядков жизни, которых автор был сам свидетелем и

жертвой. Похвала Булгарину в устах Белинского, как ни была еще скромна сама по себе, показалась, однако же, такой чудовищной вещью журнальным соредакторам критика, что они напечатали статейку, уже переработав и переиначив ее до неузнаваемости, и тем вызвали укоризненное примечание последующего издателя сочинений Белинского, гласившее: «Статья эта, напечатанная по рукописи,—в «Современнике»,—какая то странная переделка». Редакция имела некоторое моральное право желать такой переделки. Во первых, никто не был приготовлен к подобному нарушению всех традиций либеральной журналистики, связывавшей с некоторыми литературными именами множество вопросов, которые только *полемически* и могли быть поднимаемы в печати, и которые давали этим именам значение символов, для всех понятных и не требовавших дальнейших разъяснений; а во вторых—можно было думать, что Белинский не остановится на первом шаге в деле упразднения либеральных традиций своей партии, что грозило оставить в будущем саму партию без дела, круглой сиротой, не знающей за что приняться. Многие из друзей уже относили к упадку умственных сил поворот, замечаемый в направлении Белинского, и выражали опасение, что он обратится на разрушение по частям тех начал, которые окрашивали так долго и ярко его собственную деятельность, при чем новый журнал, конечно, терял один из крупных девизов своего знамени.

Опасения несбывшиеся, но они не вовсе взяты были с ветра. Белинский по временам обнаруживал мрачный взгляд на свою прошлую

литературную жизнь. Помню, как однажды, после особенно мучительного дня кашля и уже укладываясь в постель, он вдруг заговорил тихим, полу-грустным, но твердым тоном: «Не хорошо болеть, еще хуже умирать, а болеть и умирать с мыслью, что ничего не останется после тебя на свете,—хуже всего. Что я сделал? Вот хотел докончить историю русской народной поэзии и литературы, да теперь и думать нечего. А может быть кто нибудь тогда и вспомнил бы обо мне, а что теперь? Знаю, что вы хотите сказать,— прибавил он, заметив у меня движение—но ведь две-три статьи, в которых еще половина занята современными пустяками, уже и теперь никому ненужными, не составляют наследства. А все прочее понадобится разве историку нашей эпохи»... И так далее...

Я оставил его с тяжелым чувством на душе. Это сомнение в пользе целого жизненного труда— имело для меня трагический смысл. И нельзя было приписать слова Белинского действию болезни: он, видимо, думал и прежде о том, что теперь высказал,—за речью его слышалось как бы долгое предварительное соображение. Выходило, что человек, пользующийся большой популярной известностью, обремененный, так сказать, сочувствиями целого поколения, им воспитанного,— еще считает себя призраком в истории русской культуры и не убежден в достоинстве той монеты, на которую куплено его влияние и слава. Много было несправедливости к самому себе в этой оценке, но много заключалось в ней и новых возникших требований от литературного деятеля, а также много горя—и не одного личного.

Но интересы мысли и развития, на которые Белинский постоянно обращал свое внимание, всегда выводили его из всякого субъективного настроения, как бы оно ни было глубоко и искренно,—выводили на свет, к людям и делам их. Это случилось и теперь.

Тогда много шумела известная—теперь уже позабытая—книга Макса Стирнера «Der Einzige und sein Eigenthum» (Единичный человек и его достояние) [1]. Сущность книги, если выразить ее наиболее кратким определением, заключалась в возвеличении и прославлении эгоизма, как единственного оружия, каким частное лицо, притесняемое со всех сторон государственными распорядками, может и должно защищаться против материальной и нравственной эксплуатации, направленной на него узаконениями, обществом и государством вообще. Книга принадлежала к числу многочисленных тогдашних попыток подменить существующие основы политической жизни другими лучшего изделия, и достигала, как часто бывало с этими попытками, целей, совершенно противоположных тем, какие имела в виду. Возводя эгоизм на степень политической доблести, книга Стирнера устраивала в сущности дела плутократии (кстати — легкий каламбур, представляемый этим словом на русском языке, не раз и тогда употреблялся Белинским в разговоре). Ознакомившись с книгой Стирнера, Белинский принял близко к сердцу вопрос, который она поднимала и старалась разрешить. Ока-

[1] Обычное написание—Штирнер (Stirner), а название книги переводится „Единственный и его собственность“.

залось, что тут был для него весьма важный нравственный вопрос.

— Пугаться одного слова: «эгоизм»,—говорил он,—было бы ребячеством. Доказано, что человек и чувствует, и мыслит, и действует неизменно по закону эгоистических побуждений, да других и иметь не может. Беда в том, что мистические учения опозорили это слово, дав ему значение прислужника всех низких страстей и инстинктов в человеке, а мы и привыкли уже понимать его в этом смысле. Слово было обесчещено понапрасну, так как в сущности обозначает вполне естественное, необходимое, а потому и законное явление, да еще и заключает в себе, как все необходимое и естественное, возможность морального вывода. А вот я вижу тут автора, который оставляет слову его позорное значение, данное мистиками, да только делает его при этом маяком, способным указывать путь человечеству, открывая во всех позорных мыслях, какие даются слову, еще новые качества его и новые его права на всеобщее уважение. Он просто делает со словом то же, что делали с ним и мистики, только с другого конца. Отсюда и выходит невообразимая путаница: я полагаю, например, что книга автора найдет восторженных ценителей в тех людях, одобрения которых он совсем не желал, и строгих критиков в тех, для которых книга написана. Нельзя серьезно говорить об эгоизме, не положив предварительно в основу его—*моральный* принцип, и не попытав затем изложить его теоретически, как *моральное* начало, чем он, рано или поздно, непременно сделается...

Я передаю здесь смысл речи Белинского в том порядке, как она запечатлелась в моей памяти, и, конечно, другими словами, а не теми самыми, какие он употреблял. Несколько раз, при разных случаях и в разное время возвращался он опять к вопросу, который, видимо, занимал его. Не могло быть сомнения, что вопрос связывался с последним видоизменением долгой моральной проповеди, которую Белинский вел всю свою жизнь, и постепенное развитие которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповеди настолько любопытно, что может оправдать попытку собрать его заметки, с помощью уцелевших в моей памяти отрывков, в одно целое, при чем необходима оговорка, уже столько раз прежде делаемая, что изложение не дает ни малейшего понятия о пыле и красках, какие сообщал автор своему слову, ни о форме, в какую выливалась его речь.

— Грубый, животный эгоизм, — размышлял Белинский,—не может быть возведен не только в идеал существования, как бы хотел немецкий автор, но и в простое правило общежития. Это— разъединяющее, а не связующее начало в своем первобытном виде, и получает свойство живой и благодетельной силы только после тщательной обработки. Кто не согласится, что чувство эгоизма, управляющее всем живым миром на земле, есть так же точно источник всех ужасов, на ней происходивших, как и источник всего добра, которое она видела! Значит, если нельзя отделаться от этого чувства, если необходимо считаться с ним на всех пунктах вселенной, в политической, гражданской и частной жизни

человека, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать ему нравственное содержание. Точно то же было сделано для других таких же всесветных двигателей—любви, например, полового влечения, честолюбия, — и нет причины думать, что эгоизм менее способен преобразоваться в моральный принцип, чем равносильные ему другие природные побуждения, уже в него возведенные. А моральным принципом эгоизм сделается только тогда, когда каждая отдельная личность будет в состоянии присоединить к своим частным интересам и нуждам еще интересы посторонних, своей страны, целой цивилизации, смотреть на них, как на одно и то же дело, посвящать им те самые заботы, которые вызываются у нее потребностью самосохранения, самозащиты и проч. Такое обобщение эгоизма и есть именно преобразование его в моральный принцип. Вот уже и теперь есть примеры в некоторых государствах таких передовых личностей, которые принимают оскорбление, нанесенное одному человеку на другом конце света, за личную обиду и обнаруживают настойчивость в преследовании незнакомого преступника, как будто дело идет о восстановлении собственной чести. И заметить надо, что при этом любовь, сочувствие, уважение и вообще сердечные настроения не играют никакой роли — покровительство распространяется в одинаковой мере и на людей, часто презираемых от всей души защитниками их, — на таких, которых последние никогда не допустят в свое общество, да, случается, не признают пользы и самого существования их на свете. Что это такое, как

не эгоизм, превосходно воспитанный и достигший уже до чувствительности строгого нравственного начала. Но таких передовых личностей еще очень мало—и они остаются покамест исключениями. Французы обозначают словом *солидарность* эту способность сберегать самого себя в других, и пытаются сделать из него научный термин, вводя понятие, которое оно выражает, в политическую экономию, как необходимый ее отдел. А что такое солидарность, как не тот же эгоизм, отшлифованный и освобожденный от всех частиц грубого материала, входившего в его состав. Говорят, что все старые и новые философы и проповедники тоже учили искони думать о ближнем более, чем о самом себе. Это правда, но они не столько учили, сколько *приказывали* верить своим словам, требуя жертв и не обещая никаких вознаграждений за послушание, кроме похвал совести—и успех этих приказаний был таков, как известно, что эгоизм живет и доселе повсеместно в самом сыром и нетронутом виде. О нас уже говорить нечего. Несмотря на многовековые приказы быть чувствительным к страданиям ближнего — найдется ли у нас пяток человек, которые возмутились бы ударами, падающими не на их собственную кожу? Единственную крепкую и надежную узду на эгоизм выковывает человек сам на себя, как только доходит до высшего понимания своих интересов. Немецкий автор напрасно соболезнует о жертвах, какие требуются теперь от каждой отдельной личности государством и обществом, и напрасно старается защитить эту личность, проповедуя всеотрицающий эгоизм: настоящий эгоизм будет всегда при-

носить добровольно огромные жертвы тем силам, которые способствуют облагороживанию его природы, а это именно и составляет задачи всякой цивилизации. Государство и общество никакой другой цели в сущности и не имеют, кроме цели способствовать превращению *животного* эгоизма личности в чуткий, восприимчивый духовный инструмент, который сотрясается и приходит в движение при всяком веянии насилия и безобразия, откуда бы они ни приходили...

Этот беглый, поверхностный очерк размышлений Белинского по поводу книги Стирнера — показывает, что последняя моральная его проповедь уже основывалась на действии тех врожденных психических сил человеха, которые впоследствии были подробно исследованы и получили название *альтруистических*. Белинский предупредил несколькими годами анализ психологов, но, конечно, не мог дать его в надлежащей чистоте и определенности, что, вероятно, помешало и изложению его взглядов в печати, где от них не находится никакого следа. Он уже боялся прямого, непосредственного философствования, и пе хотел к нему возвращаться после своих старых опытов на этом поприще *.

В тесной связи с настроением Белинского находится уже его призыв, обращенный к художественной русской литературе и беллетристике—

* Может быть, под влиянием вышеизложенных мыслей Белинский и получил представление о Сикстинской Мадонне, которую потом видел в Дрездене, как об ультра-аристократическом типе. Он перевел ее *божественное* спокойствие, так опоэтизированное у нас В. А. Жуковским, на простое определение, по которому в лице ее выражается равнодушие к страданиям и нуждам низменного нашего мира или, другими словами, полное отсутствие альтруистических чувств. *Прим. автора.*

принять за конечную цель своих трудов служение общественным интересам, ходатайство за низшие, обездоленные классы общества. Призыв находится в последней, предсмертной статье Белинского, написанной им по возвращении из за границы и напечатанной в «Современнике» 1848: «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Обозрение это составляет как бы мост, перекинутый автором от своего поколения к другому—новому, приближение которого Белинский чувствовал уже и по задачам, какие стали возникать в умах. Не раз и в старое время Белинский высказывал те же мысли—о необходимости ввода в литературу мотивов общественного характера и значения, как способа сообщить ей ту степень дельности и серьезности, с помощью которых она может еще расширить принадлежащую ей роль первостепенного агента культуры. Теперь критик уже наклонен был требовать от литературы исключительного занятия предметами социального значения и содержания и смотреть на них, как на единственную ее цель. Разница в постановке вопроса была тут немаловажная, и объясняется она, кроме всего другого, еще и состоянием умов, новыми реформаторскими веяниями, обнаружившимися в обществе. Тогда именно крестьянский вопрос пытался впервые выдти у нас на свет из тайных пожеланий и секретного канцелярского его обсуждения: составлялись полу-официальные комитеты из благонамеренных лиц, считавшихся сторонниками эмансипации, принимались и поощрялись проекты лучшего разрешения вопроса, допускались, под покровительством м-ва имуществ, экономические

исследования, обнаружившие несостоятельность обязательного труда и проч. Все это движение, как известно, продержалось недолго, обессиленное сначала тайным противодействием потревоженных интересов, прикрывшихся знаменем консерватизма, а затем окончательно смолкшее под вихрем 1848, налетевшим на него с берегов Сены, который опустошал преимущественно у нас зачатки благих предначертаний. Но до этой непредвиденной катастрофы, казалось, наступила благоприятная минута указать, что все истинно великие литературы древнего и нового мира никогда не имели других целей, кроме тех целей, какие поставляет себе и общество в стремлениях к лучшему умственному и материальному самоустройству. Это именно и сделал Белинский во «Взгляде на литературу 1847 г.», при чем, если из речи, которую повел он тогда, устранить оценку произведений эпохи, не относящуюся прямо к вопросу, то речь эта может быть названа предтечей и первообразом всех последующих речей в том же духе и направлении, сказанных десять лет спустя, за исключением только одной черты ее, резко отделяющей и Белинского, и его эпоху от наступившего за ними времени. Черта образовалась из особенного понимания самых условий искусства, хотя бы и с политической окраской.

С достоверностию можно сказать, что когда Белинский писал свою статью, перед глазами его мелькали соображения отчасти и практического характера. Изящная литература могла пособить, так сказать, родам давно ожидаемой крестьянской реформы. Как ни упорно держались

слухи о признанной необходимости ее в официальных кругах—никто не говорил о ней прямо в печати. Множество соображений мешали реформе спуститься на площадь и принять единственный путь, ведущий к осуществлению ее—путь всенародных толков. Из этих мешающих соображений наиболее веское было следующее: ни одно самое умеренное и сдержанное слово, ни одно самое хладнокровное и бесстрастное исследование, которые захотели бы говорить о поводах к изменению крепостничества — этой коренной основы русской жизни—не могли бы обойтись без характеристики темных сторон, ею порожденных и оправдывающих посягновения на ее существование и заведенные ею порядки. Избежать горькой необходимости — осуждать прошлые времена и вместе сохранить в целости идею реформы, их отрицающую—вот что составляло трудную дилемму, на разрешение которой уходила бесплодно вся энергия нововводителей, и которая постоянно держала их на почве осторожных внушений и намеков, не обязывающих к немедленному принятию решения. Литература романов, повестей, так называемая изящная литература, вообще могла сослужить при этом большую службу. Она не обязана была знать о существовании затруднений и опасений по делу реформенной пропаганды, а прямо и смело начать ее от своего имени. Обманывая глаза своим притворным равнодушием к политическим вопросам, занимаясь, повидимому, самым ничтожным делом приискания тем и драматических сюжетов для развлечения публики, литература эта могла войти потаенной дверью в самую среду

вопросов, изъятых из ее ведения, что уже и делала не раз. «Записки Охотника», «Записки доктора Крупова», «Бедные люди» Достоевского, а, наконец, мелодраматический «Антон Горемыка» и «Деревня» уже показали, как произведения чистой фантазии становятся трактатами по психологии, этнографии и законодательству. Белинский думал, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другие деятели откладывали именно под предлогом безвременья, и произвести за них тот следственный процесс над старыми условиями русского существования, какой должен предшествовать окончательному их устранению и осуждению. Белинский, вместе с тем, становился и сторонником правительства, как это можно видеть и в многочисленных печатных его заявлениях от 1847 года. Нужда в таком содействии литературы, однакож, скоро миновала, и, наоборот, вся ею уже заготовленная с этой целью работа признана была даже опасной. Со всем тем остается вполне достоверным, что если бы движение продолжалось—литература приняла бы на себя все ненависти раздраженных интересов и эгоистических страстей, отдала бы себя на проклятия и поругания и развязала бы другим руки только на светлое, благодатное и благодарное дело восстановления права и справедливости в стране.

Ясно, что как проповедь, так и все намерения Белинского в этом случае скорее можно назвать *консервативными* в обширном смысле слова, чем революционными, как прославляли их потом соединенные враги печати и реформ

в строе русской жизни. Здесь кстати будет сказать вообще о прозвище «революционера и агитатора», какое получил Белинский у своих, ему современных и у позднейших врагов, которым одинаково полезно было распространять эту репутацию. Ни одно из его увлечений, ни один из его приговоров, ни в печати, ни в устной беседе, не дают права узнавать в нем, как того сильно хотели его ненавистники — любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, питающегося надеждами на крушение общества, в котором живет. Те вспышки Белинского, на которые указывали диффаматоры его для подтверждения своих слов, всегда были произведением ума и сердца, обиженных в своем нравственном существе, в своей *идеалистической* природе. Им он только облегчал душевные страдания и мстил подчас за грубое прикосновение к какому либо гуманному чувству своему; но одно недоразумение или злая подозрительность могли предполагать за всем этим еще жажду скорых расправ, внезапных потрясений и простора для личной мести. Никогда и мысленно не принимал он защиты тех разрушительных явлений, которые проходят иногда через историю и действуют в ней со слепотой стихийных сил, не имея под собой часто никаких моральных основ, и составляя как бы страшную и вместе нелепую импровизацию жизни, раздраженной до последней степени несчастиями и страданиями. Не раз Белинский и сам признавался, когда заходила речь о таких эпохах, упоминаемых историей западных европейских народов, что в подобные времена он был бы совер-

шенно ничтожным, растерянным человеком, годным единственно на то, чтобы умножить собою число жертв, обыкновенно оставляемых ими за собой. Все, что не носило на себе печати мысли, не имело интеллектуального характера и выражения, вселяло ему ужас. Белинский легко, быстро понимал всякую смелую идею и всякое смелое решение, состоящее в каком либо, хотя бы и дальнем родстве с началами — и приходил в тупик перед роковыми *случайностями*, так часто направляющими жизнь помимо человеческого предвидения. На них он никогда не рассчитывал и никогда не вводил их в круг своего созерцания. Оставаясь таким же идеалистом в понимании условий исторического прогресса, как и в своей жизни, он отличался неспособностию признать нужду лжи, даже когда она успокоивает колеблющиеся умы, чувствовал неодолимое отвращение потворствовать пустым людям и вздорным явлениям, если бы они даже и действовали в рядах его собственной партии. У Белинского не было первых, элементарных качеств революционера и агитатора, каким его хотели прославить, да и прославляют еще и теперь люди, ужасающиеся его честной откровенности и внутренней правде всех его убеждений; но взамен у него были все черты настоящего человека и представителя 40-х годов — и между этими чертами одна очень крупная, к которой теперь и перехожу.

Черта эта состояла, как уже было сказано, в особенном понимании искусства, как важного элемента, устраивающего психическую сторону человеческой жизни и через нее развивающего

в людях способность к воснринятию и созданию идеальных представлений. Чертой этой Белинский резко разграничивал свою эпоху от последующей, с которой во всем другом имел множество точек соприкосновения. Разлагая и опровергая старый эстетический афоризм — искусство для искусства, переводя все задачи литературы на общественно-служебную почву, помещая искусство и фантазию в авангард, так сказать, доблестной армии волонтеров, сражающихся за великодушные идеи, что значило, по мысли критика, сражаться за хорошо понятые интересы каждого лица в государстве — Белинский хотел, чтобы войско это снабжено было и надежным оружием, а таким оружием для него он считал всегда поэзию и творчество. Он допускал и простое обличение зла, простое отрицание на̀-голо, но смотрел на них, как на рукопашную схватку, которая в некоторых случаях может быть неизбежна, но которая одна никогда не решает дела и не одолевает врагов. Одолевает их или, по крайней мере, наносит им неисцелимые раны только творческий талант, так как один он может собрать миллионы безобразных случайностей, пробегающих через жизнь, в цельную поразительную картину, и один он способен выделить из тысячи лиц, более или менее возбуждающих наше негодование, полный тип, в котором они все отразятся. Нет надобности повторять здесь то, что он говорил по этому поводу, но необходимо отметить и удержать в памяти основу его литературно-политической теории. Основой этой было коренное убеждение, что создание художнических типов

указывает положительными и отрицательными сторонами своими дорогу, по которой идет развитие общества — и ту, по которой оно должно бы итти в будущем. Это убеждение оставило и ясные следы в статье критика «Взгляд на русскую литературу 1847», где его всякий и может найти *.

Я уже сказал, что эта статья была тем последним звеном в развитии одного периода нашей литературы, к которому примкнули и за которое цеплялись первые звенья нового, последующего ее направления. Перерыва тут не было, как его, кажется, не было ни в одну из эпох русской истории, но характеры явлений обозначались, на первых порах, значительными отступлениями и несходствами. Через 10 лет после смерти Белинского из его теорий изящного принято было учение об общественных целях искусства, а все добавочные положения к его учению оставлены были в стороне.

Новое поколение, уже успевшее пережить грозный промежуток времени с 1848 — 1856, принялось за дело исследования форм русской жизни, недостатков ее и отсталых порядков, как только оказалась возможность говорить людям о самих себе **. Наступил период обличений. Понятно, что поколение взялось за это дело с теми орудиями производства, какие состояли

* Пусть читатель поверит эти слова в „Современнике“ 1848, где статья явилась, или в „Собрании соч. Белинского“, 1861, часть одиннадцатая, страницы 348—356 и 363—365. *Прим. автора.*

** Как бы презрительно ни отзывалась потом критика о всем запасе мелких наблюдений, едких воспоминаний, горького опыта, накопившихся у нас в течение многих лет молчания и терпения и открывших наконец исход для себя под видом единственно нужного и возможного искусства, все таки должно сказать, что эта литература обличений, как выражение обиженного личного или народного чувства, имеет еще смысл, которого ни один историк нашего общества не пропустит без внимания. *Прим. автора.*

у него готовыми налицо, и не имело причины ожидать прибытия щегольского и тонкого оружия (les armes de luxe) искусства для начатия своей работы. С течением времени руки привыкли так к простым орудиям беллетристической фабрикации, что многие, даже очень даровитые судьи дела стали уже сомневаться в пользе водворения более усовершенствованных инструментов производства, имевших еще и ту невыгоду, что не всякий умел с ними обращаться и заработывать ими свой хлеб. Надо было приучаться жить без творчества, изобретательности, поэзии — и это делалось при существовании и полной деятельности таких художников, как Островский, Гончаров, Достоевский, Писемский, Тургенев, Лев Толстой и Некрасов, которые продолжали напоминать о них публике всеми своими произведениями!

Критика пришла на помощь озадаченной публике. Известно, что вслед за первыми проблесками оживившейся литературной деятельности, наступила у нас эпоха *регламентации* убеждений, мнений и направлений, спутавшихся в долгий период застоя. Русский литературный мир еще помнит, с какой энергией, с каким талантом и знанием целей своих производилась эта работа приведения идей и понятий в порядок и к одному знаменателю. На помощь к ней призваны были исторические и политические науки, философские и этические теории. Всем старым знаменам и лозунгам, под которыми люди привыкли собираться — противопоставлялись другие и новые, но при этом постоянно оказывалось, что всего менее поддавалось *регла-*

ментации именно искусство, бывшее всегда, по самой природе своей, наименее послушным учеником теорий. Подчинить его и сделать верным слугой одного господствующего направления удавалось только строгим религиозным системам, да и то не вполне, так как нельзя было вполне победить его наклонности менять свои пути, развлекать внимание капризными ходами, смеяться над школой, и выдумывать свои собственные решения вопросов. Оно составляло именно дисгармонический элемент в период, следовавший за Белинским. Оставить за ним привилегию существовать особняком, на всей своей воле, в то время, когда всем предлагался общий и обязательный труд в одном духе и за одним практическим делом — значило рисковать встретить искусство поперек дороги и против себя. Строгая дисциплина критики для разбора и соответственной оценки тех из художников, которые приняли ее программу, и тех, которые ей не подчинились — становилась необходимостию. Как ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помешать обществу увлекаться неузаконенными образцами творчества она не могла. Тогда и явилось решение отодвинуть искусство вообще на задний план, пояснить происхождение его законов и любимых приемов немощью мысли, еще не окрепшей до способности понимать и излагать прямо и просто смысл жизненных явлений. Круг занятий, снисходительно предоставленных чистому художеству, намечен был с необычайной скупостию. Ему предоставлялась именно передача мимолетных сердечных движений, капризов воображения, нервных

ощущений, оттенков и красок физической природы—всего, что лежит вне науки и точного исследования. Все остальные претензии искусства на деятельную роль в развитии общества были устранены, серьезные темы изъяты из его ведения и разложены на соответствующие им отделы философии, научной критики, специальных исследований. Мыслящее общество тщательно ограждалось от влияния того самого агента, который успешнее всего приготовляет душу человека для принятия семян как гражданских, так и всяких других идеалов. По временам, конечно, еще возникали протесты против этой несправедливости к искусству и раздавались голоса, которые указывали на важность художнических литературных произведений в деле образования характеров, направления умов к нравственным целям, возвышения уровня мыслей, но они проходили бесследно. И по справедливости! Все эти попытки напомнить о действии идеального и изящного на сердца людей, на склад их представлений, а затем на все их крупные и мелкие поступки, уже и потому не могли иметь успеха, не принимая даже в соображение большую или меньшую диалектическую их слабость, — что новому поколению необходимо было, прежде всего, довести дело свое до конца, выразить всю свою сущность, и затем уже оно могло оглянуться назад и дополнить себя всем тем, чего ему недоставало. Так именно с течением времени и случилось.

Казалось бы, что различное понимание вопросов об искусстве не должно было положить особенно яркой разграничивающей черты между

двумя периодами развития, особенно когда во всем другом они имели такое множество точек соприкосновения. И однако ж вопросов этих достаточно было, чтобы ослабить в значительной степени связи, их соединяющие, и дать каждому из них особое выражение и удалить их друг от друга на значительное расстояние. Это случилось потому, что между ними оказалась рознь не на теоретическом определении изящного, а оказалась разница в *миросозерцаниях*. Споры об искусстве, как вообще о всех истинно великих вопросах науки и цивилизации тем особенно и поучительны, что какова бы ни была их относительная важность, под ними всегда кроется и течет невидимой струей то или другое миросозерцание. При этом следует сказать, что история происхождения различных созерцаний, отвечавших у нас в свое время задушевным стремлениям целых поколений, имеет права на полнейшее уважение наше, с какой бы личной точки зрения мы ни относились к ее содержанию.

После 30 лет, протекших со смерти Белинского, можно уже ясно судить о миросозерцании его, не смущаясь притоком случайных настроений, которые окрашивали его иногда своим особенным, но скоро проходившим цветом. Созерцание Белинского все заключается в понимании жизни и цивилизации, как сил, предназначенных на доставление человеку *полноты духовного и материального* существования. По количеству идей и представлений, способствующих осуществлению той полноты разумного бытия, какая носилась перед его глазами в форме иде-

ала, он судил об относительном достоинстве и значении эпох, людей и произведений их. Утайка, пропуск, скрытие какого либо из элементов, необходимых для достижения этой полноты, было ли то делом преднамеренности или последствием недосмотра, одинаково пробуждали его критическую чуткость. Он сам постоянно и добросовестно занимался разбором и определением настоящих и подложных психических и социальных деятелей, заявляющих претензию на удовлетворение всех нужд ума и развития. В оценке тех и других он мог быть иногда излишне нервен, распределять краски, под влиянием одушевления или негодования, не совсем равномерно, но документы, на которых основывалось его суждение, всегда были подлинные, скрепленные свидетельством истории, точными исследованиями науки об идеальных и реальных потребностях человеческой природы. Удовлетворение этих потребностей, без своевольных исключений, подсказываемых расчетами и нуждами разных теоретических построек, он и считал задачей цивилизации и призванием ее. Переходя от общего выражения к частным приложениям того же самого созерцания, надо сказать, что Белинский требовал уже от каждой идеи, от каждого образа, учения и литературного произведения вообще, которые представлялись его глазам, полноты содержания, упраздняющей самую возможность вопросов и дополнений. Но такие цельные явления искусства и мышления встречались редко, а большей частию приходилось иметь дело с созданиями, еще сильнее отличающимися количеством своих упущений,

чем открытий в области выбранных ими тем. Собственно говоря, вся его литературная критика, как еще ни старалась закрыться дипломатическими оговорками и изворотами, к которым и Белинский прибегал по нужде времени, наравне со всеми другими, — была в сущности не чем иным, как рядом восстановлений реставраций и оправданий разных позабытых или искусственно принижаемых черт цивилизации, психических и культурных необходимостей личного и общественного существования. Работа эта вошла у Белинского в привычку мысли и — что особенно важно — весьма часто обращалась им и на самого себя, чем легко объясняются его неоднократные перемены точек зрения на предметы, столь удивлявшие и возмущавшие его врагов.

Известно, что художественные произведения как изящной, так и ученой литературы обладают качеством оставлять очень малую поживу искателям рассеянностей или недосмотров автора, исчерпывать свой предмет и представлять такую твердыню выводов и заключений, для разрушения которой, даже и в малейшей ее части, потребна почти такая же сила и способность, какие находились в обладании и у самого ее строителя. Вот за такими то произведениями старого и нового мира, в переводах и оригиналах, Белинский проводил дни и ночи: они никогда не старелись для него, сколько бы он их ни перечитывал, никогда не могли договорить ему своего последнего слова. Как у аскетов, другого порядка идей, у него была потребность каждодневного приближения к алтарю художнических

произведений и углубления в таинства, на нем свершаемые. Постоянное обращение с великими образцами ученой и изящной литературы возвысило его дух на такую степень, что люди в его присутствии чувствовали себя лучше и свободнее от мелких помыслов, уходили от него с освеженным чувством и добрым воспоминанием, какого бы рода ни велась с ним беседа. Говоря фигурально, к нему всегда являлись несколько по *праздничному*, в лучших нарядах, и моральной неряхой нельзя было перед ним показаться, не возбудив его негодования, горьких и горячих обличений. Таков был человек, который первый указал русской литературе реальное направление, кажется, прежде чем о нем вспомнила и Европа, а теперь призывал ту же литературу на политическую арену, на занятие вопросами гражданского, общественного характера. Что двигало этого эстетика по преимуществу? Конечно, прежде всего, благородное сердце, искавшее средств пособить первым, неотложным нуждам развития, еще вовсе и не начавшегося для массы его соотечественников, и затем все то же искание полноты идеального и реального типа для жизни и мысли. Сзади этой предполагаемой литературной деятельности ему открывалось еще все громадное поле европейской цивилизации с его обработкой, с его приобретениями, сделанными в течение стольких веков. С него он и глаз не спускал. Ни одного из всех опытов—старых и новых, приложенных к нему, ни одного счастливого результата, ими уже данного, не хотела бы лишиться эта страстная душа. Конечная цель всех его требований

и указаний заключалась в том, чтоб выработать из русской жизни полного работника просвещения, чтобы наделить ее всеми теми силами и воспитательными началами, которые образовали в Европе лучших и надежных ее работников. Не нужно, кажется, прибавлять, что все эти дальновидные расчеты оказались на деле мечтой; но тот еще не будет в состоянии правильно судить об эпохе Белинского, кто не поймет и не признает, что все мечтания и фантазии подобного рода были в то время положительным и весьма серьезным делом.

Возвращаюсь к рассказу.

Приближалось время окончания лечебного курса и нашего отъезда из Зальцбрунна. Белинский чувствовал себя гораздо лучше, кашель уменьшился, ночи сделались покойнее — он уже поговаривал о скуке житья в захолустьи. Почти накануне нашего выезда из Зальцбрунна в Париж я получил неожиданное письмо от Н. В. Гоголя, извещавшего, что изданная им «Переписка с друзьями» наделала ему много неприятностей, что он не ожидает от меня благоприятного отзыва о его книге, ио все таки желал бы знать настоящее мое мнение о ней, как от человека, кажется, не страдающего заносчивостию и самообожанием. Это было первое письмо после того надменно-учительского, о котором говорено, и первое после короткой встречи нашей в Париже и Бамберге. Оно довольно ясно обнаруживало в Гоголе желание если не утешения и поддержки, то по крайней мере тихой беседы. В конце письма Гоголь неожиданно вспоминал о Белинском и кстати посылал ему дружеский поклон, вместе

с письмом прямо на его имя, в котором упрекал его за сердитый разбор «Переписки» во 2-м № «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Белинского о его последнем направлении, какого Гоголь еще и не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков «Переписки», попреками и бранью на ее автора. Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, — но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: «А, он не понимает, за что люди на него сердятся — надо растолковать ему это—я буду ему отвечать».

Он понял вызов Гоголя.

В тот же день небольшая комната, рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, на котором мы свершали наши довольно скучные послеобеденные упражнения в пикет, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю, как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом...

Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на ди-

ванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно на-бело, и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение.

Я испугался и тона, и содержания этого ответа, и, конечно, не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования — вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это

лучше меня, как оказалось: «А что же делать?» сказал он. «Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него».

Письмо было послано, и затем уже ничего не оставалось делать в Зальцбрунне. Мы выехали в Дрезден, по направлению к Парижу.

Здесь, забегая вперед, скажу, что по прибытии в Париж, Г[ерцен], уже поджидавший нас, явился в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Г[ерцен] шмыгнул. чтобы сказать мне на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

БЕЛИНСКИЙ И СЕМЬЯ. — БЕЛИНСКИЙ В ДРЕЗДЕНЕ. — БЕЛИНСКИЙ В ПАРИЖЕ. — ПИСЬМО В. БОТКИНА. — ИГРУШКИ И ХАЛАТ. — ОТЪЕЗД БЕЛИНСКОГО.

Нелюдимость Белинского, казалось, все еще увеличивалась за границей с течением времени, вместо того, чтоб уменьшиться. Он утерял всякую охоту заводить связи, даже и минутные, с незнакомыми лицами; наоборот, чем долее шло время, тем он сильнее сосредоточивался в помыслах о семье, которая положительно заслоняла для него всю заграничную обстановку. Исключение составляли двух-трехлетние немецкие мальчишки — на тех он смотрел охотно, и не раз, указывая мне на какой нибудь особенно выдающийся экземпляр, приговаривал глухо: «у меня точно такой же был дома». Словом, семья сделалась для него уголком, в котором он мысленно запирался тотчас же, как оказывалась возможность к тому. Всего любопытнее, что он желал оставить свет и окружающих людей в неведении насчет своего приюта, и когда заходила о нем речь, отзывался равнодушно, не скрывая только — чего уже нельзя было скрыть — страстной любви своей к детям.

Биографическая черта эта, кажется, стоит того, чтоб остановиться на ней. Белинский женился в 1843 г., уже тогда, когда романтический период его жизни миновал, и когда он укрепился в мысли, что далее ждать нечего от судьбы и случая, что он предопределен не ведать сочувствия женского сердца, как в силу своего внешнего, будто бы непривлекательного вида, так и в силу нравственных своих качеств, будто бы, несимпатичных вообще для женской природы. Замечательно было однако ж то, что с самого 1838 г. он не умолкал громить и преследовать одиночество, на которое, повидимому, так решительно согласился. В его глазах и определениях строгое одиночество, если оно верно самому себе, составляло противоестественное, искусственное, а потому и безнравственное явление, из какого бы душевного настроения ни выходило. Исключения из правила, в роде художника Иванова и ему подобных, и он признавал, но думал, что и о них надо судить только по важности идеи, для которой ими принесена была жертва. Он и покинул собственную систему одиночества тотчас, как явился предлог к тому — и покинул с неимоверной торопливостию, изумившей друзей. Тогда объясняли этот факт тем, что он встретил привязанность, которая наносила удар его скептическому пониманию самого себя, сохранившись через значительный промежуток времени. Неожиданность такого открытия была настолько сильна, что привела его к мысли переустроить весь свой быт. — Как бы то ни было, он привел в исполнение свое решение, при недоумевающих

лицах друзей, предвидевших в этом поступке новые затруднения жизни для него. Женившись, Белинский не отказался, однако ж, от своих воззрений на *сродство душ и стремлений*, как на единственный элемент, узаконяющий брачное состояние, и сознавался, что в его собственном браке недоставало идеального повода и отсутствовало поэтическое настроение. Он высказывал это мнение, не стесняясь, и перед всеми громко и часто, и здесь нельзя не признать достоинство ответа, какой он получал на свои вспышки. Умно рассчитанное или уже врожденное по темпераменту хладнокровие наиболее заинтересованной в деле стороны позволяло свободно истекать этим протестациям и критическим обращениям на совершившийся факт: они ни на волос не мешали другой стороне — вести семейное дело в одном духе, стойко, спокойно, правильно. Под конец, с наступившим упадком физических сил, обнаружилась на Белинском та непреоборимая, громадная, нивеллирующая мощь *моногамического* общежительства, которая побеждает все порывы, мечтания и фантазии человека. Белинский видел уже в домашнем очаге своем как бы целящую силу для больного сердца, и в руке, которая спокойно ему служила, как бы руку, удерживающую его на свете.

Первым благом жизни становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчание домашнего быта, которые позволяли ему думать свои пламенные думы про себя, болеть сердцем без помехи. Раздел горьких мыслей и ощущений часто бывает подстрекательством к ним, а в последнем он уже более не нуждался.

Он нуждался в другом, а именно в отдаленном, но симпатическом наблюдении за своей кончавшейся жизнью. Семья Белинского умела организовать такое наблюдение, которое не давало себя чувствовать, и не спрашивала у него никогда об истории болезни, не добивалась признаний и исповеди, не заставляла рассказывать страданий. Она приучила его к существованию, упрощенному до возможной степени и приноровленному столько же к состоянию его мысли, сколько и к физическому его состоянию. Понятно после того, что обычные спутники всякого путешествия—как то: многолюдство, пестрота жизни, назойливость внешних явлений, напрашивающихся на внимание, уже казались ему нестерпимыми, так как составляли новую лишнюю прибавку в психическом его мире, какой он вовсе не хотел. Вот почему он и писал длинные письма из за границы, часто украдкой, не к друзьям в Петербург, а к жене и женщине, которая, по его же мнению, не в силах была войти в круг идей, несколько отличных от тех, к каким привыкла; поэтому также этот поэт в душе, воспитанный на чтении и изучении художников, но уже усталый,—не видел ни памятников культуры, ни самодельного творчества природы на своем пути и стоял перед ними часто немой, рассеянный, видимо, поглощенный совсем другой и чуждой им мыслию.

Особенное отвращение испытывал Белинский к внезапным беседам, которые так часто завязываются на дорогах с незнакомыми людьми: отвращение это иногда разрешалось довольно комическими эффектами. На пути к Дрездену

прыгнул в наш вагон с одной станции какой то очень вертлявый и, повидимому, весьма добродушный поляк. Услыхав русский говор, он обратился к соседу, которым, по несчастию, был Белинский, и начал с ним следующую короткую беседу, передаваемую буквально. «Вы русский?»— «Русский». — «Прямо из России?» — «Совершенно прямо». — «И, конечно, хорошо говорите по французски?»—«Совсем не говорю». — «Значит, только по немецки?» — «И по немецки тоже не умею». — «Стало быть, — приставал неугомонный поляк и уже с печальным видом, — вы только по русски говорите?» — «Немножко, и то неохотно», отвечал Белинский, откидываясь в угол кареты. Надо было видеть выражение изумления на лице вопрошавшего: я не мог удержаться от смеха и перевел беседу уже на себя, начиная ее опять с начала...

В Дрездене мы остановились на неделю, Белинский заказывал белье и, большей частью, лежал на диване своей комнаты с книгой в руке. Он равнодушно гулял по берегу Эльбы, осматривал безучастно город, зашел и в Grüne-Gewölbe, которая своими дорогими детскими игрушками и сокровищами пробудила его внимание с тем, чтобы привести его почти в негодование, и, наконец, раза два побывал в Картинной Галлерее. Здесь по принятому обыкновению туристов он также садился перед Сикстинской Мадонной, но вынес впечатление, совершенно противное тому, какое они обыкновенно испытывают при этом и затем описывают. Он первый, кажется, не пришел в восторг от ее небесного спокойствия и равнодушия, а, напротив, ужас-

нулся ему, что было также косвенным признанием гениальности мастера, создавшего этот тип. В дрезденской же галлерее испытывал он и другое эстетическое горе: он наткнулся там на маленький chef-d'oeuvre Рубенса — «Суд Париса», в котором роль Венеры и обнаженных ее соперниц играли три фламандские красавицы, снятые с натуры с поразительной верностью и реализмом. Белинский, привыкший понимать Венер и греческих женщин, как осуществление идеальной красоты на земле, очутился перед тремя нагими матронами, пышущими здоровьем, упитанными и тучными, как огороды и сады их отечества, будущими матерями здоровых бургомистров и фабрикантов. Живописный реализм возбудил отвращение у поклонника реализма литературного. Он не мог помириться с картиной, как ни указывали ему на изумительный колорит ее, на жизненность этих тел, от которых, кажется, еще веяло теплом, как и от бархатных парчевых одеяний утрехтского изделия, только что ими покинутых, на гармонию, рельефность всех ее частей, — Белинский стоял в недоумении и продолжал называть Рубенса поэтом мясников. Только несколько позднее, когда указали ему, в большой гравюре, на другую картину того же мастера: «Торжество Вакха», на этот пир, в котором все фигуры, начиная с опьяневшего тигра до последней вакханки, охвачены столько же хмелем виноградных гроздий, сколько и безграничной радостью молодой жизни, открывшей возможность наслаждения на земле, Белинский пришел в изумление от силы рисунка, смелости мотивов, от идеи, доведенной

до высшей степени ее пафоса и выражения. Когда заметили ему, что картина принадлежит той же руке, которая произвела и «Суд Париса», Белинский добродушно заметил: «Ну, значит, я наврал, да с меня нечего взять — я ведь олух в этих делах».

С недоразумениями подобного рода мне приходилось встречаться не раз и потом, и слышать — например, от Г[ерцена] — остроумные выходки против манеры католических живописцев помещать святых на облаках в *сидячем положении*, низводить ангелов на землю и заставлять их играть на арфах, лютнях, и скрипках, и проч., и проч. Все это казалось крайне ненатуральным и чудовищным тем самым людям, которые в литературных произведениях нисколько не возмущались, когда встречали описание снов, тайных разговоров влюбленных, мимолетных психических ощущений, что все должно бы оставаться, по настоящему, секретом и для авторов, которые сами не могли ничего подобного ни подглядеть, ни подслушать. То кажется несомненным, что для понимания как литературных, так и пластических созданий необходимо свыкнуться с их обычными приемами, помириться с нелогичностью некоторых из них и признать в них авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противна, когда она является не в виде навыка, полученного с незапамятного времени, а требуется прежде всего от человека, как начало премудрости, без которого нечего и приступать к суждению о предметах искусства. Может быть, это обстоятельство именно и подсказало ориги-

нальное решение Белинскому, когда, прибыв в Кельн, он не пожелал видеть знаменитой абсиды его собора, тогда еще недостроенного. Он мимоходом взглянул на нее снаружи, уже проездом на станцию железной дороги, и только сказал: «Обширное помещение, нечего сказать, для католической идеи, которая там должна была проживать».

Париж оказался уже не под силу Белинскому. С первых же дней лихорадочное движение толпы, днем и ночью шумящие и ослепляющие кафе и магазины, суета и говор, восстающие с раннего утра, и толки, перекрестным огнем раздающиеся со всех сторон, утомили его скорее, чем я ожидал. Проехав по улицам и площадям Парижа, побывав несколько (немного) раз в его операх и театрах, он почувствовал почти тотчас же необходимость скрыться куда нибудь от этого неумолкающего праздника. Он нашел два приюта: за письменным столом в своей комнате, на котором писал много и долго к жене — во первых, и в семье Г[ерцена], где М. Ф. К[орш] и хозяйка окружали его попечениями и успевали разглаживать морщины, наведенные усталостью от зрелища мятущихся людей, целей и намерений которых угадать нельзя.

Впечатление, произведенное на него Парижем, было вообще, так сказать, удивленно-грустное. «Все в нем,—говорил Белинский,—должно принимать громадные размеры: алчность, разврат и легкомыслие, так же точно как и разработка идей и знаний, и благородные порывы, и стремления, — да разобраться в этом омуте и узнать, чего в нем больше — дело очень труд-

ное». Он не раз спрашивал у друзей: в самом ли деле необходимы для цивилизации такие громадные, умопомрачающие центры населения, как Париж, Лондон и др.

Конечно, окружающие Белинского поспешили открыть ему те источники, которыми питается движение Парижа, так много удивившее его: именно — музеи, лекции, сходки и проч. Белинский следовал покорно за своими вожатыми, но, видимо, смотрел на это, как на исполнение долга, как на нечто схожее с праздничными *визитами* по начальству. Не трудно было подметить его благодарный взгляд всякий раз, когда его освобождали от этого своего рода спешного наглядного обучения и заменяли его сокращенным изложением того или другого любопытного явления в литературе, науке или жизни. Всего более интересовался он вопросом, какого результата в будущем следует ожидать от всех этих начинаний, к каким положительным выводам можно притти относительно дальнейшего развития цивилизации уже и теперь, на основании существующих данных, — словом, как велика сумма общечеловеческих надежд, носимых в себе всей этой видимой культурой? Ответов получено было много и, большею частью, самых благоприятных для грядущих поколений, за исключением только мнения Г[ерцена] по этому предмету, которое особенной веры в силу современных людей и их способности к прогрессу не обнаруживало. Белинский оставался, таким образом, между двумя противоположными суждениями о предмете, который его занимал. Не считая самого себя

достаточно подготовленным для разрешения вопроса собственной мыслью, он покинул Париж с неясным представлением дела, которое делал город. Да и кто мог тогда ясно видеть, что готовится в нем, или предсказать, что несет ему ближайший наступающий день истории?

Вообще, насколько становился Белинский снисходительнее к русскому миру, настолько строже и взыскательнее относился к заграничному. С ним случилось то, что потом не раз повторялось со многими из наших самых рьяных западников, когда они делались туристами; они чувствовали себя как бы обманутыми Европой, смотрели на нее с упреком, как будто она не сдержала тех обещаний, какие надавала им втихомолку. Это обычное явление объясняется довольно просто. Сухая, деловая, часто ограниченная и невежественная и всегда мелочная — плутоватая толпа новых людей первая встречала за границей путешественников и, случалось, довольно долго держала их в среде своей, прежде чем они переходили к явлениям и порядкам высшего строя жизни. Но тогда они уже расположены были требовать у последних отчета за всю виденную прежде пошлость и возлагать на эти явления ответственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено их влиянием. Белинский не избег общей участи путешественников. Под впечатлением скучного процесса своего лечения и особенно под впечатлением зрелища громадной людской массы, не имеющей и предчувствия тех идей и начал, которые возвещались миру от ее имени, Белинский давал мрачный отчет о за-

граничном своем житье-бытье друзьям в Москве — и напугал их. Им показалось, что он может вернуться домой скептиком по отношению к европейской культуре вообще, и в дальнейшей своей деятельности, даже нехотя и против своей воли, способствовать при таком настроении распространению надменных взглядов на западную цивилизацию, уже существующих в русском обществе. Опасения свои они сообщили и самому Белинскому. Один из них — В. П. Боткин — писал:

«Москва. 19 июля, 1847. Сегодня получил твое письмо из Дрездена, милый мой Виссарион... Понимаю твое отвращение от Германии, Белинский, — очень понимаю, хоть и не разделяю его. Я не могу жить в Германии, потому что немецкая общественность не соответствует ни моим убеждениям, ни моим симпатиям, потому что нравы ее грубы, что в ней мало такта действительности и реальности и так далее, но я не изрекаю ей такого приговора, как ты — и относительно дурных и хороших сторон народов придерживаюсь несколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый захворал бы от скуки, проведя полтора месяца в Германии, а ты еще провел их в Силезии, в Сальцбрунне! Париж, я надеюсь, постоит за себя. Но зачем тебе видеть там одних только конституционных подлецов? Там есть много такого, что посущественнее и поинтереснее их. Политические очки не всегда показывают вещи в настоящем свете, особенно если эти очки сделаны из принятых заочно доктрин. Часто и доморощенные доктрины заставляют городить вздор

(что доказывает книга Луи Блана; с твоим умным мнением о нем совершенно согласен), а беда, если наш брат приезжает в страну с заранее вычитанною доктриною... Получа твое письмо, я тотчас побежал поделиться им с Коршем и сегодня пошлю его к Грановскому... Ты получил письмо от Гоголя? По рассказам — это письмо показывает, что Гоголь потерял, наконец, смысл к самым простым вещам и делам... Сейчас получаю твое ко мне письмо обратно от Грановского; он недоволен им и боится, чтобы ты с твоей теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал бы писать о них, воротясь в Россию. В самом деле — это было бы большим торжеством для наших невежд и мерзавцев. О цензурных обстоятельствах, надеюсь, тебе сообщил уже Некрасов, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Занд не будет читаться на русском языке...» и т. д.

Не трудно было окружающим Белинского, к которым московские друзья тоже обращались с запросами о нравственном его состоянии, разъяснить, что в основании всех его нареканий на заграничную жизнь лежит совсем не враждебное Европе чувство, а скорее чувство нежное к ней, раздосадованное только тем именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои порывы.

Настроение, однако же, не прошло у Белинского бесследно.

О мозговом раздражении русской либеральной колонии, с ее заботами об устроении для себя наилучшего умственного комфорта, при чем, конечно, не могли быть забыты ею и

эффектные подробности из современных открытий—уже и говорить нечего. Белинский не обратил на колонию никакого внимания, как на дело, известное ему по опыту — и у себя дома *.

Мы слышали, что позднее и уже находясь в Петербурге, Белинский принял известие о революции 48-го года в Париже почти с ужасом. Она показалась ему неожиданностию, оскорбительной для репутации тех умов, которые занимались изучением общественного положения Франции и не видели ее приближения. Горько пенял он на своих парижских друзей, даже и не заикнувшихся перед ним о возможности близкого политического переворота, который, как оказалось, и был настоящим делом эпохи. Этот недостаток предвиденья, по мнению Белинского, превращал людей или в рабов, или в беззащитные жертвы одного внешнего случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностию и для тех, кто его устроил.

Жена Г[ерцена], по инстинкту женского сердца, поняла, между прочим, Белинского, заехавшего в Париж, лучше и скорее всех других. Она собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцию «образовательных» игрушек, уже существовавших тогда в Париже, хотя и без систематизации их, и подарила ее дочери

* К польскому вопросу Белинский всегда относился только с *гуманной* точки зрения, находя, что жертвы истории и собственных грехов могут возбуждать глубокое сострадание, как вообще и все угасание национальности прежних эпох. - Политической стороны польского вопроса он никогда не касался и постоянно обходил его с равнодушием. *Прим. автора.*

Белинского. Между подарками были зоологические альбомы с великолепными рисунками животных всех поясов земли, которыми Белинский не уставал восхищаться. Он мечтал о воспитании дочери на естествознании и точных науках. Между прочим, он в это время нашел игрушку и для самого себя. Фланируя по улицам, он наткнулся в одном магазине готовых платьев на изумительно пестрый халат с огромными красными разводами по белому фуляровому полю— и влюбился в него. Халат был именно той *выставочной* вещью, которую магазины нарочно заказывают, с целью огорошить проходящего и остановить его перед своими зеркальными стеклами. Белинский почувствовал род влечения к этому предмету, долго колебался и наконец купил его, серьезно растолковывая нам, что предмет совершенно необходим ему для утренних работ в Петербурге. Подробность заслуживает упоминовения потому, что этот несчастный халат наделал потом много хлопот ему и мне.

По мере того, как приближалось время к отъезду Белинского в Россию, о чем он уже стал мечтать чуть ли не со дня своего появления в Париже, возникал вопрос о способах удобнейшего отправления его на родину, так как предоставить Белинского самому себе в этом деле не было возможности, по малой его опытности и неспособности беседовать на иностранных диалектах. Решение вопроса было уже принято, когда представилась возможность дать Белинскому благонадежного спутника и вместе оказать услугу честному старику, занимавшему важную в Париже должность «portier» — при-

вратнику в нашем доме. Старика, очень строгого к *простым* жильцам, которые поздно возвращались домой, и привязавшегося к русским своим пансионерам как то страстно и безотчетно—звали Фредерик. Он был родом немец из Саксонии, свершил поход 12-го года в Россию с армией Наполеона, попал в ординарцы к губернатору Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться целым и невредимым в Париж, где он и поселился. Оп охотно, особенно под хмельком, рассказывал об ужасах, какие он видел на пути в Россию и из России и в Москве. Вместе с тем, он сгорал желанием побывать на родине (где то около Лейпцига), которой не видал уже более 35 лет, и когда я предложил ему, под условием сперва довезти моего приятеля до Берлина, посетить на наш счет свой фатерланд и затем возвратиться назад к месту, которое покамест будет блюсти его супруга (толстая и величественная баба), старик как то присел, положил обе руки между колен и, легко подпрыгивая, мог только несколько раз промычать: «Oui, Monsieur! Ah, Monsieur!..» Для Белинского нашелся надежный проводник, говоривший по немецки и по французски, и готовый беречь его особу и особенно его кошелек, как честь знамени или пароль, полученный от своего шефа.

В Париж пришел также и ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбрунна. Грустно замечал в нем Гоголь, что опять повторилась старая русская история, по которой одно неосновательное убеждение или слепое увлечение непременно вызывает с противной стороны дру-

гое, еще более рискованное и преувеличенное, посылал своему критику желание душевного спокойствия и восстановления сил и разбавлял все это мыслями о серьезности века, занимающегося идеей полнейшего построения жизни, какого еще и не было прежде. Что он подразумевал под этим построением, — письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностию изложения. Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только: «какая запутанная речь; да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту».

День отъезда из Парижа, после предварительного совещания с друзьями, был назначен окончательно. Накануне его, вечером, Белинский посидел еще раз на любимом своем месте, на мраморных ступеньках террасы, окружающей площадь Согласия, «de la Concorde», задумчиво смотря на луксорский обелиск посреди площади, на Тюльери, выступавший фасадом и куполом из каштанового сада своего, на мост через Сену и Бурбонский дворец за ним, обратившийся в палату депутатов, и вспоминая страшные сцены и драмы, некогда разыгрывавшиеся в этих местах. Поздно ночью, после прощания у Г[ерцена] возвратились мы домой. Все было там уложено и приготовлено с помощью Фредерика, и на другой день в 5 часов утра мы были уже на ногах, а в половине 6-го—и в карете, которая должна была доставить нас на дебаркадер дальней северной железной дороги. Уже подъезжая к ней и за какие нибудь четверть часа до отхода самого поезда, мне вздумалось спро-

сить Белинского: «захватили ли вы халат?» Бедный путешественник вздрогнул и глухим голосом произнес — «забыл, он остался в вашей комнате, на диване». — Ну, — отвечал я, — беда небольшая, я вам перешлю его в Берлин. Но упустить халат из рук показалось Белинскому невыносимым горем. Надо было видеть ту печальную мину и слышать тот умоляющий голос, с которыми он сказал мне: нельзя ли теперь? Отказать ему не было возможности без уничтоженья в его уме всех приятных впечатлений вояжа. Я призвал на помощь русское авось, остановил карету и послал Фредерика скакать, в первом попавшемся фиакре, домой что есть мочи, подобрать халат и застать нас еще на станции. Простее было бы отложить поездку до завтра, но мной завладел тоже некоторого рода азарт и желание одолеть помеху во что бы то ни стало. Русское авось однако же изменило на этот раз. Я едва успел взять билет для Белинского, распорядиться с его багажом, как пробил третий звонок, а Фредерика не было. Известно, что на французских дорогах царствует или царствовал военный распорядок, так что под криками и командами кондукторов мне всегда казалось, что я скорее на бастионе крепости, чем на мирном дебаркадере железной дороги. На этот раз командующие бастионом были еще суровее обыкновенного. В растворенную дверь настежь по третьему звонку гнали они теперь толпу пассажиров на террасу с таким неистовством, что можно было подумать: нет ли у нас сзади неприятельской артиллерии и казаков: allez, passez, dépechez vous! Я шепнул Белин-

скому, чтоб оставил адрес свой в Брюсселе на станции и ждал там Фредерика; затем его втиснули в толпу, из которой он вылетел на террасу, но меня, как не имеющего билета, уже не пустили туда: права провожать своих знакомых и родных граждане Парижа тогда не имели, да кажется и теперь не имеют. Что происходило затем с Белинским на террасе, он описал мне потом из Брюсселя. Измученный, надорванный шумом, суетой, толчками, он остановился с билетом в руках на террасе, тяжело дыша и не зная, куда направиться. Тут усмотрел его один из бешеных кондукторов, рыскавших по террасе, заметил билет и с восклицанием: «mais que faites vous là, sacrebleu? — потащил его за руку и бросил в первый попавшийся вагон поезда, который уже тронулся. Так он и доехал до Брюсселя, но на пути повстречался с новым происшествием. Бельгийская таможня, раскрыв его чемодан, увидала коллекцию игрушек, подлежащую пошлине, и потребовала от него определения ценности этого добра. Вместо ответа, Белинский стал объяснять, как умел, что ценности вещей не знает, так как этот подарок одной прекрасной дамы в Париже и т. д., а наконец и вовсе замолчал. Надо отдать справедливость таможенному чиновнику: посмотрев на немого и сконфуженного человека, который стоял перед ним, он прозрел, что имеет дело не с контрабандистом и, захлопнув чемодан, не взял никакой пошлины. Белинский изъяснял иначе великодушие чиновника и довольно уморительным образом: «догадавшись, что я глуп до святости, — писал он,—

он сжалился надо мной и оставил меня в покое». На другой день Фредерик, чуть не плакавший от неудачи, повез ему в Брюссель знаменитый халат, легко отыскал там многострадального путешественника, благополучно препроводил его в Берлин, где и сдал с рук на руки Д. М. Щепкину, молодому, рано умершему и замечательному ученому по археологии и мифологии. В Петербург Белинский явился к изумлению и радости своих знакомых гораздо свежее и бодрее, чем выехал из него, но радость их была непродолжительна.

МОЛОДОСТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА
1840 — 1856 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

«Мир праху твоему!» — так обыкновенно кончаются поминальные речи над усопшими, выражая тем пожелания живущих предать забвению все, что могло бы сколько нибудь затемнить нравственный облик покойника. Но такое трогательное восклицание пригодно только для лиц, никогда не выходивших из толпы; для всех других оно звучит довольно странно, потому что со смертью их тотчас же начинается разбор их деятельности, их заслуг перед обществом, и завершается указанием и перечетом тех препон, на какие они могли наткнуться в самом обществе. Только личности низших порядков жизни и представлений могут надеяться на «мир своему праху», но люди, носящие большое имя, должны ожидать, что с их кончиной и загорится критическая буря, и возникнет спор, который потребует многих лет для своего разрешения. К удивлению, почти ничего подобного не случилось ни перед похоронами Тургенева, ни после них. Гроб его, засыпанный цветами, пришедшими с разных сторон, торжественно шел до могилы, не встречая помех и протестов. Старая историческая злоба, кой где еще встречающаяся в обществе, против чествования независимого труда, таланта, знания, притаилась на время. Взамен редко приходилось кому либо

встретить такое согласие передовых людей Европы с русскими воззрениями на поэта, как при оценке его значения и влияния. Для судей всех национальностей это был «сказочник», столь же почетный, как и герой, прославившийся на бранном поле, как дипломат, победивший своих противников, как любой человек, высоко стоящий на ступенях иерархической лестницы. Что же такое нашлось у этого «сказочника», чтобы извратить обыкновенный ход человеческих дел и наградить его, на другой день кончины, единодушными благословениями своих и чужих людей?..

То было произведение совокупного дела художнических его разоблачений, науки жизни, им проповедываемой, и обаяния его личности *. Покойный романист наш успел — к половине долгой жизни — привести нравственную природу свою в такое соответствие с благородством писательских своих помыслов и творчества вообще, что они составили вместе один образ, возбуждавший умиление и привязанность образованного мира. Приведем несколько примеров, ограничиваясь фактами заграничной его жизни. Тотчас же по переводе его рассказа: «Живые мощи», Ж.-Занд писала ему: «Maître! Nous

---

* В только что изданной переписке Густава Флобера с Ж.-Занд (Nouvelle Revue, déc., 1883) очень часто упоминается имя Тургенева; еще в 1866 году Г. Флобер писал: „J'ai diné avant-hier et hier avec Tourgueneff Cet homme-là a une si belle puissance d'images, même dans la conversation, qu'il m'a montrè G. Sand, accoudé sur un balcon dans le château de m-me Viardot, à Rosay. Il y avait sous la tourelle un fossé dans le fossé un bateau. et Tourgueneff assis sur le banc de cette barque vous regardait d'en bas, le soleil couchant frappait sur vos cheveux noirs“,—В другом месте он восклицает: „Vous ai-je dit que j'avais eu la visite de Tourgueneff? Comme vous l'aimeriez!“.

Прим. автора.

devons aller tous à votre école». «Странно и дико, — прибавлял Тургенев, сообщая по секрету этот отзыв знаменитого романиста, — но все таки приятно выслушать такое мнение». Вообще он никак не соглашался принять титул представителя эпического творчества в Европе, какой немецкие и французские друзья его готовы были предложить ему, и почти разделял мнение «Allgemeine Zeitung» (тогда еще Аугсбургской), которая ядовито и насмешливо говорила о поклонении немцев «московской» эстетике. Успех своих рассказов он постоянно объяснял новостью предметов, им затрагиваемых, и тем, что в них своя и чужестранная публика встретили еще не ожидаемые и не подозреваемые ими начала морали и своеобычной красоты. Скромность его в этом отношении выдержала искушения, перед которыми мог бы потерять голову менее твердый человек. Напрасно большинство знаменитостей европейского мира слали ему одна за другой свои приветы. Карлейль утверждал, что более трогательного рассказа, чем «Муму», ему еще не приходилось читать; старый Гизо выразил желание познакомиться с автором «Дневника лишнего человека» — психологического этюда, по его мнению, раскрывающего неведомые глубины человеческой души; молодой и торжествующий тогда Гамбетта приглашал его на парламентские завтраки и толковал о делах родины своего гостя. Известно, что Тэн, в своей «Истории революции», сослался однажды на те же «Живые мощи», как на образец воспроизведения истины народного понимания жизни; не менее известно также и то, что Ламартин при

описании своей встречи с Тургеневым достиг такого пафоса, который близко стоял к комизму. Не говорим уже об отзывах прямых друзей нашего поэта — Флобера, Додэ, Зола, Мопассана и Ренана: они знакомы русской публике. Ничто не могло поколебать убеждения Тургенева в скромной роли, какая выпала на его долю в отечестве, даже и тогда, когда немецкий критик Юлиан Шмидт, разбирая «Дым», вопрошал его автора: «Чем же вы объясните после вашего пессимизма политическое величие своей родины и появление в ней таких людей, как Пушкин и — вы сами?» Его не сбило с толку даже и нарождение в Германии идеалистов, в роде благородного Пича (Pietsch), недавнего переводчика комедии «Нахлебник», который сделал задачей своей жизни распространение его произведений в своем отечестве и извещал Тургенева всякий раз, как приобретал для него нового надежного поклонника или новую поклонницу. Осторожность нашего романиста поистине была очень ценного свойства, если вспомнить еще, что мы не перечислили и десятой доли тех оваций, которых он служил предметом за границей.

Между тем, И. С. Тургенев подвигался к величавому спокойствию старости и занял видное место перед тремя мирами — романским, германским и русским, которых знал одинаково хорошо, — тоже очень осторожно, как бы ожидая всегда протеста против самоуправства. Прежде чем утвердиться на своем посту, ему необходимо было покончить почти со всеми чертами молодости, отделаться от множества привычек, полученных в начале своей карьеры, найти другой

способ сноситься с людьми, чем тот, которому он следовал доселе. Молодость Тургенева была далеко не бурная, но распущенная, и постепенное собирание ее, приведение в порядок и в подчиненные отношения к какому либо правилу жизни составляет поучительную историю, которую мы и собираемся напомнить здесь читателям.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СЛУХИ О ТУРГЕНЕВЕ. — ОБЩЕЕ МНЕНИЕ. — СТРЕМЛЕНИЕ К ОРИГИНАЛЬНОСТИ. — ПЕРВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. — ЖИЗНЬ МОЛОДОГО ТУРГЕНЕВА.

За два года до его приезда из первого путешествия за границу (1840 г.) с целью образования о нем были уже слухи в Москве и Петербурге. Знали, что он находился при отъезде своем в 1838 г. на том самом пароходе, который сгорел у мекленбургских берегов, что он вместе с другими искал спасения на лодках, перевозивших пассажиров на мало гостеприимную землю этой германской окраины. Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастия, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее, и должен быть для нее сохранен. Слухам этим верили, так как он был крайне молод в то время (20-ти лет). Даже и позднее Грановский, заставший его в Берлине, рассказывал еще, что он находил его с приставленным к нему крепостным дядькой за очень невинным занятием — игрой в карточные солдатики, которых они поочередно опрокидывали друг у друга. При появлении его в России ожидали встретить до-

мороженного барченка, по которому немецкое образование прошло, обделав его наружно и не тронув внутреннего содержания, и нашли полного студента-бурша, замечательно развитого, но с презрением к окружающему миру, с заносчивым словом и романтическим преувеличением кой каких ощущений и малого своего опыта. Люди Москвы и Петербурга должны были привыкать к нему, и отзывы их поражают на первых порах печальным единодушием. Образец гуманности, Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве, не судить о нем по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей. Герцен был проще, неумолимее и несправедливее. Он познакомился с ним в Петербурге (1840) перед второй ссылкой своей и через посредство Белинского. Отзыв его может быть выражен в немногих словах: пускай, мол, Белинский занимается книгами и книжонками и не вмешивается в оценку людей — тут он ничего не смыслит *. Дело в том, что и к Герцену, как ко всем другим, Тургенев явился с непомерным доверием к самому себе, которое позволяло ему высказывать, в виде несомненных истин, всякие измышления, приходящие в голову. Качество это заслоняло покамест все таившееся в глубине его души и составлявшее

* Места эти не попали в опубликованную переписку обоих авторов. По отсутствию материалов нельзя восстановить их дословно и теперь. *Прим. автора.*

впоследствии прелесть его бесед с окружающими.

Удивительно, что он только малой частию был виноват в упреках, которые ему делали. Богато наделенный природою даром фантазии, воображения, вымысла, он, по молодости лет, не умел с ними справиться и позволил им сделаться своими врагами, вместо того, чтобы держать их в качестве своих слуг. Едва возникали в течение разговора представление или образ, как можно было видеть Тургенева, предъявляющего на них права хозяина, овладевающего ими, становящегося в центре рассказа и притягивающего все его нити к самому себе. При первом намеке на какую либо тему в уме его возникала масса аналогических примеров, которыми он и подменивал главный возникший вопрос. Большая часть его слушателей — а у него их всегда было много — позабывали дело, с которого начиналась речь, и отдавались удовольствию слушать волшебную сказку, любоваться развитием непродуманного, бессознательного творчества, удерживая при этом наиболее смелые, яркие и поразительные черты фантастической работы. Было что то наивно-детское, ребячески-прелестное в образе человека, так полно отдававшего себя в ежедневное, безусловное обладание мечты и выдумки, но в конце концов из такого воззрения на Тургенева возникло общее мнение о нем, как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего слова и чувства, и делающегося занимательным и интересным только с той минуты, когда выходит заведомо из истины и реального мира. Никто,



И. С. Тургенев

конечно, не смешивал его с Хлестаковым, простейшим типом лжи, только что созданным тогда, который употребляет ложь, как средство обмануть себя и других относительно своей ничтожности. Поэтическая ложь Тургенева обнаруживала большие сведения и часто касалась таких вопросов, которые были даже неизвестны многим из ожесточенных его критиков. Цели юного Тургенева были ясны: они имели в виду произведение *литературного эффекта* и достижение репутации *оригинальности*. В этом заключается и ключ к их правильному пониманию.

Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой *страшной* участи, навязывая себе невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих. Он усвоивал своей физиономии черты, не вязавшиеся с ее добродушным, почти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надолго, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал. Случалось, что он изумлялся собственным словам и относил их к клевете, когда их повторяли перед ним по прошествии некоторого времени. Так он называл клеветой свое заявление, будто перед великими произведениями искусства, живописи, скульптуры, музыки он чувствует зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники, — однако же, заявление было сделано. Конечно, не стоило бы и упоминать об этой шутке, если бы из массы подобных шуток и преувеличений

не слагался в публике образ молодого Тургенева, который держался гораздо долее, чем было нужно, и существовал даже и тогда, когда оригинал уже нисколько не походил на то, что о нем думали.

Замечательно, что в произведениях той эпохи, большею частью стихотворных отрывках, Тургенев не обнаруживал ни малейших признаков фальши. Они писались им добросовестно и поражают доселе выражением искреннего чувства и той внутренней правдой мысли и ощущения, которой он научился у Пушкина. Тургенев начал рано свою писательскую карьеру; если не считать драму Стèно, написанную им еще на студенческой скамье (он кончил курс в петербургском университете в 1837 году) и рецензию на книгу Ан. Муравьева: *Путешествие по святым местам русским* в старом «Современнике» Плетнева, 1838г., где напечатано было и первое стихотворное его произведение «Старый Дуб», то придется указать на «Отечественные Записки», иа страницах которых с 1841 по 1846 год помещено множество его стихотворных пьес за подписью Т. Л., которые представляли инициалы соединенных фамилий его отца и матери—Тургенев-Лутовинов. Затем он перешел в новый «Современник» Панаева и Некрасова, в издании которого принимал, как увидим, горячее участие, и продолжал в нем печатать свои стихотворения с 1847 г. вплоть до 1850 г. Все эти произведения носят несомненные признаки таланта и уже возвещали недюжинного писателя, который только ждал благоприятной минуты, чтобы высказать все свое содержание. Минута не заста-

вила себя ждать. Из всех ранних его созданий замечены были публикой только два, вышедшие отдельно: «Параша», стихотворная повесть 1843г., и «Разговор»—тоже в стихах, 1845 г. Мастерской рассказ далеко не затейливого происшествия в «Параше» и свободное, ироническое отношение к действующим ее лицам имели так много свежести и молодого здорового чувства, что обратили на себя общее внимание. Между прочим, «Параша» представила случай Белинскому высказать свою проницательность. «Что мне за дело до промахов и излишеств Тургенева—говаривал он:—Тургенев написал «Парашу»: пустые люди таких вещей не пишут». Что касается до «Разговора», то дидактический, поучительный тон его подсказан был Тургеневу учением, которому он служил тогда горячим, хотя и не очень последовательным адептом, будто чистое творчество достигло с Пушкиным такого совершенства на Руси и такого повсеместного распространения, что ему предстоит потесниться немного и дать дорогу произведениям мыслящей способности, философско-политического созерцания. Тема встретила, однако же, горячую оппозицию в московской журналистике, но начавшаяся полемика прекратилась, когда через два года по напечатании «Разговора» явилась первая глава из «Записок Охотника» (Хорь и Калиныч) в Современнике Панаева 1847 г., и показала писателя нашего опять в новом свете, упрочив за ним почетное и славное имя в литературе, которое уже не могло быть забрасываемо грязью при помощи слухов или под предлогом критчки.

Во всяком случае, Тургенев нуждался тогда в литературе, почерпая в ней средства для своего существования. С самого начала сороковых годов он уже находился в ссоре с своей матерью, богатой и капризной помещицей Орловской губернии, которая, лишив содержания, предоставила его самому себе. Вплоть до конца его искуса, когда умерла мать (Варвара Петровна Тургенева скончалась в ноябре 1850 г.), Тургенев представлял из себя какое то подобие гордого нищего, хотя и сознававшегося в затруднительности своего положения, но никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения. Гонимый нуждою и исполняя настоятельные требования матери, он по прибытии в Россию определился на службу в канцелярию м-ра внутренних дел, где попал под начальство известного этнографа В. Даля. Он пробыл тут не долго, потому что начальник его принадлежал к числу *прямолинейных* особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам... Тургенев не взлюбил начальника—собрата по ремеслу писателя и скоро вышел в отставку, возвращаясь к старой скудости и к старому исканию эффектов и оригинальности. Чего он тогда ни приносил в жертву этому Молоху? Он осмеивал тихие и искренние привязанности, к которым сам приходил искать отдыха и успокоения, глумился над простыми сердечными верованиями начало и развитие которых, однако же, тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедясь, что они

казались всем не делом, а *гениальничанием* и скоро забывались. К этому же времени относится и его сближение с семьей артистки Виардо; он был ей представлен в 1845 г., и нашел у нее сына директора театров, Степана Гедеонова, который по музыкальному и художественному вообще образованию и по серьезной эрудиции был достойный ему соперник. Может статься, чувство соперничества определило и довольно резкий тон критической статьи, написанной Тургеневым в 1846 г. по поводу драмы С. Гедеонова «Смерть Ляпунова». Но у него были еще в запасе и даровые, беспричинные, совсем непреднамеренные оскорбления, такие, какие может наносить шутя только *всемирный ребенок*, Weltkind, не обязанный помнить свои обязательства и заниматься тем, что говорит. Он часто ходил тогда на охоту, и раз, возвратившись с отъезжего поля, хвалился количеством побитой им птицы, а в подтверждение своих слов приглашал слушателей отобедать у него на другой день. Слушатели поверили и чудной охоте, и приглашению. На другой день они поднялись в 4-й этаж громадного дома на Стремянной улице, где жил Тургенев (между ними были и грудные больные, с трудом одолевшие его лестницу), и долго стояли перед запертой дверью его квартиры до тех пор, пока вышедший человек не известил их как об отсутствии хозяина, так и всяких приготовлений к приему гостей. Тургенев долго смеялся потом, когда ему рассказывали о недоумении и ропоте обманутых гостей, но извинений никому не приносил: все это казалось ему в порядке вещей,

и он удерживал за собой право играть доверием людей, не чувствуя, повидимому, никакой вины на своей совести за проделки подобного рода [1]. Он даже не очень долюбливал тех осторожных господ, которые защищали себя от увлекательности его речи, не доверяли наивному убеждению, с каким он относился к своим иллюзиям, и трезво берегли до конца свое суждение. Он называл их кожаными чемоданами, набитыми сеном, но, однако, сдерживал перед ними свой увлечения. Особенный зуб имел он против существовавших у нас литературных кружков и выразил даже в печати свое осуждение их нетерпимости друг к другу и узости их воззрений [2]. Но причины его негодования на кружки, с корифеями которых он был на дружеской ноге, а с одним из таких кружков (так называемым западническим) разделял и тогда и после основы его учения, следует также искать и в личных отношениях. Кружки эти имели свои правила поведения, свои доктрины жизни, более или менее строгие, за исполнением которых тщательно следили. Нападая на кружки, Тургенев защищал еще свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от разного вмешательства посторонней силы в дела своей души, в свободное, независимое цветение своей мысли и фантазии.

---

[1] Ср. рассказ о подобном же случае в „Воспоминаниях Авд. Я. Панаевой“.

[2] См. в „Гамлете Щигровского уезда“ (Записки Охотника).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТУРГЕНЕВ В ДЕРЕВНЕ. — В. П. ТУРГЕНЕВА — ПИСЬМО В. Н. ЖИТОВОЙ. — ТУРГЕНЕВ ПОСЛЕ 1852 Г.— ЭПИГРАММЫ. — ХАРАКТЕР ТУРГЕНЕВА. — ТУРГЕНЕВ И ЖЕНЩИНЫ.—ТУРГЕНЕВ СРЕДИ ГОСТЕЙ. — ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИГОВОРЫ.—«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА».

То же самое делал он и по отношению к своей матери. Замечательно, что настоящие и лучшие качества сердца обнаруживались у него с наибольшей силой в деревне или в семье.— Всякий раз, как он отрывался от Петербурга, от его искушений и того возбуждающего чувства, которое распространяет большой центр населения, Тургенев успокоивался. Не перед кем было блестеть тогда, не для кого было изобретать сцены и думать о театральной постановке их. Деревня играла в его жизни ту самую роль, которую потом исполняли частые его отлучки за границу—она с точностью определяла, что он должен и думать и делать. Питая врожденное отвращение к насилию, получив от природы ненависть к попранию человеческих прав, которое тогда встречалось чуть ли не ежедневно, Тургенев мстил господству крепостничества в нравах и понятиях тем, что объявлял себя противником, без разбора, всех коренных, так называемых, основ русского быта. Он потешался

благоговейными отношениями Москвы к некоторым излюбленным quasi-началам русской истории, но такой дальний, бесполезный протест был уже не у места в помещичьей деревне. Тут он беспрестанно наталкивался на конкретные случаи произвола и беззакония, которые затрогивали его душу и требовали, если не скорой помощи, часто и невозможной, то участия и понимания страданий.

Варвара Петровна Тургенева, мать его, обладала в одной Орловской губернии состоянием, равным, по тогдашнему счету, силе 5.000 душ крепостных работников. Это была женщина далеко недюжинная и по своему образованная: она говорила большею частью и вела свой дневник по французски. Воспитание, которое она дала обоим сыновьям, показывает, что она понимала цену образования, но понимала очень своеобразно. Ей казалось, что знакомство с литературами Европы и сближение с передовыми людьми всех стран не может изменить коренных понятий русского дворянина, и притом таких, какие господствовали в ее семействе из рода в род. Она изумилась, увидав разрушение, произведенное университетским образованием в одном из ее сыновей, который полагал за честь и долг отрицание именно тех коренных начал, какие казались ей непоколебимыми. При врожденном властолюбии вспыльчивость и быстрота решений развились у нее от противоречий. Она не могла простить своим детям, что они не обменивали полученного ими воспитания на успехи в обществе, на служебные отличия, на житейские выгоды раз-

ных видов, в чем тогда и заключались для многих цели образования. Так как наш Тургенев не изменял ни своего образа мыслей, ни своего поведения в угоду ей, то между ними воцарился непримиримый, сознательный, постоянный разлад, чему еще способствовали и подробности ее управления имением. Как женщина развитая, она не унижалась до личных расправ, но подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, озлобившим ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она, по изобретательности и дальновидному расчету злобы, была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеления. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека, сохраняя приличие, спокойствие и свое достоинство. Она не затруднилась произнести смертный приговор несчастной собаченке своего дворника Герасима, зная, что приговором своим наносит смертельную рану сердцу ее хозяина [1]. И что же?—одно появление Тургенева в деревне водворяло тишину, вселяло уверенность в наступлении спокойной годины существования, облегчало всем жизнь—и это не смотря на его натянутые отношения к матери, и в силу только нравственного его влияния, которому подчинялась даже и необузданная, уверенная в себе власть. Приводим здесь в подтверждение наших слов выдержки из письма В. Н. Житовой, [2]

[1] Ср. в „Муму" Тургенева.
[2] Ср. ее „Воспоминания о семье И. С. Тургенева"—„Вестник Европы" 1884, кн. 11—12.

которая воспитывалась в доме Тургеневой и видела с малолетства все, что происходило в нем. Свидетельство ее тем ценнее, что написано с одушевлением, которое дает отчасти понятие о впечатлении, порождаемом каждым наездом нашего поэта в деревню или в московский дом, между их обитателями.

«Как себя помню, так помню свое и всеобщее, в доме матери, обожание к нему. Редко он бывал у нас; но когда его ждали, все крестились, все радовались: «Наш ангел едет! Теперь у нас все будет хорошо, теперь *ничего* не будет!» Вот что слышалось со всех сторон. И действительно, велика была сила его кротости и доброты, Она все побеждала, все укрощала... Около него ничто лживое и злое не имело места. Настолько обаятелен он был, настолько сам хорош, что его нравственная, так сказать, красота разливалась на все окружающее его. Да—его доброты боялись! Читала я отзыв Рольстона о «Муму». Не то бы я сказала. Я воочию присутствовала при всей этой драме, я была единственная, допущенная в каморку Герасима, я ласкала, я кормила Муму, когда мне удавалось ускользнуть от зорких глаз приставленных ко мне француженок и англичанок—и часто, очень часто дитятей прогуливалась на могучих руках Герасима... Я 18 лет даю уроки. Проходя историю русской литературы с моими ученицами, я сама читаю образцовые сочинения. Могу читать самые драматические места, но последних страниц Муму никогда не могла дочитать громко; меня всегда душили слезы. И прежде, и теперь последовательно затем мысли переносятся к тому нашему

освободителю, который дал нам 19-ое февраля и избавил навеки нашу родину от того гнета, при котором наш простолюдин не смел ни любить, ни чувствовать»...—Октябрь 1883.

Красноречивые строки хорошо передают то, чем сделался Тургенев для своего села Спасского, доставшегося ему по наследству и после раздела с братом; но уже не далеко было время, когда он сделается любимцем не только своих спасовцев, как называл жителей деревни, но и любимцем читающей России вообще и русских женщин в особенности. Произошло это вскоре после кончины Варвары Петровны Тургеневой и после известного его ареста в 1852 г., сообщившего большую популярность его имени. Круг его знакомства еще не раздвигался до тех огромных размеров, как впоследствии, и литературная деятельность еще не имела за себя голоса всей Европы. На виду стояли «Записки Охотника», а за ними теплились малыми, мелькающими огоньками повести, где уже сказывались первые проблески воззрений Тургенева на русскую женщину, как на представительницу нравственной силы в обществе. Гораздо позднее заметили, что между этими повестями есть маленькие шедевры, в роде «Дневника лишнего человека». Современникам его трудно было усмотреть также, что он в течение 10 лет занимался обработкой одного и того же типа— благородного, но неумелого человека,—начиная с 1846 г., когда написаны были «Три портрета», и вплоть до «Рудина», появившегося в 1856 г., где самый образ такого человека нашел полное свое воплощение. С Рудиным кончается и моло-

дость Ивана Сергеевича—ему было уже 38 лет. Никому и в голову не приходило тогда заниматься разбором теории, весьма важной в биографическом отношении, и в силу которой русская жизнь распадалась на два элемента—мужественную, очаровательную по любви и простоте женщину, и очень развитого, но запуганного и слабого по природе своей мужчину. В авторе этой теории всего более интересовало мастерство кисти, приемы творчества, верные картины жизни, а разоблачающий внутренний смысл его творений закрывался для многих яркой мозаикой внешних его похождений между людьми.

Тогда было в моде некоторого рода предательство, состоявшее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей и способов их выражаться, что возбуждало смех и доставляло успех рассказу. Тургенев был большой мастер на такого рода представления. Никто не сердился на это злоупотребление, никто не думал о прекращении связей вследствие дошедших слухов о совершенной над ним диффамации—напротив, все старались платить тою же монетой авторам карикатур, что и объясняет большое количество анекдотов, остающихся от этой эпохи. Надо прибавить, что ко всем своим качествам изобретательности, наблюдательности и вдумчивости в явления, Тургенев присоединял еще в значительной доле едкое остроумие и эпиграмматическую способность. Он давал им ход с той же неразборчивостью и с тем же обилием мотивов, как и всему, что выходило от него. Он составлял весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь

их репутацией и серьезностью задач, которые они преследовали, и которым сам сочувствовал. Не удерживали его и дружеские отношения. Все это, конечно, не способствовало к уменьшению неблагосклонного говора, раздававшегося вокруг его имени, но слух о меткости его эпиграмматических заметок, имевших пошиб народных поговорок, был так распространен, что В. П. Боткин вздумал однажды записывать его речи и привел свой план в исполнение. Затерянная книжка эта где нибудь должна существовать, но она утратила свой интерес после того, как сам Тургенев прекратил свою юмористическую деятельность и оставил в сыром виде старые попытки и проявления ее.

Весьма ошибся бы тот, кто на основании здесь сказанного пришел бы к заключению, что Тургенев обманывал свою публику и пока она приглядывалась к нему, отдавал пороки ее и недостатки на общее посмеяние. Такое коварство не вязалось с добротой сердца, отражавшейся на всем, что он делал, и с его недоверием к себе, с весьма невысоким мнением о своих качествах и способностях. Он нуждался в помощи и благорасположении, а не в вызове и посрамлении кого либо. Только с течением времени и возрастанием успеха приобретает он более правдивый, твердый, уверенный взгляд на самого себя. В начале он брался за все с намерением ото всего отступиться, смотря по обстоятельствам. Если он силился походить на Манфреда или Дон-Жуана, то, конечно, это был застенчивый Манфред или стыдливый Дон-Жуан, готовый всегда убежать от затеянного им дела. Его сравнивали с Ювеналом в некоторых случаях его

жизни, особенно за памфлетическую сторону таланта, как в «Дыме», например; но если присмотреться ближе, то легко можно распознать, что он не питал никакого отвращения к жертвам своих сатир, а биографические сведения показывают, что ядовитое жало свое он обращал прежде всего на самого себя. Довольно упомянуть о той жажде осуждения, критики своих произведений, которой он страдал всю свою молодость, и которая обратилась у него почти в болезнь. Он радовался всякому разбору своих произведений, выслушивал его с покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправления. Одного замечания о неуместности сравнения Хоря и Калиныча с Гете и Шиллером, допущенного им — достаточно было, чтобы сравнение осталось только на страницах «Современника» 1847, где впервые явилось, и не перешло в следующие издания [1]. Вообще говоря,—нельзя было никогда угадать, куда увлечет его голова, работающая в различных направлениях, но можно было указать, зная его прямое сердце, место, где он остановится. Было что то женственное в этом сочетании решимости и осторожности, смелости и расчета, одновременной готовности на почин и на раскаяние, сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию.

Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало женской любви и привязанности, ко-

---

[1] В журнальном тексте после слов: „Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек“ следовала фраза; „словом, Хорь походил более на Гёте, а Калиныч более на Шиллера“.

торых он искал с ранних пор. Не даром повторял он замечание, что общество мужчин, без присутствия доброй и умной женщины, походит на тяжелый обоз с немазанными колесами, который раздирает уши нестерпимым однообразным своим скрипом. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот олимп, который он населил благороднейшими женскими существами, великими в своей простоте и в своих стремлениях. Пока требовательная критика разбирала после Рудина, человека с большими претензиями и ничтожной волей, перенося на все поколение 40-х годов презрение, которое возбуждал в ней этот тип, Тургенев уже сделался идолом прекрасной половины человеческого рода. Любовь эта сопровождала его до могилы, но то была любовь платоническая. Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею: он мог только измучить ее. Для торжества при столкновениях страсти ему недоставало наглости, безумства, ослепления. В одной из чудных повестей своих: «Первая любовь», он рассказывает ужас, наведенный на него ударом хлыста, которым раздраженный любовник отвечал своей возлюбленной, побеждая ее волю и своенравие. С тех пор ужас от дикого поступка, казалось, и не проходил у Тургенева и одолевал его, когда требовалась решимость выбора. Он не отвечал ни на одну из симпатий, которые шли ему навстречу, за исключением разве трогательной связи его с О. А. Т. [1]

[1] Ольга Александровна Тургенева, впоследствии Сомова, дальняя родственница И. С., на которой он одно время собирался жениться (см. „Русское Обозрение" 1894, XI и „Вестник Еропы" 1884, II и 1894, II).

в 1854 году, но и она длилась недолго и кончилась, как кончаются минутные вспышки, капризы и причуды, на которые он разменял свирепое одушевление истинной страсти—т. е. мирным разрывом и поэтическим воспоминанием о прожитом времени.

Не маловажную роль в его жизни играл другой афоризм, который он тоже любил повторять: «только с теми людьми и жить можно, которые все видят и понимают—и умеют молчать». Чуткий ко всему, что происходило в обществе, он спускался в отдаленные края его и выводил оттуда людей, замеченных им по серьезности своего образа мыслей и по характеру, рассчитывая на их скромность и привязанность, потому что сочувствие и преданность людей были ему необходимы, как воздух для существования. После 1850 г., гостиная его сделалась сборным местом для людей из всех классов общества. Тут встречались герои светских салонов, привлеченные его репутацией возникающего *модного* писателя, корифеи литературы, готовившие себя в вожаков общественного мнения, знаменитые артисты и актрисы, состоявшие под неотразимым эффектом его красивой фигуры и высокого понимания искусства, наконец, ученые, приходившие послушать умные разговоры светских людей. Высокопоставленные особы тогда еще не посещали его приемной: это явилось уже с началом нового царствования. Между всеми его гостями не редкость была найти людей без имени, никому неизвестных и отличавшихся своей сдержанностью. Тургенев дорожил ими столько же, по крайней мере, сколько и теми, которые носили громкие

имена в литературе и обществе. Беседа его с бойкими и развитыми людьми своего общества не стоила ему большого труда. С его образованием и находчивым умом, с его речью, исполненною того, что французы называют pointe (искрой), он легко приводил слушателей в восторг. В виду потребностей легкой эрудиции, столь необходимой для успеха в обществе, у него был недюжинный запас положительного знания и помощь справочных книг: так, в это время ему служила настольной книгой многотомная «Biographie universelle». В разговоре с отысканными им и выведенными в свет людьми все было, наоборот, просто. Он говорил с ними о том, что они знали и чем интересовались—и внимательно прислушивался к их мнениям, которые нигде более не мог встретить. Он обладал одним замечательным качеством: за ним ничего не пропадало. Он никогда не оставался в долгу ни за какое дело, ни за оказанное расположение, ни за наслаждение, доставленное ему произведением, ни за простую потеху, почерпнутую в той или другой форме. Все это он помнил хорошо, и так или иначе, рано или поздно находил случай отыскать и отблагодарить по своему человека за интеллектуальную услугу, полученную от него когда то. Сколько имен просятся под перо в подтверждение факта—имен мужского и женского пола. Конечно, он мог и ошибаться в своих приговорах. Пишущий эти строки натолкнулся на одну из оригинальных сцен в его квартире. Однажды ему довелось придти к Тургеневу довольно рано утром. В кабинете его сидел критик Аполлон Григорьев, мыслитель и всегдашний энтузиаст, сказавший

про Тургенева слово, которое долго оставалось в памяти автора «Дворянское гнездо»:—«Вы *ненужный более* продолжатель традиций Пушкина в нашем обществе». Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и указывая мне на своего соседа, молодого морского офицера, очень скромной и приличной наружности, торжественным и зычным голосом воскликнул: «На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский [1], никому тогда неизвестный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «да, батюшка, это будущий великий писатель». Пошли расспросы — оказалось, что они только что выслушали произведения Случевского и приведены ими были в восторженное состояние, которое—увы!—не разделили ни критики, ни общественное мнение, когда те же самые произведения предоставлены были их суду. Почетные, смеем сказать, ошибки Тургенева в оценке новых талантов происходили от его горячности служить им и приводили иногда к комическим результатам. Нельзя не рассказать здесь анекдота, слышанного от В. П. Боткина. Известно, что ничто так не возбуждало и не оскорбляло Боткина, как превознесение человека без достаточных оснований. Он уже наслышался о необычайном таланте г. Л[еонтье]ва [2], которого Тургенев провозгласил рассказчиком

[1] Константин Константинович Случевский (1831—1907); письма Тургенева к нему см. в „Щукинском Сборнике“, вып. VII.

[2] Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891), публицист, критик и беллетрист. В 1851 г. Леонтьев познакомился с Тургеневым,

вне сравнения и ставил далеко выше себя, принижаясь по обыкновению без меры для того, чтобы увеличить рост соперника. Достав одно из произведений г. Л[еонтье]ва и прочитав его внимательно, Боткин дождался панегириста и с документом в руке, усадив его за стол, требовал, чтобы он показал, где тут сила и гениальность. Разбор его до того был резок и привязчив, что Тургенев не выдержал и убежал в сад, «где и принялся сочинять на меня эпиграмму», прибавлял Боткин. Эпиграмма вышла действительно забавная. Пародируя Пушкинского «Анчара», Тургенев предоставил роль *древа яда* самому Боткину, умерщвляющему все живое кругом себя: «Па[нае]в сдуру налетит и корчась в муках погибает», и проч. Мы уже не говорим о том, что кошелек Тургенева был открыт для всех, кто прибегал к нему. Пересчитать людей, материально ему обязанных, почти и невозможно за их многочисленностью. Ему случалось вменять себе в заслугу отказ в помощи слишком назойливому человеку, но были и такие друзья, которые принимали и это заявление за обычное хвастовство его. Денежное пособие было, однако же, низшим видом его благотворительности: он являлся с услугой, когда нужно было поднять дух пациента, разбудить его волю, внушить доверенность к себе. Между прочим, он подарил первое издание «Записок Охотника» в 1852 г. Н. X. Кетчеру, которому оно досталось не без труда, потому что сопровождалось увольнением цензора, допустившего книгу в обращение и во-

---

который одобрил его комедию „Женитьба по любви“ и роман „Булавинский завод“.

просом о ее конфискации [1]. Кстати, это напоминает нам, что и администрация, и публика одинаково смотрели тогда на сочинение Тургенева, как на проповедь освобождения крестьян. Графиня Растопчина (ур. Сушкова), получив книгу, заметила перед Чаадаевым: «voilà un livre incendiaire».—«Потрудитесь перевести фразу по русски, отвечал Чаадаев, так как мы говорим о русской книге». Оказалось, что в переводе фразы — зажигающая книга—получится нестерпимое преувеличение. Можно думать, что арест Тургенева в том же 1852 г. явился наказанием столько же за статью о Гоголе, сколько и за это издание «Записок». Мы знали вельможу очень образованнаго и гуманного, не мало способствовавшего и облегчению уз нашей печати, который до конца своей жизни думал, что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения одного сословия против другого. Но весь говор, сопровождавший деятельность Тургенева, не мешал ему итти своей дорогой. Составитель этой статьи сам слышал от почтенного историка нашего Ивана Ег. Забелина, как Тургенев умолял его дать свое согласие на напечатание какого либо из его трудов. «Нельзя же мне,—говорил тогда Тургенев,—тяготить весь век мой землю без пользы для других: дайте мне возможность сделать что либо для общества». Предложение было отклонено, по неимению готового труда, но способ выразить свое сочувствие исследователю отличался оригинальностью.

---

[1] Цензурная история этого издания, кончившаяся увольнением цензора В. В. Львова, описана в книге Ю. Г. Оксмана—„И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Выпуск 1“. Одесса, 1921.

Вообще говоря, нравственная доблесть его превышала все его недостатки, и требовалось много усилий и громадное количество литературных и жизненных неприличий, чтобы из такого человека сделать себе врага и недоброжелателя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТУРГЕНЕВА. — ТУРГЕНЕВ И «ОТЕЧ. ЗАПИСКИ». — ТУРГЕНЕВ В «СОВРЕМЕННИКЕ». — 1847 — 1848-ОЙ ГОД. — СМЕРТЬ МАТЕРИ. — ЖИЗНЬ В РОССИИ. — ТУРГЕНЕВ И Л. ТОЛСТОЙ. — «РУДИН». — ПЕРЕМЕНА В ТУРГЕНЕВЕ.

Первую поездку за границу, после 1840 г., Тургенев совершил спустя семь лет, провожая семейство Виардо из России в Берлин, в 1847 г., и отправляясь оттуда в Штеттин для встречи больного Белинского, которого привез с собой на Шпре, а затем сопутствовал ему и в Зальцбрунн.

Никто из друзей не догадывался о скудости его средств в это время. Он умел мастерски скрывать свое положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба. Развязность его речей, видная роль, которую он всегда предоставлял себе в рассказах, и какая то кажущаяся, фальшивая расточительность, побуждавшая его не отставать от затейливых похождений и удовольствий и уклоняться незаметно от расплаты и ответственности — отводили глаза. До получения наследства в 1850 г. он пробавлялся участием в обычной жизни богатых друзей своих — займами в счет будущих благ, забиранием денег

у редакторов под ненаписанные еще произведения — словом, вел жизнь богемы знатного происхождения, аристократического нищенства, какую вела тогда и вся золотая молодежь Петербурга, начиная с гвардейских офицеров. Впрочем, он никогда не терял надежды сделаться большим барином, и однажды, несмотря на свои лишения, обещал Белинскому 100 душ крестьян, как только представится возможность к тому. Белинский принял в шутку подарок. «Жена, — закричал он, — иди благодарить Ивана Сергеевича: он нас помещиками делает». А между тем критик серьезно нуждался в устройстве своей судьбы. За год до отъезда своего в Зальцбрунн, именно, в 1846 г., он разорвал связи с «Отечественными Записками» и собирал труды друзей для большого альманаха «Левиафан». Тургенев был из первых, обещавших ему свою лепту, а между тем по лукавству, часто встречаемому в литературных кружках, ему не хотелось конечной гибели органа «Отеч. Записки», которую уже им пророчили. Тогда он свел редактора их с В. Майковым, молодым писателем, эстетика которого, построенная на этнографических данных, могла дать своего рода окраску журналу. Майков имел несчастие утонуть, купаясь в Парголове, но иа первых порах успел сохранить за «Отечеств. Записками» влияние, приобретенное ими при старом критике. Все остальное хорошо известно и много раз повторялось. Сборник статей куплен был у Белинского Панаевым и Некрасовым, которые с помощью его вздумали основать свой собственный журнал, нашли в старом «Современнике» Плетнева готовый материал

для издания и приобрели его... Менее известно, что Тургенев был душой всего плана, устроителем его, за исключением, разумеется, личных особенностей, введенных в него будущими издателями, с которыми делил покамест все перепетии предприятия. Некрасов совещался с ним каждодневно; журнал наполнялся его трудами. В одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч», как путеводная звезда, восходящая на горизонте; в «Критике» явился его пространный разбор драмы Кукольника, и наконец множество его заметок разбросано было в последнем отделе журнала [1]. В одной из них находилась латинская цитата; не доверяя лингвистическим познаниям своего друга, Некрасов испортил ее нарочно в корректуре, чтоб иметь возможность, при случае, свалить вину на типографию, и признался в своей хитрости автору. Дождавшись 1-й книжки «Современника» на 1847 г., Тургенев выехал за границу.

Удивительный был этот 1847 год. По странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы. Тогда были кончены и опубликованы: «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Антон-горемыка» Д. В. Григоровича — произведения, открывавшие новые дороги талантам и возвещавшие цветение литературы в скором будущем, неоправданное однако же событиями и обстоятельствами, вскоре за тем наступившими...

[1] См. статью М. Азадовского „Затерянные фельетоны Тургенева“ (Сборн. Трудов Иркутского Гос. Университета, вып. XII, 1927).

Я уже с год жил в Париже, когда Иван Сергеевич прибыл в Зальцбрунн с больным Белинским. Я поспешил присоединиться к ним, и мы встретились в этом только что возникавшем тогда месте лечения грудных страданий, как это видно из моей статьи «Замечательное десятилетие», к которой и отсылаем читателя за подробностями. Тургенев писал тогда «Бурмистра» и прилежно учился по испански. Известно, что он покинул нас с Белинским тайком, выехав из Зальцбрунна под каким то благовидным предлогом на короткое время, оставив в нем часть белья и платья и уже не возвращаясь более назад. Когда по осени того же года я спрашивал его в Париже о причинах бесполезной хитрости, употребленной им в Зальцбрунне, он только пожал плечами, как бы говоря: «да и сам не знаю». Дела его были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж-Зандом где то на юге [1], и наезжал по временам в Париж, обегал своих знакомых и скрывался опять. Перед революцией 1848 г. он однако же переехал совсем в Париж, занял очень красивую комнату в угловом доме «Rue de la Paix» и Итальянского бульвара, теперь уже снесенном, и переходил в том же доме то выше, то ниже, смотря по благоприятным или неблагоприятным известиям из России. Февральские и июньские дни 1848 г. застали его еще в Париже, и при этом нельзя не сказать о замечательной его способности подмечать характерные общественные явления,

[1] Это—ошибка. Тургенев в эти годы был почти незнаком с Ж.-Санд, а зиму 1847 г. прожил в замке П. Виардо (Куртавнель).

мелькавшие у него перед глазами, и делать из них картины, выдающие дух и физиономию данного момента с поразительной верностью. Таковы небольшие рассказы его из французской революции, как «Наши послали» и проч., хотя собственно сам он не принимал никакого участия в социальном движении знаменитого 1848 г. и только говорил о нем.

В октябре я уехал в Россию, оставив Тургенева в Париже, и только через два года снова встретил его на родине. Извещенный о тяжкой болезни своей матери — 1850 г. — он явился принять ее последний вздох и помириться с нею перед смертию, но уже не застал ее на свете. По какой то чужой оплошности он не мог даже поспеть и на похороны ее в Донском монастыре, прибыв в Москву, где она скончалась, в самый день совершения обряда. Всеми подробностями церемонии распоряжался покойный брат его Н. С. Тургенев.

Шесть лет затем прожил наш поэт безвыездно в России. В эти последние шесть лет его молодости произошло многое и в нем самом, и в обстановке его. Мы уже говорили в упомянутой выше статье «Замечательное десятилетие» о внезапном аресте, постигшем его за статью о Гоголе. Замечательно, что сам он отзывался всю жизнь о событии без малейшего признака злобы, без чувства оскорбленной личности, почти равнодушно. Да и были причины на то. Несмотря на суровое начало, арест в дальнейшем своем течении принес ему не мало добра, обнаружив общие симпатии к его лицу, дав возможность создать одну крупную вещь — рассказ

«Муму» — и главное, открыв ему, что он и продиктован был без раздражения и ненависти, как простая полицейская мера для обуздания и принижения писателей, не раз употреблявшаяся и прежде относительно журналистов и цензоров. Гораздо хуже ареста была последовавшая за ним административная высылка в деревню, без права выезда из нее — во первых, потому, что она могла продолжаться неопределенное количество лет, а во вторых, потому, что Тургенев лишался возможности, имея к тому все нужные средства, располагать собою. Стеснение это раздражало его более всего. Мы видели подложный паспорт на имя какого то мещанина, приобретенный им где то, и с которым он явился однажды в Москву, к изумлению и ужасу своих приятелей. Не желая, однако ж, рисковать всякий раз дальнейшей своей судьбой, он жаловался в Петербург и получил оттуда совет составить письмо с просьбой об освобождении (прилагался даже и образчик такого оффициально-просительного письма, с *признанием своей вины*). Тургенев последовал этому совету и был возвращен в следующем 1853 году. Впоследствии, при заключении парижского мира, старый князь Орлов, бывший начальник III Отделения в оное время, и семейству которого Тургенев имел случай оказать услугу, дружески знакомясь с ним и целуя его в лоб, примолвил: «Кажется, вы не имеете причин сердиться на меня». Действительно — никто не сердился, начиная с потерпевшего, на событие. Разве можно сердиться на установившиеся нравы и обычаи, против которых не слышится и протеста общественной совести?

Накануне постигшей его катастрофы Тургенев сделал еще одно доброе дело. Пользуясь дружескими отношениями с редакторами «Современника», он ввел в круг петербургских литераторов сотрудников журнала «Москвитянин», показав пример терпимости и беспристрастия, довольно редкий в то время. (См. мою статью о А. Ф. Писемском: «Художник и простой человек», в «Вестнике Европы», 1882, апр.).

Между тем, года шли и приносили те плоды, семена которых давно в них были заложены. Разразилась свирепая война между нами и Турцией и англо-французскими ее союзниками в виду Европы, приготовляющейся к коалиции... Война перешла уже на нашу почву, обложила Севастополь и стучалась в Кронштадт; готовились большие приготовления к отпору, предвиделись новые жертвы и новые напряженные усилия отвечать нуждам минуты, без особой надежды на успех. Мы все жили, как бы притаившись, чувствуя инстинктивно, что времена серьезны в высшей степени, и не питая радужных надежд на перемену обстоятельств. Летом 1854 г. Тургенев поселился на даче, по петергофской дороге, не далеко от О. А. Т[ургеневой], которая с отцом и теткой жила в самом Петергофе. Общество этой чрезвычайно умной и доброй девушки сделалось для него необходимостью...

Однажды и уже по зиме следующего 1855 года, зашед к нему па квартиру, я узнал, к великому моему удовольствию, что в задней ее комнате спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев Николаевич Толстой. Публике было уже известно это имя, а лите-

раторы превозносили его в один голос. Лев Толстой выслал в «Современник» — первый свой рассказ «Детство и Отрочество», [1] поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи, гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью, как явление вполне самостоятельное и непререкаемое. Он готовил еще и многое другое. Будучи соседом Толстого по деревне и движимый своим неугомонным демоном любопытства и участия, Тургенев пригласил его к себе. Но Л. Н. Толстой был очень оригинальный ум, с которым надо было осторожно обращаться. Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других. Как курьез, воззрение это еще могло поддерживаться при громадном образовании и большой начитанности, но гр. Толстой не гонялся за курьезами. То был сектантский ум по преимуществу, очень логический, когда касалось выводов, но покорявшийся только вдохновенному слову, сказавшемуся, неизвестно как, в глубине его души. Поэтому столь же интересно было следить за его мнением, всегда новым и неожиданным, сколько и за происхождением этого мнения. Нередко встречались у него приговоры, поражавшие своим ультра-

[1] Анненков здесь не совсем точен. В 1852 г. было напечатано „Детство“ (под заглавием „История моего детства“) как отдельная вещь, а „Отрочество“ появилось только в 1854 г.

радикальным характером. Так Шекспировского короля Лира он считал нелепостью, за неправдоподобие сказки, лежащей в основании трагедии, и в то же время все симпатии его принадлежали пьяному артисту-немцу, которого встретил в публичном доме и сделал героем одной из повестей своих [1]. В Тургеневе он распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту—последнее особенно раздражало его, так как искание жизненной правды и простоты и *здравомысленности* существования составляло и тогда идеал в его мыслях. Он находил подтверждение своего мнения о Тургеневе даже в физиологических его особенностях, и утверждал, например, что он имеет фразистые ляжки. Вызывающий тон и холодное презрение, которые он выказывал перед Тургеневым даже и тогда, когда тот успел уже отделаться от многих увлечений своей молодости, заставляли ожидать разрыва и катастрофы, которые и явились. Уже в 60-х годах, находясь в гостях, в селе Спасском, Толстой сделал презрительное и едкое замечание об опытах воспитания, которым Тургенев подвергает свою дочь, увезенную им за границу, и окончательно вывел из себя терпеливого хозяина, отвечавшего ему грубостью. Последствием было назначение дуэли, не состоявшейся за отказом Толстого. За несколько лет до кончины Тургенева Толстой, вероятно, очнувшийся от своих предубеждений против старого друга, в виду общего уважения, которое тот приобрел,

---

[1] „Альберт“, прототипом для которого послужил скрипач Г. Кизеветтер (см. статью В. Н. Срезневского в сборнике „Толстой 1850—1860. Материалы и статьи“. Лнгр. Изд. Акад. Наук, 1927).

обратился к нему с трогательной просьбой забыть прошлое и восстановить их прежние дружеские отношения, на что Тургенев, пораженный этим актом мужественного великодушия, отвечал не только полной готовностью на сделку, но приехал сам к нему в деревню протянуть руку примирения, которое им обоим делало великую честь.

И пора было. Не говоря уже о том, что странным казалось видеть корифеев русской литературы, так связанных всем своим прошлым, во вражде друг с другом; но Тургенев оставался еще жарким поклонником Толстого во все время ссоры. Он признавал в нем, кроме качеств примерного товарища и честнейшей души, еще человека инициативы, почина, способного выдержать до конца любое предприятие, которому посвятил себя, лишь бы только не пропадала у него вера в достоинство начатого дела. О литературных трудах Толстого и толковать нечего: Тургенев был одним из его панегиристов. Он говорил во всеуслышание, что из всех русских романистов, не исключая и его самого—первое место должно принадлежать графу Л. Н. Толстому за его способность проникать в сущность характеров, исторических событий и целых эпох, какой не обладает ни один из существующих ныне писателей.

Приближалось однако время *общественных*, в прямом смысле слова, романов и для Тургенева, превративших его в политического деятеля. Оно началось с появления повести «Рудин», в 1856 г. Это еще не был тот полный шедевр, каким оказались впоследствии «Дворянское

Гнездо», «Отцы и Дети», «Новь», но роман уже заключал в себе данные, которые так блестяще развились с годами. Впечатление, произведенное им, мало уступало тому, которое сопровождало появление «Хоря и Калиныча»; роман может считаться крупным торжеством автора, хотя журналистика отнеслась к нему очень сдержанно. Впервые является тут почти историческое лицо, давно занимавшее как самого автора, так и русское общество, своим смело-отрицательным, пропагандирующим характером, и является, как несостоятельная личность в делах общежития, в столкновениях рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием [1]. Роман был погребальным венком на гробе всех старых рассказов Тургенева о тех абстрактных русских натурах, устраняющихся и пассирующих перед явлениями, ими же и вызванными на свет—с тех пор они уже более не производились им. И понятно почему—последний, прощальный венок сплетался из качеств человека, заведомо могущественного по уму и способностям: после этого нечего было прибавлять более. Некоторые органы журналистики, оскорбленные унижением героя, объяснили это унижение негодованием автора на человека, который брал деньги взаймы и не отдавал их [2], но это было объяснение неверное. Публика поняла повесть иначе и правильнее. Она увидала в ней разоблачение одного из свойств у передовых людей той эпохи, которая

[1] Как известно, в лице Рудина Тургенев изобразил М. Бакунина.

[2] Подразумевается рецензия Чернышевского (на книгу Готорна—„Современник“ 1860, июнь), где попутно говорится о „Рудине“. Обиженный этим Тургенев прекратил свое сотрудничество в „Современнике“.

не могла же, в долгом своем течении, не надорвать их силы и не сделать их тем, чем они явились, когда выступили, по своему произволу, на арену действия. Выразителем этого мнения сделался известный О. И. Сенковский. Он написал восторженное письмо к г. Старчевскому о Рудине, которое тот и поспешил сообщить Тургеневу. В письме Сенковский замечал, что автор обнаружил признаки руководящего пера, указывающего новые дороги, о чем он, Сенковский, имеет право судить, потому что сам был таким руководящим пером, и без *проклятого* (выражение письма) цензора Пейкера, испортившего его карьеру, может статься, и выдержал бы свое призвание. В Рудине Сенковский находил множество вещей, не выговоренных романом, но видимых глазу читателя под прозрачными волнами, в которых он движется. Политическое и общественное значение повести открывается во всех ее частях и притом с такой ясностию и вместе с таким приличием, что не допускает ни упрека в утайке, ни обвинения в злостных нападках. Сенковский сулил большую будущность автору повести и был в этом случае не фальшивым пророком, как часто с ним случалось прежде.

Между тем, молодость Тургенева уже прошла. Ему предстояло еще около 30 лет обширной деятельности, но тем же ветхим человеком, каким его знали в эпоху «Параши», он оставаться не мог. Еще прежде Рудина он почувствовал сам роль, которая выпала ему на долю в отечестве — служить зеркалом, в котором отражаются здоровые и болезненные черты родины; но для этого необходимо было держать зеркало

в надлежащей чистоте. Всякое человеческое начинание имеет свой пункт отправления, который и указать можно; только одно действие времени не имеет такого пункта—оно мгновенно обнаруживает во всей полноте и цельности явление, которое готовилось в его недрах долго и невидимо для людского глаза. Нечто подобное такому действию времени случилось и с Тургеневым: только с эпохи появления Рудина обнаружилось, что он уже давно работает над собою. Порывы фантазии, жажда говора вокруг его имени, безграничная свобода языка и поступка—все приходило в нем или складывалось на наших глазах в равновесие. Ни одному из опасных элементов своей психической природы он уже не позволял, как бывало прежде, вырваться стремительно наружу и потопить на время, в мутной волне своей, лучшие качества его ума и сердца. Может быть, это было произведение годов, пережитых Тургеневым, может быть, приобретенный опыт и воля действовали при этом механически, безотчетно, в силу одного своего тяготения к добру и истине. Как бы то ни было—преобразование Тургенева свершилось без труда и само собой: ему не предстояло никакой работы для выбора новых материалов морали и постройки из них своего созерцания, никаких аскетических элементов для замены старых верований, ничего, что могло бы коверкать его природу и насиловать его способности. Оно произошло просто и натурально, благодаря одному наблюдению за собою и упразднению того потворства дурным инстинктам, которое вошло у него в привычку. Лучшие материалы для

реформы лежали с детства в нем самом, лучшие верования жили с ним от рождения: стоило только их высвободить от помех и уз, наложенных невниманием к самому себе. Но зато с тех пор, как воссияла для Тургенева звезда самообразования и самовоспитания, он шел за ней неуклонно в течение 30 лет, поверял себя каждодневно, и достиг того, что на могиле его сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности, как к писателю и *человеку*. Не в праве ли были мы сказать, что редкие из людей выказывали более выдержки в характере, чем он?...

Дрезден.—Декабрь, 1883.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ